

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

Собрание сочинений
1891—1916

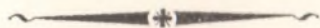
БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

Ю. А. Андреев (главный редактор)

*И. В. Абашидзе, Г. П. Бердников, А. Н. Болдырев, Н. М. Грибачев,
М. А. Дудин, А. В. Западов, М. К. Каноат, К. Ш. Кулиев,
Э. Б. Межелайтис, А. А. Михайлов, Д. М. Мулдагалиев,
Ф. Я. Прийма, С. А. Рустам, М. Танк, М. Б. Хрипченко*



*Большая серия
Второе издание*



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья

А. Урбана

Составление, подготовка текста и примечания

Р. Помирченко

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1985

Поэтический талант Сергея Наровчатова (1919—1981) в полную силу развернулся в послевоенные годы. В своих центральных стихотворениях и поэмах он стремится постичь историческую основу, истоки русского национального характера («Василий Буслаев», «Зеленые дворы», «Русский посол во Флоренции» и др.). Зрелое творчество Наровчатова характеризуется стремлением к повествовательности, глубокой мыслью, тщательной отделкой стиха.

В настоящее издание вошло лучшее, наиболее характерное из стихотворного наследия Наровчатова, в том числе избранные переводы.



ПОЭЗИЯ СЕРГЕЯ НАРОВЧАТОВА

1

Перечисляя своих друзей и сверстников, Сергей Сергеевич Наровчатов называл М. Кульчицкого, П. Когана, Н. Майорова, В. Багрицкого, Г. Суворова, Н. Отраду, А. Копштейна, Г. Стружко. Все они погибли или на той, говоря словами А. Твардовского, «войне незначительной» 1939/40 года с белофиннами, или на Великой Отечественной. Их всех знал Наровчатов — с одними тесно дружил, с другими встречался на семинарах и в литобъединениях, с третьими его свели фронтовые дороги.

«Поэтическое поколение, к которому я принадлежу, рождено Великой Отечественной войной и не выбирало, а заняло свою огневую позицию, как занимает ее солдатская рота, подвергшаяся неожиданному нападению. Тут бывает не до выбора местности и удобств ее обзора: вцепляйся в клочок земли перед собой и отвечай огнем на огонь. Но получилось, что этот клочок земли, с почерневшей от минной гари травой, оказался всей необъятной Россией»,¹ — писал Наровчатов.

Он — один из многих, один из этой роты. Той же закалки и литературной выучки: студент Института истории, философии и литературы (ИФЛИ) и Литературного института, доброволец обеих войн, малой и большой.

Поколение это хорошо поняло свое призвание, предчувствовало трагические события и готовилось к ним. Знаменитое «Мы» Н. Майорова — одна из вершин его самоопределения и самосознания:

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не всё умрет. Не всё войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячий, верной нам земли,

¹ Наровчатов Сергей, Собр. соч. в 3-х тт., М., 1978, т. 3, с. 277.

Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли...
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.

Представляя читателю книгу «Имена на поверке», Наровчатов писал: «Сверстники и товарищи по поколению хорошо помнят их такими, какими они уходили от нас: молодыми, сильными, жизнелюбивыми. Не похожие друг на друга в частностях, они были схожи друг с другом в общем. Честнейшие из честных, они оказались смелейшими из смелых. В стихах они разнились между собой. У каждого были свои учителя, но общим их учителем была советская действительность».¹

Эти характеристики с полным основанием могут быть обращены и к самому Наровчатову. Он входил в жизнь и литературу гулками шагами под знаменем своего поколения, причастный их общей судьбе и в то же время ни на кого не похожий.

Лев Озеров увидел его таким: «Отменно помню подтянутого, спортивного, отчаянно голубоглазого юношу, со скрытой энергией напевности читавшего свои стихи. Первое впечатление: заводила мальчишек во дворе «Великана» — дома на Садово-Спасской. Любимец девушек. Готовый викинг или законченный скальд без грима. Вызывало удивление, что он не снимается в кино. Российский землепроходец по внешнему виду, он был отчаянно романтичен и в душевных движениях своих. Он появлялся в пимах, в унтах, в бутсах, скрипевших зазывно и смачно, появлялся вместе с океанским ветром, с грохотом водопадов Кавказа, снегами Сибири. Из-за его спины могли показаться китобой, скалолазы, полярники. Неведомо было, когда он успевал побывать и там и тут, и одновременно внести в дом две стопки книг и, прежде чем наброситься на них, аккуратно и любовно внести их в картотеку, как приличествует настоящему библиофилу. Это совмещение скитальца и воина, человека маршевого,

¹ Наровчатов Сергей, От составителя. — В сб.: «Имена на поверке». Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, М., 1963, с. 4.

бывачного типа с книжником, склонившимся над очередным фолиантом, представляется уникальным». ¹

Наровчатов учился, писал стихи, считал себя поэтом. Но готовился он прежде всего к участию в жизни. Поэзия никогда не была для него отвлеченным делом, существующим на параллельных путях с действительностью. Да и сама жизнь была беспокойной, находилась в непрерывном становлении.

Родился он 3 октября 1919 года под трубные звуки гражданской войны. Война была в самом разгаре. Молодая Советская Республика была в огне и напрягала все свои силы в борьбе с контрреволюцией.

В двадцатые — начале тридцатых, когда возрастал Наровчатов, страна выходила из разрухи, строилась. Шли годы первых пятилеток.

События эти известны всем — они стали яркими страницами учебников истории. В статье «Муза в красной косынке» Наровчатов передает эмоциональную атмосферу, которая связывала единой нитью жизнь и литературу. «Комсомольские журналы первых лет революции. Они выходили не только в Москве и Петрограде: «Зарво» — в Вятке, «Жизнь и творчество» — в Твери, «Юный пролетарий Урала» — в Екатеринбурге, «Новая молодежь» — в Новгороде. Едва ли не в каждой губернии, а иногда в уездах.

Грубая, порой оберточная бумага. Но пальцы, перевертывавшие страницы, были тоже грубы. Им привычнее было держать молоток и зубило, сжимать ствол винтовки и ручки «максима».

(...) И молоды были слова, выставшие и поднимавшиеся со страниц: «революция», «республика», «Советская власть». И самое молодое слово „комсомол“». ²

Он называет имена, с которыми молодежь в ту пору связывала революционную новь: А. Безыменского и А. Жарова, М. Светлова и И. Уткина, М. Голодного, Б. Корнилова, Я. Смелякова... Песни, которые пела: «Смело, товарищи, в ногу» и «Красная Армия всех сильней», «Наш паровоз» и «По морям, по волнам», «Песня о встрече» и «Орленок». Именно в этой атмосфере начиналось гражданское самоопределение Наровчатова. Автобиографическую его книгу «Мы входим в жизнь» открывает очерк «Песни Коминтерна». В алуштинском Доме отдыха Коминтерна в 1928 году он увидел целую когорту революционеров разных стран. Среди них — венгерского писателя Антала Гидаша, с которым особенно подружился. «Песней Коминтерна вошел в мою жизнь юный Гидаш, соединивший в моем раннем сознании поэзию и революцию», ³ — вспоминает Наровчатов.

¹ Озеров Лев, Программа на целую жизнь. — «Литературная Россия», 1979, 28 сентября.

² Наровчатов Сергей, Собр. соч., т. 3, с. 307.

³ Там же, с. 206.

Такое ощущение времени было общим для его поколения. Это о нем писал П. Коган:

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.

(«Первая треть»)

С детства Наровчатов привык к дальним маршрутам. Из Хвалынска, где он родился, — в Нижний Новгород и Москву. Из Москвы — на юг, в Симеиз и Алушту. Он еще в начальные свои лета много повидал. В 1933 году вместе с семьей Наровчатов переехал на побережье Охотского моря, в Магадан, тогда еще не город, а небольшой поселок.

Память о Колыме ни с чем не сравнима. Дальний Восток стал его любовью на всю жизнь. Здесь началось мужание: «В ту пору я был ладным поджарым парнем с копной светлых волос, решительным и азартным. От своих друзей я мало в чем отставал, а кое в чем и перегонял их. Ну, например, я сочинял стихи. Неважно какие, но сочинял. Это среди ребят ценилось». ¹ Когда ему исполнилось четырнадцать лет, отец купил ружье — «ижевку». Трое друзей увлеклись охотой, и не только на мелкую дичь — ходили на медведя. Занятие — опасное и даже для тех суровых мест не совсем обычное. Наровчатов целиком приводит заметку Б. Бродовского из газеты «Советская Колыма», рассказывающего о «храбрых молодых охотниках», которым было всего по шестнадцать лет, убивших медведя. Для этого нужна была не только храбрость: «Храбрость являлась той заданностью, без которой выходить на медведя было нельзя. О ней никогда и не упоминалось». ² Надо было еще уметь метко стрелять, обладать силой, выносливостью, выдержкой. Ходить на лыжах. «Мне после это помогло на войне с белофиннами», — замечает Наровчатов.

Увлекался он и театром — с успехом исполнял роль князя в пушкинской «Русалке».

Следующий решающий этап отсчитывается от 1937 года, когда он был принят в ИФЛИ и переехал в Москву. О годах студенчества он написал немало счастливых страниц: «В 30-е годы Москва была намного меньше столицы 70-х годов. То же самое можно сказать о

¹ Наровчатов Сергей, Стрельба по безоружным. — «Новый мир», 1980, № 7, с. 17.

² Там же, с. 20.

Москве литературной: она была малочисленнее и обозримей. Молодые поэты легко находили друг друга внутри кольца «Б» и в студенческих общежитиях за его пределами — Останкине, Усачевке, Стромынке. Помогали сближению издательства и редакции, при которых были организованы литературные кружки и объединения. Гослитиздат, «Комсомольская правда», «Огонек», «Октябрь» стали местами постоянных встреч поэтической молодежи.¹

Все знали всех. Но это не означало общего благодушия. Наровчатов вспоминал о «задиристости, напористости, горластости» кружка, в который он входил. Друг с другом жестоко спорили. Были столкновения поэтических пристрастий, точек зрения, вкусов. Но было одно общее, объединяющее. «Мы, — рассказывает Д. Самойлов, — будучи очень молоды, незрелы и даже неопытны (именно в поэзии, в стихах), ставили перед собой задачи формулирования государственной идеологии. Отсюда идет формулировочность поэзии Когана, Кульчицкого, Майорова, Слуцкого, Наровчатова, Луконина, ее оптимистическая энергия, ощущение себя органически необходимой, самой активной частью общества».²

С самого начала Наровчатов формировался как личность деятельного типа. Он стремился участвовать в жизни, искал новых впечатлений, прямо шел навстречу опасностям и трудностям.

Главным призванием была поэзия. Но одновременно — во время капикул — он с друзьями успевал осуществить трудный маршрут «по путям Горького» — спуститься вниз по Волге, и поработать на строительстве Большого Ферганского канала, и пешком пройти Старый Крым, чтобы поклониться домику Александра Грина.

Активный участник всяческих литературных начинаний — семинаров, кружков, вечеров, диспутов. Страстный путешественник. Спортсмен — парашютист, стрелок (выбивал сорок семь из пятидесяти очков), лыжник. Секретарь комсомольской организации ИФЛИ. Он за все берется и все делает с неутомимой энергией. «Отец был алхимиком Духа — все свои качества, данные ему природой, — бурный темперамент, бесшабашность, удаль, храбрость, азарт, он годами переплавлял в единый сплав: литературное дело», — вспоминает О. Наровчатова. И отсюда же: «Эта катастрофическая интенсивность была одной из основных его черт до самой смерти, он никогда не останавливался».³

¹ Наровчатов Сергей, Собр. соч., т. 3, с. 111.

² Самойлов Давид, «Поэт контактен и потому принадлежит не только самому себе...». — «Вопросы литературы», 1978, № 10, с. 221—222.

³ Наровчатова О., «Иных случайностей размер...». — «Новый мир», 1984, № 10, с. 204 и 210.

Когда началась война с белофиннами, он в декабре 1939 года одним из первых явился в Сокольнический райвоенкомат и был зачислен в личный состав 34-го отдельного добровольческого лыжного батальона. Это был для него естественный и необходимый шаг. А в январе 1940 года Наровчатов уже совершал рейд по тылам противника. Бои были тяжелыми. Погибли его товарищи М. Молочко и Г. Стружко. Сам Наровчатов был тяжело обморожен. От первой роты осталось в строю лишь 14 человек. Из сорока с лишним добровольцев, призывавшихся в Сокольническом военкомате, возвратилось четверо.

Потрясенный увиденным, Наровчатов вернулся с сознанием неизбежности новых испытаний. В том же 1940 году на одном из семинарских занятий Сельвинского он заявил: «Совершенно ясно, (...) что наше поколение — это военное поколение, которое до конца своей жизни будет воевать».¹

Через несколько месяцев он ушел добровольцем на Великую Отечественную. Уже в июле 1941 года он командовал отделением в рядах 22-го истребительного батальона, в начале октября отправившегося в Брянск.

Там он попал в окружение. Участвовал в боях под Ельцом, Ливнами, Верховьем, отступал по Орловщине мимо «сожженных сел, казенных городов». Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в прорыве блокады. Освобождал Эстонию и Польшу. Войну закончил 8 мая 1945 года в центре Германии.

Еще во время войны он узнал о гибели многих своих однокашников. Не вернулись его друзья и товарищи Н. Майоров, П. Коган, М. Кульчицкий. Он оказался среди тех, кому, как М. Луконину, Б. Слуцкому, Д. Самойлову, посчастливилось — с фронта они снова пришли в поэзию, чтобы написать новую ее главу, главу Великой Отечественной войны.

Наровчатов — живая память этого поколения, создатель автобиографической книги «Мы входим в жизнь», о той поре, когда все они — и погибшие, и оставшиеся жить, — полные надежд, писали и печатали первые свои стихотворения, и о тех трагических событиях, героями которых они стали. «Моя жизнь неотделима от жизни моих друзей (...) друзья раскрываются через меня, а я через них»,² — писал он в предисловии к этой книге.

Наровчатов прошел большой творческий путь — от конца тридцатых до начала восьмидесятых годов (он умер 22 июля 1981 года).

¹ Медников Анатолий, Страницы большой судьбы. — «Вопросы литературы», 1984, № 5, с. 180.

² Наровчатов Сергей, Мы входим в жизнь. Книга молодости, М., 1980, с. 7.

Его поэзия менялась, набирала силу. Он стал современником новых поколений. Размышляя о поэзии Наровчатова, М. Луконин заметил: «Мы гордимся своим «военным происхождением», но не дадим хлопнуть нас в его рамки. Тут важно то, что это пробуждение к поэзии происходит в момент слияния с жизнью народа, потому что у поэзии только один путь: из жизни — в жизнь».¹

Движение «из жизни — в жизнь» и составляет суть творческой эволюции, которую проделал Наровчатов. Оно придавало ей гражданскую активность, широту поисков, интеллектуальное богатство. Его поэзия одушевлена правым делом, за которое он всю жизнь боролся. Правым делом для него была революция, память о которой завещали отцы. Правым делом были первые пятилетки. Правым делом стала Великая Отечественная, которую он прошел от самого начала до победного дня. Наконец, устройство послевоенного мира с его сложнейшими проблемами.

Наровчатов и в нем сумел занять активную гражданскую и творческую позицию. Он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был членом МГК КПСС, секретарем правлений Союза писателей СССР и РСФСР, возглавлял Московскую писательскую организацию, был членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям, членом Советского комитета защиты мира. В последние годы — главным редактором журнала «Новый мир». И это — лишь часть его общественных нагрузок и должностных обязанностей.

Первую книгу своих стихотворений «Костер» Наровчатов издал в 1948 году. За ней последовали десятки других. Выходил двухтомник избранных произведений и Собрание сочинений в трех томах. Наровчатов проявил себя как тонкий критик и историк литературы. Им опубликовано несколько сборников литературно-критических статей, книга «Лирика Лермонтова», оригинальное исследование «Занимательное литературоведение».

В нем удачно сочетались общественный деятель и художник, человек творческого склада ума, историк, филолог, внимательнейший читатель. Он ярко выделялся среди своего поколения широтой интересов и редкостной образованностью. Еще в 1971 году Наровчатов утверждал, что за свою жизнь прочитал, вероятно, около 200 000 книг. Уже тогда его домашняя библиотека составляла «6 000 томов, не считая 1 200 книг с автографами друзей и знакомых».² Свою библиотеку он ежегодно пополнял на сотни томов, сверх того подписываясь на 27 толстых и тонких журналов и 9 газет.

¹ Луконин Михаил, Товарищ поэзия, М., 1963, с. 317.

² Наровчатов Сергей, Ориентир — 200 000. — «Книжное обозрение», 1971, 16 апреля.

Чтобы столько успевать, нужны собранность и самодисциплина. Наровчатов никогда не был затворником. Вот несколько штрихов к его позднему портрету, оставленных Дм. Голубковым: «Дверь распахнулась, и к столу расторопно прошагал грузноватый и одновременно легкий человек — большелобый, с зоркими, светлыми и, как показалось, жестокими глазами. Он был в штатском, но на темном сукне пиджака строго и празднично сверкали ордена. Ему тотчас предоставили слово, и он встал, несколько картинно оперся о спинку стула. Неожиданно улыбнулся (глаза брызнули доброй, чуть застенчивой синевой) и сказал:

— Никогда не надеваю орденов. Только два раза в году: 23 февраля и 9 мая.

Читал он тоже неожиданно: не пел, не декламировал, как многие до него... Читал просто и как-то величественно, иногда замедляя ритмы и почти скандируя слова (...)

Он исполнил три стихотворения. Мужественно, предельно выразительно и без намека на аффектацию...»¹

Наровчатов до конца оставался бойцом. До конца оставался поэтом:

Поэзия! Когда б на свете белом
Я так бы бредил женщиной земной...
Как беспредельность связана с пределом,
Так ты, наверно, связана со мной!

2

Поколение Наровчатова могло сказать о себе, как и сказал от его имени Н. Майоров — «Мы». У его поэтов много общего — настолько, что иногда создается впечатление, будто вошли они в поэзию дружной гурьбой и сразу заняли свое, только им полагающееся место.

На самом деле это не так. Н. Майоров был сыном ивановского рабочего. Учился в МГУ. Он рос как художник-реалист, ориентировался на высокую классику. Стихи у него были чеканные, энергичные, напористые. Его уже печатали. П. Коган преподавал в одной из московских школ. Как поэт он шел от книжной «флибустьерской» романтики к романтизму большого стиля. Он словно накладывал на действительность увеличительное стекло. М. Кульчицкий принадлежал к старинной русско-украинской интеллигенции, над ним тяго-

¹ Голубков Дм., «Всю жизнь мне везло на романтику!...». — «Литературная Россия», 1968, 19 января.

тела анкета, указывающая на дворянское происхождение. Он любил В. Хлебникова. Кумиром для него был В. Маяковский. М. Кульчицкий стремился к яркому новаторству. Он вместе с Б. Слуцким — кстати, сначала студентом юридического факультета — и еще несколькими молодыми поэтами образовал «штаб новой поэзии». Входил в этот штаб и Наровчатов.

А ведь существовала еще богатая и разнообразная текущая поэзия, которая составляла не дальний фон, а была тем самым литературным процессом, в который предстояло включиться молодежи.

Недавно прославилась поэма ифлийца А. Твардовского «Страна Муравия», Н. Асеев писал и печатал повесть в стихах «Маяковский начинается», создавал свой эпос И. Сельвинский. Только что вышла тревожная предостерегающая книга Н. Тихонова «Тень друга». Покоряли своим лиризмом песни М. Исаковского. А рядом сколько еще других действующих поэтов: Б. Пастернак, А. Ахматова, П. Антокольский, В. Луговской, Н. Ушаков, М. Светлов, А. Прокофьев. Выпустили свои первые книги К. Симонов, П. Шубин, В. Шефнер.

Совсем непросто было среди этого многообразия творческих индивидуальностей найти свое место. Пока поэты выступали от имени нового поколения как «Мы», все было ясно и понятно — идет молодая смена. Но когда наставал момент самоопределиться каждому в отдельности, было над чем подумать. Споры внутри поколения велись не менее горячие, чем недавние дебаты между литературными школами двадцатых годов. «У нас было все время ощущение среды, даже поколения, — рассказывает Д. Самойлов. — Даже термин у нас бытовал до войны: поколение 40-го года. В частности, я себя ощутил поэтом, только попав в круг молодых друзей. Сначала это были Коган и Наровчатов, потом Кульчицкий и Слуцкий. Мы все друг друга знали, все друг другом интересовались, помнили стихи, обсуждали каждую строчку. Друг к другу были довольно беспощадны, это был стиль отношений некомплементарный. Но, с другой стороны, бесконечно верили друг в друга и не давали друзей в обиду».¹

Наровчатов далеко не сразу нашел себя. Поступил он в ИФЛИ начитанным и хорошо подготовленным юношей. Он знал классику, писал стихи, мечтал о литературном поприще. Но настоящего поэтического опыта у него не было. Он сам с беспощадной откровенностью рассказал об уроке, полученном у Асеева. Молодые поэты, пришедшие к нему домой, по кругу читали стихи. Прочел свои и Наровчатов. В них были: «Синеглазый вечер... Девушки... Прощанье... Сумрак зажигает в гавани огни...» Были «вспененные

¹ Самойлов Давид, «Поэт контактен и потому принадлежит не только самому себе...», с. 224.

волны», «бесшабашный ветер», «синие просторы». Асеев, отличавшийся лукавым остроумием, ничего не сказал про стихи. Он восхищался молодостью: «Нет, ты посмотри, какой парень. Глазищи-то, а?»¹

Судя по образным штампам, это были стихи с густым налетом провинциальной романтики в ее надсопсовско-фофановском варианте. Наровчатов все понял. Он изорвал в клочья три тетради, плотно заполненные стихами, чтобы все начать сначала.

Он не только учился, он переучивался. В ИФЛИ давали добротные знания по истории и теории литературы. Поэтическими своими наставниками он избирает И. Сельвинского, Н. Асеева, В. Луговского, П. Антокольского. Издали внимательно присматривается к Н. Тихонову и Б. Пастернаку. У них он проходит школу новаторского стиха.

М. Львов припомнил его четверостишие тех лет:

«Мне землю промерить и вымерить, чтобы,
Когда б даже огненной шел я землей,
Огнедышане бы вслед удивлялись в оба:
Русский какой! Советский какой!

Удивлялись не только «огнедышане» — все вокруг, и мы, его друзья, в том числе.²

Это, кажется, первая самостоятельная творческая декларация Наровчатова. В ней есть главные слагаемые его поэзии — от увлечения странствиями до фантастики. И то, что подчеркнул М. Львов: «Из русских всех, быть может, самый русский».

Зафиксировал этот шаг Наровчатова на пути к мастерству и М. Луконин: «Учили древнерусский, — какие слова! — скорей их в стихи! — Учили историю России, — какие имена и события! — в стихи их. Открывали богатства народного творчества, давай их сюда Змей Горынычей и добрых молодцев! Стихи Наровчатова были сказочны, красочны и — книжны.

Этих стихов в его книгах сейчас нет. Но есть и сохранилась в его поэзии сказочность, есть вкус к русскому слову, сохранилась замечательная красочность».³

Надо добавить, что «вкус к русскому слову» шел у Наровчатова не от одной лишь учебной премудрости. Здесь он опирался на традицию — родовую и культурно-историческую.

¹ Наровчатов Сергей, Собр. соч., т. 3, с. 93.

² Львов Михаил, Юность одержимых. — В сб. «Воспоминания о Литинституте», М., 1983, с. 116.

³ Луконин Михаил, Товарищ поэзия, с. 312.

Отвечая на вопрос, есть ли у него «заветный городок», Наровчатов говорил: «Для меня таким городком на всю жизнь остался Хвалынский, где я родился. Как-то случилось, что его обошла стороной железная дорога и в нем как бы законсервировался старинный поволжский быт: деревянные дома с резными ставнями, палисадники с яркими мальвами и огромными подсолнухами. Это город Петрова-Водкина, яростной волжской сини и степной полыни (...)»

Хотя я рос в типично интеллигентной семье, корни отцовского рода уводят в древние пензенские леса, в маленький городок Наровчат, известный в истории отечества с XIV века. Это край и былинный, и соловьиный, северными своими границами соприкасающийся с муромскими лесами. Ну, а муромские леса, сами знаете, родина Ильи Муромца — брата по крови и песне моего новгородского посадника Василия Буслаева». ¹

Он еще в колыбели вдохнул воздух древней истории, народного творчества, самобытного русского слова.

Другой источник — семейная традиция. Дед Наровчатова Яков Капитонович Рагузин был уездным библиотекарем, мать — Лидия Яковлевна — библиографом. Дед лично знал Джона Рида и Ярослава Гашека, Алексея Толстого и Константина Федина. Он гордился этими знакомствами. В доме был культ книги. Четырех лет Наровчатов научился читать. По настоянию деда он выучил стихотворения Лермонтова «Ангел» и «Парус». «Отец рос в семье высокопорядочных, наделенных большой внутренней культурой людей, людей целеустремленных, стремящихся к постоянному пополнению своих знаний, отличающихся редкой преданностью друг другу, свято относящихся к самой идее семьи», ² — вспоминает его дочь.

Это тоже была часть жизни. Историческое предание, фольклорная стихия сливались в сознании мальчика с классической литературной и семейной традициями. Ему хочется самому владеть словом. Пяти лет он уже сочиняет стихи. В десять — пишет взахлеб.

То увлечение древним славянским языком и историей, которое он испытывает в ИФЛИ, шло уже как бы по второму кругу, было воспоминанием о детстве, осознанием стихийного душевного опыта, полученного в семье, в школе, в рано начавшейся перемене мест.

Одним из первых напечатанных было стихотворение Наровчатова «Семен Дежнев». В нем реализовалось и его увлечение историей, и фольклорные юношеские впечатления, и любовь к странствиям. Это счастливо найденное сочетание положило начало его историческим

¹ Наровчатов Сергей, Быть бесстрашным. — «Литературная Россия», 1979, 2 ноября.

² Наровчатова О., «Иных случайностей размер...», с. 202.

балладам и поэмам, которые однако всегда у него были современны, объективируя, вполне выражали его собственное «я».

Из стихотворений 1938—1939 годов в Собрание сочинений Наровчатова включил меньше десятка. Это — лирика с ярко выраженной романтической окраской. Она светла и задумчива: девушка «в дымке Стихов и облаков От кружевной косынки До легких каблуков»; «открытый ветрам» Дом поэта, ожидающий бурь, счастья и вдохновения; стилизованная «Шотландская песня» с ее свободолоубивой стихией:

Вымокшим стогом сыреет восток,
Дорога грустна из поселка...
Надолго ли в горы уходишь, сынок?
— Ндолго, мама, надолго!

Мотив ухода из дома, хотя здесь и условный, звучал современно. В нем было предчувствие разлук, борьбы, жертв: «...что же дороже, чем поле и дом? — Свобода, мама, свобода!»

В те годы молодыми поэтами была сделана попытка возродить героическую балладу. Много переводили Киплинга. Переживала второе рождение ранняя поэзия Тихонова, снова ставшая актуальной. «Бригантина» Когана, хотя и распевавшаяся в интимном кругу, была знамением времени.

Стихотворение Наровчатова «Приземленный ангел» по сути — опыт баллады на современную тему. Оно стало вершиной его предвоенной лирики. Название настраивает на восприятие условного сюжета или символического действия. Однако основа стихотворения реальна. В нем описан прыжок с парашютом: «Рывком из кабины — и на крыло! Гудит дюраль самолета. Только бы ветром не сорвало». В предощущении надвигающихся событий Наровчатов занимался парашютным спортом. Но Наровчатова-поэта интересует не сам факт, не технические и даже не психологические подробности парашютного прыжка. Для него важен дальний смысл. Повиснув на стропях, он чувствует «жжение за спиной, Там, где у ангелов крылья», парит «в густой синеве Эдаким небожителем». Он — ангел добра, возвышающийся над злобными фашистскими столицами, Берлином и Римом, над Америками и Европами.

Так и перемежаются, развертывая каждый свой смысл, два плана: реальный — парашютный прыжок, описанный чуть ли не с физиологической достоверностью — «Падаю, падаю, падаю я С раскрытыми настежь глазами»; «Ветер жестко утюжит лицо» — и обобщенно-романтический — «...недаром я ангел! Сны добра Им выйдут за мной навстречу».

В центре стихотворения декларация, приписывающая Наровчатова к его поколению, — предчувствие войны и готовность к борьбе:

Будут первые залпы в ночи,
Будут разведки боем.

Будет еще и большая война,
Завтра ли, послезавтра ли,
И рано ли, поздно ль, чужая вина
С нашей схлестнется правдой.

Несложная схема стихотворения наполняется живым содержанием: описание реального прыжка; символическое противостояние ангела добра злым силам; конкретизация этого противостояния в политической расстановке сил предвоенной Европы.

Примечателен его конец. Опять мы видим реальный план. Происходит настоящее приземление: «...снизу, мокры и ржавы, К моим каблукам все быстрее и быстрее Бегут пожухлые травы». И — неожиданный синтез, сводящий все линии в один образ: «Я словно возвысился в ранге. И твердо стою я на зыбкой земле, Навек приземленный ангел!» Ангел добра, умеющий летать, но прочно стоящий на земле. Романтический символ, опущенный на почву реальности.

Сквозь литературную условность Наровчатов идет к своему стилю. Тут есть уже его собственное, наровчатовское, и объединяющее с поколением, и выделяющее из него. В его поэзии всегда будет место для полуфантастического сюжета, для обобщающей метафоры, для возвышенного речения, но одновременно он станет последовательно доказывать реальность романтики, ее земное происхождение, ее фактическую достоверность. Доказывать собственным поведением и биографией, истолкованием исторических событий, жизнью и смертью друзей и сверстников, энергичным комментарием к своим и чужим стихам, содержащимся в его документальной и мемуарной прозе.

Наровчатов с самого начала формировался как романтик. В этом смысле он продолжал дело своих предшественников и учителей — Н. Асеева, И. Сельвинского, В. Луговского, Н. Тихонова. Продолжал как в жанровом отношении — историческая и современная баллада, поэма, эпическая тема вообще, — так и по существу: его романтизм был обращен к реальной действительности, активен, направлен на ее освоение и преображение. Он стал философией его творчества.

Однако поэт в конечном счете не «небожитель», а «приземленный ангел». Он живет той же жизнью, что и все его поколение, весь народ. Только, может быть, с большей последовательностью, энергией и самосознанием осуществляет свой долг, свое призвание. Ро-



мантическая идея жизнеспособна лишь в том случае, если устоит в испытаниях жестокой реальностью.

Испытания не заставили себя ждать. Война с белофиннами выдала полную их меру. Стихи этого времени лаконичны и суровы. В них нет места словесной игре, украшениям, литературной условности.

Тяжелы походы: «В глаза уже плыла шестые сутки Бессонница...», «Дорога непокорная узка». Жестоки бои: «Здесь мертвецы стеною за живых!» Из замерзших трупов выкладывают «Вполне надежный для упора бруствер». Страшна физиология фронтового быта: нависшая «в землянках смердящая вонь», где, обмороженные и израненные, песни «...выли И водкой глушили антонов огонь».

Где тут место романтике? Казалось, она должна отступить перед напором жестокой действительности.

Лгущая красивыми строками!
Мы весь ворох пестрого тряпья
Твоего, романтика, штыками
Отшвырнули напрочь от себя.

Но опять над тишью мирных улиц
Ты встасшь, не тронута ничем.
Посмотри, какими мы вернулись,
Вспомни не вернувшихся совсем.

О том, «какими вернулись», Наровчатов рассказал в книге автобиографической прозы «Мы входим в жизнь»: «Порогом этим была для меня финская война: я перестал быть мальчиком, но не стал еще мужчиной. И все же далекий до того мир взрослых становился уже моим собственным миром. Считанные недели, проведенные на войне и вылежанные в госпитале, показались мне если не годами, то месяцами. Да дело было и не в сроках, пережитое оказалось больше передуманного: пятидесятиградусные морозы, закоченевшие трупы вдоль лыжни, гибель лучших — самых лучших! — из нас, мокнушая гангрена, крики раненых — все это еще не улеглось и не перебродило во мне (...) Вчера еще голубой дым студенческой вечеринки, строки «Синих гусар», тосты за романтику неизведанных дорог, а завтра — руки, примерзшие к СВТ, хриплый голос отделенного: «Берегите патроны, нам еще пробиваться...», возвращение среди бесконечных сосен и елей, по окаянным сугробам, из рейда по тылам противника. Романтика, так ее перетак!»¹

¹ Наровчатов Сергей, Собр. соч., т. 3, с. 161.

В стихах Наровчатов отбрасывает романтику штыками. В прозе просто обзывает ее бранными словами. Что же это, бесповоротный отказ от нее?

Романтика остается. Она поднимается еще выше, «не тронута ничем». Наровчатов отказывается лишь от внешних атрибутов, от «пестрого тряпья». Но тем больше она возвышается как идея: «Очень был я молод, — комментирует Наровчатов жизнеощущение тех лет, — и чудилось мне, что и Земля еще совсем молода, до удивительности и до фантастичности молода. Все тысячелетия, прожитые людьми до тех пор, слышались мною как короткая присказка к тому главному, что мне предстояло услышать».¹

Испытания не перечеркнули романтическую идею. Они только очистили ее от громозвучной чепухи и «приземлили» на реальную почву. Подлинная романтика — не красивые слова, вечеринки, чтение хороших стихов, а жизнь и борьба в открытом мире с его социальными конфликтами, борьба, где главное не картинная поза, ставка в ней — жизнь: «Вспомни не вернувшихся совсем».

3

Своего рода пересмотр был произведен и в арсенале художественных средств.

Переход от финской кампании к Великой Отечественной войне был стремительным. «Мы были потрясены, — писал М. Львов. — Хотя и держали душу в боевой, мобилизационной форме, и писали стихи о будущих боях, никто не ожидал, что это разразится так внезапно.

Через несколько дней в коридоре института появились — в новеньких офицерских формах, обмундированные в третьем Доме Наркомата обороны, — сияющие Сергей Наровчатов, Михаил Луконин, Петр Хорьков.

Первыми добровольцами они уходили на фронт...»²

Среди сверстников он числился уже ветераном. Хотя и небольшой, но серьезный военный опыт подсказывал ему новые поэтические цитации. Стих его на первых порах если и не стал аскетичным, то обрел не свойственную прежде точность, лаконизм и энергию.

Сам Наровчатов так объяснял этот сдвиг: «Нельзя забывать о том, что мы пришли к войне во всеоружии поэтической техники, уверенно владея формой, — это было воспитано в нас превосход-

¹ Там же, с. 161.

² Львов М и х а и л, Юность сдержимых, с. 119.

ными мастерами стиха {...}, пришли с большой культурой, разносторонней подготовкой. У меня сохранились тетради, где теория звукописи, домысленная мною и другими участниками довоенного семинара в Литературном институте, приложена едва ли не к каждой строке Асеева и Пастернака, — но мы должны были ее забыть и быть потрясенными войной. Мы все знали и все забыли в это время, причем сделали это почти сознательно».¹

Казалось нелепым о грозных событиях писать изощренно инструментальным, изящно оформленным стихом. Есть чувства, которые требуют слов прямых и точных, формул кратких и запоминающихся.

Первые стихи, написанные Наровчатовым о Великой Отечественной войне, и в самом деле демонстрировали потрясение увиденным:

По земле поземкой жаркий чад.
Стонет небо, стон проходит небом!
Облака, как лебеди, кричат
Над сожженным хлебом...

Облака кричат. Кричат весь день!..
И один под теми облаками
Я трясу, трясу, трясу плетень
Черными руками.

Стихотворение так и названо «Облака кричат». От сожженной деревни остался один плетень. «Горе? Нет... Какое ж это горе...» — задает Наровчатов на первый взгляд нелогичный вопрос. Но правильный ответ напрашивается сам собой. В крике облаков, в сожженных хлебах, в этом осиротевшем плетне мы читаем больше — трагедию. Трагедию людей, трагедию израненной и оскорбленной природы, трагедию поэта, не умозрительно, а на собственном опыте понявшего исключительную серьезность и историческую важность происходящего.

На «малой войне» Наровчатов был потрясен перегрузками, физиологией фронтового быта, самым зрелищем смерти. Сейчас происходит испытание главных человеческих ценностей.

На церкви древней вязью: «Люди — братья».
Что нам до смысла этих странных слов:
Мы под бомбежкой сами как распятья
Лежим среди поваленных крестов.

¹ Наровчатов Сергей, «Поговорим о нашем славном, о настоящем ремесле...». — «Вопросы литературы», 1970, № 11, с. 145.

«Люди — братья» — формула христианского гуманизма. Но о каком гуманизме может идти речь, если ты лежишь на взгорке как живая мишень и по тебе аккуратно пристреливаются? Кажется, что высокие слова лгут. «Гранатой бы по ним!» — думает в порыве ярости герой Наровчатова. Но думает и о будущем, когда все это кончится: «Иными станут люди, земли, числа». И в ином свете предстанет смысл «этих странных слов».

Наровчатов попал в самый крутой водоворот событий. Физические испытания, выпавшие на его долю в окружении, были не менее тяжелыми, чем на финской войне.

М. Луконин, с которым он оказался бок о бок, подробно рассказывал об их боевом крещении: «10 октября 1941 года около деревни Негино нас окружили немцы. Мы выскочили из грузовика, и он тут же вспыхнул, как охапка соломы.

(...) Наровчатов и я кинулись через улицу за дома, в коноплю, зовя с собой остальных с комиссаром. В нас стреляли из пистолетов, и мы стреляли прямо в упор, но силы были неравны.

Мы уходили. И из конопли, стремясь к лесу, вырвались на перепаханную поляну и поползли под огнем. Между нами чавкали мины, больно ударяя брызгами мерзлой грязи, перед лицом вставляли фонтанчики земли, выковыранные пулями. Краем глаза я видел за дорогой серые каски, немцы целились, поводили дрожащими автоматами, дрожали сами. А рядом поднимались, вскрикивали, падали люди (...).

Эта осень была прощанием с юностью.¹

Опасным и трудным был каждый шаг. Гибли люди. Из шестидесяти осталось двадцать. В схватках таяла и эта малая группа. Более 600 километров Наровчатов и Луконин пробивались из окружения.

Казалось бы, так естественно было бы сосредоточиться на непосредственно данном. На том мучительном пути, которым они были вынуждены идти. Однако в эти страшные дни мысль и чувства Наровчатова прикованы к дальнему плану событий, который был закрыт дымом пожаров, разрывами бомб, автоматной стрельбой.

Одно из стихотворений 1941 года так и называется «Большая война». В землянке усталые бойцы, сидя у приемника, поймали Австралию: «Ну, что нам Австралия? Мельбурн и Сидней — только точки на карте».

А сейчас — сместились меридианы
И сжались гармошкой параллели.
Рукой подать — нездешние страны,
Общие беды и общие цели.

¹ Луконин Михаил, Товарищ поэзия, с. 19—20.

Наша землянка — земли средоточие,
Все звезды сегодня над нами светятся,
И рядом соседят просторной ночью
Южный Крест с Большой Медведицей.

И не чувство отъединенности, потерянности, не отчаяние овладевает измученными людьми, а гордость от сознания причастности к большому времени, к всемирным событиям: «Уже не в минуте живем, а в вечности, Живем со своим решающим словом Во всей всеобщности и всечеловечности...»

Это не было отвлечением от непосредственных будней войны. Передний ее план у Наровчатова тоже подробно разработан. Сколько у него этих впечатляющих примет: «Лошади запыленные ржали, Занималось пламя стороною, Из Трубчевска беженцы бежали Большаком, проселками, стернею». Но для того он и пошел на эту «большую войну», чтобы отстоять в ней свою правду, утвердить свою идею, очистить чувства от посягательств всяческих мелочей: «В том ли моя забота, Что страшно в ознобе слечь Живым мертвецом в болото? {...} Нет, не о том моя речь, Как мне себя сберечь...»

Думая о «всеобщности и всечеловечности» того дела, в котором он вместе с товарищами играл свою роль, Наровчатов опять-таки постигал не их абстрактную сущность, но видел в конкретном облике родины, где разворачивались решающие события национальной истории, шло развитие народного характера, культуры, языка.

Это чувство родины, заложенное в русском национальном характере, отличающемся всемирной отзывчивостью, открытом для других народов, — ведущая тема поэзии Наровчатова не только военных лет, но и всего его творчества. Разработана она многосложно и разнообразно.

При всей своей повелительной мощи, это чувство далеко не простое и не легкое. Именно оно заставляет пройти через самые мучительные испытания, вынести все, что может вынести человек. В кольце окружения, замерзая в брянских болотах, голодая, проходя «По горестной, по русской, по родимой, Завещанной от дедов и отцов» земле, встречая «двадцать первую осень», подставив грудь под «дремучий свинец» пуль, Наровчатов обращался к России:

Неволей твоей неволен,
Болью твоей болен,
Несчастьем твоим несчастлив —
Вот что мне сердце застит.

Когда б облегчить твою участь,
Сегодняшнюю да завтрашнюю,

Век бы прожил не мучась
В муке любой заправдашной.

Чувство родины требует полной самоотдачи, полного слияния с ее судьбой. Мученье родины — это и твоя сердечная мука. Но одновременно — твоя сила: «От черного дня до светлого дня Пусть крестит меня испытанием огня. Идя через версты глухие, Тобой буду горд, Тобой буду тверд, Матерь моя Россия!»

Россия для Наровчатова — огромный и неделимый мир духовных ценностей, накопленных веками. Она не только территория, пространство, даль и близь, она — как сама жизнь. Когда поэт греется у ее костров, вокруг него собираются «камни, лешие и птицы». Он замечает, что одухотворенная природа везде помогает ему: «Сама, без окрика и слова, Дорога под ноги легла»; «Погибель злую вольный ветер Отвел дыханием своим»; «Я подошел к ручью напиться, И в знак приязни и любви Ко мне взметнули водяницы Ладони светлые свои». Фольклорные сюжеты, где серый волк помогает герою, где есть всеисцеляющая живая вода или всезнающий ветер, — это по сути народное восприятие природы, идущее от языческих времен, когда богами были деревья, камни, птицы. Природа не просто вызывает о защите, она сама себя защищает, отдавая все свои силы человеку:

В те дни земля меня дарила
Неразделимостью с собой,
И мной во всем руководила,
И руководствовалась мной.

Здесь есть и своя эстетика, и своя философия. То, что Наровчатов отдавал себе в этом отчет, говорит позднее его стихотворение «Танец кита». Чукча-охотник, чтоб удачной была охота, репетирует ее в танце:

В этой пляске, в действе странном,
Многозначном и простом,
Был он сразу океаном,
Человеком и китом...

И была в нем суть раскрыта,
Смысл искусства воплощен
От времен палеолита
Вплоть до нынешних времен.

Во время войны, в самую грозную ее пору, слияние с родиной, ее дорогами, и ветром, и ручьем делало человека неуязвимым. Его

невозможно было убить, потому что все равно оставалось нечто не подвластное смерти.

Оставалась бессмертная родина, потому что она велика и бесконечна во времени. В современной России Наровчатов читал ее историю. Она вечно жива и вечно действенна, эта история, прославившая ее «непокорное имя»: «Я сёла, словно летопись, листал И в каждой бабе видел Ярославну, Во всех ручьях Непрядву узнавал». В этом тоже проявилось духовное начало его поэзии, пронизывающей и человека и пейзаж дальнедействующей романтической идеей, которая обращена не только в прошлое, но и в будущее. Уверенный в победе над фашизмом, он одновременно думал «Об участии русской, с сбывшемся чуде, Где люди как звезды и звезды как люди», где «Вступает в права непомерное право Видеть бессмертного в смертном простом». Бессмертными становились для него те, кто «делится ломтем с тобой на привале», кто «рядом в атаку с тобой идет».

С самого начала отношение к родине у Наровчатова было и предметом неотступной мысли. У него складывалась своя философия истории, которая просматривается уже в ранних стихах.

4

Поэзия Наровчатова даже на протяжении четырех военных лет претерпевала изменения. В первые годы войны в ней были горестные ноты, была боль отступления, был трагизм. Не случайны в ней экспрессивные образы-символы «девушек, библейскими гвоздями Распятых на райкомовских дверях», кружащего воронья, коршуна, бесстыдно рвущего добычу.

Однако на переломе, к 1943 году, когда наши армии перешли в контрнаступление, а особенно когда началось освободительное их шествие по Европе, ее тональность заметно меняется.

Решающую роль сыграл прорыв блокады Ленинграда, где в 1942 году оказался Наровчатов. В одном из писем 30 января 1943-го он восторженно писал: «Это был День! И смеяться, и плакать хотелось. Прорвали кольцо. Сейчас в боях. Почти все время на передовой. Настроение под стать людям — напористое. Чувствую себя великолепно — бодр, силен и даже, говорят, красив. С нетерпением жду погон, чтобы украсить ими свои могутные офицерские плечи. Претерпевать приходится много, но не в этом суть. Суть в одном слове: наступаем».¹

¹ Письма литинститутцев с фронта. — В сб. «Воспоминания о Литинституте», с. 153.

Перешло это торжество и в стихи:

Здесь с бытом бой ходил в ровнях,
Но почерк ленинградских буден
Уже не в том, что каждый шаг
В них сбивчив, горестен и труден,
Но в том, что, бедам обучась
И опрокидывая беды,
В них без борьбы не мыслим час,
Как день не мыслим без победы.
И город бурь, и город гроз,
Он тем еще войдет в преданье,
Что он не только перенес,
Он перерос свои страданья.

Характерно, что Наровчатов обращает внимание прежде всего не на сам факт прорыва, а на победу внутреннюю, на победу духа: «не только перенес, а перерос свои страданья». Не сломался, но утвердился и возвысился в своем достоинстве. Вырвался вперед к победе, к будущему: «над обломками блокады Вступает, властное, в права Большое утро Ленинграда!»

Романтическая устремленность не мешала Наровчатову остро чувствовать сам ход войны, ее разные фазы. В его поэзии все ярче проявляется активное героическое начало. Это не только ритм подвига, как в балладе «Ночью, верхом!», близко напоминающей «Балладу о синем пакете» Н. Тихонова, но и просто лихость, бесшабашная удаль, «упоение в бою», как в стихотворении «На грузовике под обстрелом»:

Хорошо в испытанье рассудку
На семи разносмертных ветрах,
Не рассыпав, свернуть самокрутку,
Закурить равнодушно табак,
Чтобы искрой привычного риска
Полыхал, закавказский, у рта,
Пока взрывов гремучие брызги
Прополаскивают борта...

Поэзию теперь он тесно связывает с победами русского оружия. В «Письме к Георгию Суворову», вскоре погибшему под Нарвой, он призывает «великого однофамильца К высокой славе ревновать» и писать так, чтобы «что ни слово, то Очаков, Что ни строка, то Измаил». В стихотворениях «Фронтная ночь», «Праздничный тост», «Капитанский тост», «Вечер в Эльбинге» особенно обостренно пережита романтика фронтового братства, где в единый образ сплавлены

трудные походы, офицерские пирушки, очарования и разочарования любви, ощущение силы и молодость: «Молодость без удержу и края, Фронтовая молодость моя!» Все это вместе напоминает целую линию романтической поэзии — от гусарских и вакхических стихов Дениса Давыдова до «Синих гусар» Н. Асеева.

Сам Наровчатов так прокомментировал эти свои стихи: «То, что сейчас стало привычным, — мы и не мыслим, особенно молодежь, другой военной формы: погоны, знаки различия, звания и т. д., — для нас было внове и окруженным романтикой. Это была как бы обращенность к поэтической традиции 1812 года: «Бурцев, ёра, забияка, мой товарищ дорогой, ради бога и арака приезжай ко мне домой», к романтике русской армии, офицерской удалы — ведь и та война именовалась Отечественной!»¹

Но то дальние ассоциации. Самое заветное и глубинное чувство было все тем же чувством жизни, которое побеждает смерть. Дело ведь не только в том, что победа оружия была не за горами. Побеждало и то, что составляло в человеке его человеческую сущность. В балладе «О голубом цветке» Наровчатов рассказывает, как, раненный, теряющий последние силы, впервые «посмел проклясть Земное бытие». Но рядом увидел «растоптанный цветок», который по-прежнему «Невыносимую для глаз Снял голубизной». И как к истекающему кровью солдату вернулась вера, которую он вот-вот мог потерять:

Где властно правили душой
Железо и свинец,
Мы не расстались с чистотой
Простых своих сердец.

Земля моя, судьба моя,
Безмерный свете мой,
Живая радость бытия,
Цветок мой голубой!

Пусть я страдаю и скорблю,
Но, слабый человек,
Я жалобой не оскорблю
Свой злой и быстрый век.

Было в «романтике русской армии», которая захватила Наровчатова на исходе войны, и еще одно важное качество. В понятие «русской армии» входило братство советских наций. Она не раска-

¹ Наровчатов Сергей, «Поговорим о нашем славном, о настоящем ремесле...», с. 146—147.

ывала народы, а объединяла их. Офицеры, провозглашая тосты друг за друга, приветствовали Андижан и Фергану, сады Запорожья и степи Аскании-Новы, сближали «даль и близь», чтобы «к расцвету строки Руставели С пушкинскими строками слились».

На земле Польши Наровчатов с увлечением читает в подлиннике Мидкевича и Словацкого, в Германии — Гейне на немецком языке.

Наша армия освобождала поработанные народы. И, освобождая, не только принимала дань любви и уважения, но и платила ответной любовью и уважением к другим народам, жизненным укладам, языкам, культурам. Цикл «Польских стихов» Наровчатова засвидетельствовал это с большой поэтической силой.

Беломостье нам платом машет,
Белым платом, омытым в крови,
Истомился по нас Томашев,
Ждет Любашев нашей любви.

Нам идти по путям подзвездным,
Чтобы плечи Плоцк распрямил,
Чтоб познала свободу Познань,
Чтоб Поморье узнало мир...

То не слово врывается в слово:
От Урала и до Балкан
Крепнет братство, грозное снова,
Многославное братство славян.

Весь цикл пронизан ощущением этого братства. Оно не только в декларациях, в пафосе: «Всеславянская древняя слава Всколыхнет наш червлёный стяг». Оно еще и в том, что слово русское входит в слово польское, переключаясь друг с другом, напоминают о коренном языковом родстве: «Не горячими, так горячими, Но словами вспомню любви То ли руки твои, то ли ручки, То ли белые рончки твои...».

Вот когда понадобилась Наровчатову его филологическая выучка, сыграла свою роль любовь к фольклору и древнеславянскому языку, сказались эксперименты с инструментовкой стиха.

Очевидно тут и духовное влияние русской классики. Это Блок объединил в одном образе любовь к родине и любовь к женщине: «О Русь моя, жена моя...» Завершая цикл «Польских стихов», Наровчатов восклицает:

Как тоскует о нас дорога,
Как зовет нас далекий край!..
До видзенья, моя дрога,
Недотрога моя, прощай!

К кому это обращение? Позже он вспоминал: «Чувство, владевшее мною, иначе как влюбленностью не назовешь, а влюблен ли ты в женщину или в страну, сопутствующие обстоятельства одинаковы. Идеализация и романтизация здесь не только возможны, но прямо-таки обязательны». ¹

Так происходила эта встреча с освобожденной страной. «Столкновение польских и русских слов в одном славянском русле», любовь, помноженная на любовь, рождали чувство необыкновенно интенсивное, побуждающее к лирическому объяснению с польскими, чешскими, югославскими городами, целыми народами и целым славянским миром:

Где сердца единого сплава,
Там слова созвучны словам:
Скажут — Славия, слышим — слава,
Скажут — слава, вспомним — славян.

Заканчивается это объяснение уже после войны стихотворениями, обращенными к русскому Северу, — «Сказка», «Северные Ярославны».

Пройдя через многие европейские столицы, Наровчатов тосковал по родине: «Как на душе метет! Как мир велик! Как далека Россия!» Возвратившись с фронта, в 1946 году он едет на Север. Это была и встреча с родиной, и новая встреча с языком: «Но найден слог! Торжественен и плавлен Старинный наш, высокий наш язык!» Наровчатов стремится утвердить сказочное, былинное начало, которое соответствовало бы победному чувству. Он ищет эпические краски для всего того, что было пережито и пережито:

Нет, не ресницы славлю я, но вежды,
Не взгляд, но взор сестры своей Надежды,
И светлыми словами неустанно
Уста и очи славлю у Светланы.

Однако до большого эпоса было еще далеко. Перед поэзией в ту пору вставали другие задачи.

5

В годы войны Наровчатов как поэт прошел большую школу жизни, претерпел важную творческую эволюцию — от стиха книжного и изощренно-новаторского к стиху емкому, обеспеченному жизненным содержанием, интеллектуально значительному. Он уже словно и не стихи писал, писал — жизнь. Утверждал то высокое романтическое представление о народном подвиге, которое вынес из собственного военного опыта.

¹ Наровчатов Сергей, Мы входим в жизнь, с. 151.

К 1946 году он создал большую часть стихотворений, вообще им написанных. Между тем напечатано было совсем немного. Одно — еще перед войной в «Октябре». Кое-что появилось в ленинградских газетах. В «Новом мире» был опубликован «Рассказ о восьми землях» и польский цикл. И это почти все.

Тем не менее вернулся Наровчатов с войны уже известным поэтом.

Фронтовые дороги не раз сводили его с Н. Тихоновым, О. Берггольц, А. Прокофьевым, М. Дудиным, Г. Суворовым, М. Лукониным. И всем он читал или показывал свои стихи. Присылал в Литинститут. Переписывался и обменивался стихами с Н. Асеевым, Н. Глазковым. Своим учеником постоянно интересовался И. Сельвинский. Имя Наровчатова еще в 1944 году упоминал К. Симонов в статье «Подумаем об отсутствующих». Иными словами, вернулся он в литературную среду, где его помнили или знали.

Первые книги «Костер» (1948), «Солдаты свободы» (1952), опубликованные циклы и отдельные стихотворения имели по тому времени видную и оживленную прессу. Его заметил сам А. Фадеев, приславший благожелательное письмо. Литературная судьба Наровчатова складывалась счастливо. Он входил в поэзию как талантливый и подающий большие надежды представитель фронтового поколения.

Его энергично привечали еще и потому, что он приходил в поэзию с современной публицистической темой. Наровчатов искренне принял «социальный заказ». Человек военный, он даже готов был приравнять его к приказу: «Испытанные партией на деле, Мы с ней пришли к черте большого дня, Когда нам приказали снять шинели, Не оставляя линии огня!»

Кончилась «большая война» с фашизмом, война с оружием в руках. Но началась, уже на другом фронте, война холодная. В новую фазу вступила борьба идеологий, борьба политическая. Военная тема теснилась антивоенной. Тема мира диктовала освоение нового материала или использование старого в ином политическом аспекте.

В этом плане характерно стихотворение «Костер», давшее название первой книге. Костер этот — костер дружбы, военного братства, костер победы, который жгли «вблизи Саксонских гор» над Эльбой солдаты встретившихся союзнических армий: «Солдаты двух полков, Полков разноименных стран И разных языков». Он высоко пылал, далеко светил:

И наш костер светил в ночи
Светлей ночных светил,
Со всех пяти материков

Он людям виден был,
Его и дождь тогда не брал,
И ветер не гасил.

Однако теперь, в пору начавшейся холодной войны, его стремятся погасить министры и парламентарии империалистических государств. Заканчивается стихотворение публицистическим призывом к простым людям и солдатам второй мировой войны быть бдительными, возвысить свой голос против новых войн, чтобы «Над целым миром полыхал Бессмертный наш костер!».

Это стихотворение Наровчатов считал принципиально важным для себя: «Одно из самых прочных ощущений, вынесенных из войны, была теснота фронтовой дружбы. Вскоре у меня появилось стихотворение «Костер», где такая дружба переходит в интернациональную, а она, в свою очередь, перерастает в единый отпор поджигателям войны. «Костер», по сути, стало первым стихотворением внозь открываемой темы. Борьбы за мир во всем мире. Его напечатал «Новый мир», который только что возглавил К. М. Симонов, и первая известность постучала мне в окно».¹

Наровчатов энергично обращается к публицистике. Одно за другим появляются «Неизвестный солдат», «Аскер», «Плотник», которые сливаются в общий поток пафосной трибунной поэзии, в лучших своих образцах представленной книгами К. Симонова «Друзья и враги», А. Суркова «Миру — мир!», циклом Н. Тихонова «На Втором Всемирном конгрессе мира».

О стихотворении «Манифест Коммунистической партии» и других, относившихся «к жанру публицистическому, политическому», А. Фадеев писал, что «в них был металл, который позванивал еще очень сдержанно, но как бы говоря: „Придет время, и я смогу зазвенеть во весь голос“».²

Однако сила стихотворной публицистики Наровчатова не только в том металлическом звучании, которое расслышал А. Фадеев, не только в афористической чеканности: «правильность законов диамата Проверили с гранатами в руках», живо напоминающей громовый голос В. Маяковского: «Мы диалектику учили не по Гегелю...» В ней был и лиризм, романтика, интонация личной причастности. Наровчатов стремился подкрепить объективную тему своим сердечным опытом.

Одновременно он делал и попытки выйти за пределы лично пережитого, прибегая не только к пафосу, к диалектике политического памфлета, но и стремясь войти в воображаемые обстоятельства, на-

¹ Наровчатов Сергей, Мы входим в жизнь, с. 193.

² Фадеев А., За тридцать лет, М., 1957, с. 785.

рисовать символическую картину на грани реальности и фантастики. Стихотворение «Мертвец» (первоначальное название «Сенатор») дает впечатляющий гротеск:

Когда рассвет прольется на панели,
Зашарканные осенью вконец,
В холодном доме в заспанной постели
Привстанет и поднимется мертвец.

И в дверь пройдет размеренной походкой,
На умывальник выкатит белки,
Лицо умоет и привычной щеткой
Очистит пожелтевшие клыки. . .

Мертвец в подъезде. Выбритый и чинный,
Чуть синеват, немного тухловат. . .
А в остальном — ну хоть куда мужчина
На самый первый и случайный взгляд.

Кто же этот мертвец? Сенатор, пользующийся «весом Среди чинами равных мертвецов». Вурдалак, готовый «перегрызть всем людям горло». И итоговое, обобщающее политическое наименование — «смердящий труп капитализма».

У такого рода гротеска — длинная родословная: ее можно вести от «Бала» А. Одоевского к «Пляске смерти» А. Блока, памфлетам М. Горького и «Моему открытию Америки» В. Маяковского.

Наровчатов овладевал приемами портретирования, обретая ценные качества, сказавшиеся в его сатирических образах конца 1950-х — начала 1960-х годов и в исторических балладах и поэмах. Так начинало реализоваться его изначальное тяготение к эпосу.

Были в поэзии Наровчатова конца 1940-х — начала 1950-х годов и кризисные черты. Он не избегал риторики, декларативности, описательности. Вместе с тем интимная лирика — цикл стихотворений, посвященных дочери, — продолжала необычайно драматические страницы его лирики военных лет с ее острейшим внутренним сюжетом и резкими перепадами, где все было — обоготворение любимой и угрозы, проклятья, надежды и отчаяние, разлука, ревность, разрыв. Все на пределе самых высоких чувств:

Имя твое! И в сон и въявь,
С именем этим хоть в море вплавь,
Хоть один в поединок против полка,
И жизнь легка, и смерть легка.

И где бы я ни был — на всех раздорожьях,
Куда бы мой жребий меня ни бросал, —
Имя твое, словно имя божье,
Как солдат в старину, я от бед спасал.

И рядом — чувства отчаянные и горькие: «Свою икону взять и опозорить, И растоптать, и предрешить ответ...»; «Нет, не русская ты! (...) Эти письма? Выстрелом в спину Обернулись они...»

Стихи, посвященные дочери, словно разрешают давний конфликт. Горечь разрыва с любимой компенсируется чувством отцовства, дружбой с дочерью, нежностью к ней: «Очень скверно жить в одиночку, А друг друга надо беречь... Подойди, пожалуйста, дочка, И постой у отцовских плеч!»

А. Фадеев в том же письме Наровчатovu оценил и первые стихотворения этого цикла: «Два новых Ваших стихотворения говорят о том, какие в Вас еще заложены возможности. Так вольно, просто, умно и так хорошо «подперчено»! Впору и девочке читать, да и взрослым не мешает...

Значит, Вы *многое* можете». ¹

Это было точное указание на расширение диапазона, на развитие поэзии Наровчатова вширь, хотя были в его стихотворениях и скучноватая мораль, и некоторая вялость, и длинноты.

Другой источник обновления и развития вширь — путешествия. Давняя страсть к странствиям вновь охватила Наровчатова:

Для меня же в доме моем порог
Только тем и хорош,
Что гремят за порогом десятки дорог
И одной из дома уйдешь.

Он вновь едет на Дальний Восток, чтобы увидеть Чукотку, Сахалин, Курильские острова, Берингов пролив, Ледовитый и Тихий океаны, пройти по дорогам своей юности: «Я лишь взыскательный путник, Ищущий правды в речах, Радостных праздников в буднях, Ясного света в ночах!»

Поначалу этот новый опыт путешествий выливается в стихотворную публицистику («У берегов Японии», «Тихий океан»), описательную фактографию («Начальник заставы»), пейзажную лирику («Шхуна на рейде»). На глубине же вынашиваются новые поэтические идеи.

¹ Фадеев А., За тридцать лет, с. 785.

Поворотным моментом в творчестве Наровчатова можно считать стихотворение «Пес, девчонка и поэт», написанное в январе 1959 года. Поэт-романтик, он всегда рвался на простор, ему мало было четырех стен обжитого дома, его влекли дороги и новые встречи. Но есть еще простор внутренний, простор мысли, фантазии, воображения. Одно не заменяет другого. Можно объездить полсвета и остаться скучным регистратором маршрутов. Наровчатов всегда жил внутренней жизнью. Она была главной. Дороги не могли его отвлекать. Захваченный событиями, деятельной стороной жизни, он выявляет ее сущность. Поступки имели цель и смысл.

Еще в «Приземленном ангеле» Наровчатов показал себя как поэт внутренней темы, поэт, умеющий дать многомерный образ, в котором реальное наблюдение усилено фантазией, доведено до значительного обобщения. Эта многомерность не однажды возникала и позже — во «Фронтной ночи», «Письме из Мариенбурга», «Старом альбоме». Наровчатов совмещал разные планы, объективировал испытанные им самим чувства в персонажах другого образа жизни и даже других эпох. Он умел свое «я» воплотить в «мы» и «они». У него было развито понимание соотношений личности и общества, одного человека и многих, сегодняшнего и вечного.

Комментируя «Письмо из Мариенбурга», Наровчатов писал: «Моя влюбленность в историю всегда рождала желание воплотить в стихах словно бы увиденные наяву картины (...) Ведь в стихотворении взято время примерно «Капитанской дочки». Здесь любопытна психология молодого офицера гриневского возраста. Я смотрю на эти стихи из большого далека — будто их написал другой человек». ¹ И тем не менее образ этого офицера был внутренне соотносен с его самоощущением той поры, когда он оказался в Восточной Пруссии, в Мариенбурге, и его угнетала старина «угрюмая, давящая, чужая», а сердце рвалось домой, в Россию. Сиюминутное переживание имело большую культурно-историческую ретроспекцию. Он носил ее в своем сознании.

То же самое примерно происходит и с героями «Старого альбома». Вызванные из небытия, со страниц старого альбома, тени близки Наровчатovu. Обращаясь к молодому корнету, герою альпийских походов и Аустерлица, он говорит: «Ты мой ранний портрет, Только мягче чертами...» А романтическую историю, приключившуюся с корнетом, переживает в воображении как свою собственную. Да она

¹ Наровчатov Сергей, «Поговорим о нашем славном, о настоящем ремесле...», с. 147.

и на самом деле его история, потому что отвечает внутреннему чувству.

«Пес, девчонка и поэт» — продолжает эту линию, только сюжет стихотворения современен и по-своему фантастичен. Подвыпивший поэт подбирает замерзающего пса. Некоторое время спустя они вместе спасают девчонку, пытающуюся утопиться. Девчонка родила мальчика, который растет и набирает сил, «как сказочный Гвидон». А все это между тем — чистая фантазия, в которой следствие перемешано с причиной. Поэт был трезв, замкнут, равнодушен.

И в этот вечер я не встал со стула.
История мне не простит вовек,
Что пес замерз, девчонка утонула,
Великий не родился человек!

Кажется, лирическая притча не имеет результата: на самом деле так ничего и не произошло. Однако стихотворение преисполнено внутренней активности, побуждающей делать добрые дела.

Вот эта внутренняя активность, воспитание и самовоспитание нравственное — главный нерв его поэзии последних лет. Наровчатов не прибегает к декларациям, не сочиняет афоризмов, не навязывает формул. Он сознательно уходит от эстрадной громкости, модной в 1960-е годы.

Может на первый взгляд даже показаться, что он слишком увлекается сюжетами, как бы самоустраняясь, передоверяя свою мысль другим героям, выражая ее через ситуации фантастические или стилизованную историю. Но в лучших его стихотворениях очевидно такое внутреннее горение, такое нарастание эмоций, которое может поспорить с лиризмом открытого типа.

С детства и на всю жизнь спутником Наровчатова стал Лермонтов. Поэт субъективного характера, он, однако, был создателем таких произведений, как «Бородино», «Три пальмы», «Русалка», в которых преобладает тема, сюжет, прямое высказывание заменено зрелищем, материализующим трудновыразимое чувство.

Наровчатов тоже избегает пафосных жестов, зато прекрасно рисует ситуации. Его героя всегда окружает огромный мир, история, время с их характерными чертами и словарем.

Одно из лучших стихотворений Наровчатова, если не самое лучшее, — «Зеленые дворы». Оно стоит поэмы, а может быть, и включает в себе целую поэму, потому что в нем есть такая историческая даль и такой эмоциональный объем, который посилен только произведению большой формы.

О чем это стихотворение? О том, как ждут возвращения своих любимых женщины на Москве.

Когда-то, еще в первый год войны, Наровчатов увидел в «каждой бабе Ярославну». Теперь, проходя московскими зелеными дворами, он слышит их шепот: «Тяжко на Москве...» Это шепчет молодка, провожающая «по государеву указу» своего возлюбленного в ханскую Орду. Шепчет дама, теряющая «аматёра», скачущего и Тавриду. Шептали и в 1940—1941-м году.

«...Вернулся с финской и опять в дорогу,
Меня тревожат тягостные сны.
Безбожница, начну молиться богу,
Вся изведусь до будущей весны».

А за тобой, как будто в зазеркалье,
Куда пройти пока еще нельзя,
Из окон мне смеялись и кивали
Давным-давно погибшие друзья.

Но и этот шепот затих: «Вы умерли, любовные реченья (...) Не прикоснуться, молодость, к тебе». И как тут не задать вопрос: «Вы верите в зеленые надежды, Вы верите в зеленые дворы?» Наровчатов — верил.

Частный сюжет, начинающийся посылкой: «На улицах Москвы разлук не видят встречи» — превращается у него в сюжет исторический. А исторический — в мысль о времени, о будущем, предрекающем не только вечные разлуки, но и вечные надежды на новые встречи. Перед поэтом, только что навсегда распрощавшимся с молодостью («Как далека ты! Не достанешь взглядом... Как Финский, как Таврида и Орда»), является «ангел», ставший «юнцом сегодняшнего дня»:

Ему идти зелеными дворами,
Живой тропой земного бытия,
Не увидеть увиденного нами,
Увидеть то, что не увижу я.

Критика, говоря о позднем Наровчатове, неизменно делает упор на его историзм. Утверждение это бесспорно. Наровчатов действительно историчен. Историчен и тогда, когда пишет о далеких эпохах — Флоренции XV века или России «времен очаковских и покоренья Крыма». Историчен, когда выясняет свою родословную («Рожденье», «1920»), пластично передавая дух времени. Историчен, когда пишет о пути своего поколения, о друзьях и сверстниках.

Стихотворение «Встреча» — это тоже история и осознается поэтом как история:

Чертежная пристальность взгляда,
В канун сорок третьего взгляд...
Васильевский. Вьюга. Блокада.
Идет по сугробам солдат.

В сущности, дальше не происходит ничего сверхособенного. Солдат видит в подворотне тень девчонки, оголодавшей и озябшей, которой так плохо, что «хуже, пожалуй, нельзя». Отдает ей буханку хлеба. Вот, собственно, и все. Но

Так долго звенело мгновенье,
Так накрепко взгляды слились,
Что вечности дуновенье
Коснулось обветренных лиц.

И всё было горько и просто,
И девочку обнял солдат,
И вместе им были по росту
Блокада, Война, Ленинград.

С какой пронзительной чуткостью в случайной этой встрече Наровчатов уловил «вечности дуновенье». И с какой естественностью к маленьким фигуркам солдата и девочки, столкнувшихся в подворотне, применил слова «по росту», слова с большой буквы: «Блокада, Война, Ленинград».

Для Наровчатова история не просто история. Это — говорящая история. Она включает не только колоритную картину, но несет еще и обостренное чувство, современную мысль, большое обобщение. Она не замкнута в прошлом, а непременно продолжается в новом времени. «Чертежная пристальность взгляда», вырисовывая две невзрачные фигурки, приводит их в движение. Они — удаляются, но куда? «Пошли и пошли без оглядки, И вот через годы вдвоем, Взойдя по страницам тетрадки, Встречаются в сердце моем».

Они оказались в будущем — в нынешнем дне. Не только как память, но и как гражданская совесть, как действующие лица сегодняшней поэзии.

Л. Лавлинский заметил по поводу этого сюжета: «Мне кажется, если бы Наровчатов за всю свою жизнь написал только это стихотворение — все равно одним поэтом стало бы на свете больше. Ведь только поэт может узнать высокое и прекрасное в грубом бытовом обличье, а за фигурками двух случайно встретившихся людей уви-

деть отчетливый силуэт времени — судьбу поколения, участвующего в большой войне...»¹

Даже «Русский посол во Флоренции» не просто историческая картинка. Наровчатов впервые приехал в Италию: «Можно было «впрямую» написать о том, что видел и чувствовал. Но захотелось представить Италию предренессансную, Италию XV века, и посмотреть на нее глазами русского человека. Первое знакомство с причудливой, живописной, завлекательной страной. Интересны не просто внешние атрибуты: старинный быт, национальные особенности преломляются через характер и поведение чужестранца, окунувшегося в пеструю карнавальную шумиху итальянского города. Я вообразил себя в той обстановке, — как бы я себя вел? Пожалуй, я бы вел себя, как тот русский посол».²

Речь идет о столкновении национальных традиций, о взаимодействии культур, когда они, накладываясь одна на другую, четче выявляют и осознают себя. Наслаиваются друг на друга и времена, минувшее оттеняет внутренний мир современника, оказавшегося в аналогичной ситуации. Таким образом, историзм служит прояснению настоящего и даже будущего.

Уж что, казалось бы, древнее Атлантиды, погребенной «в десяти тысячелетней мгле», где «Спит дофараоновский Египет, Глухо дремлет доминойский Крит». Однако из исторической легенды Наровчатов творит современную притчу. Все человечество, шагнувшее в космос и проникшее в микромир, может оказаться такой же Атлантидой. Разница лишь в том, что Атлантиду погубили естественные силы, «Мы же сами силы разрушенья Разбудили в недрах вещества». И именно историческое чувство подсказывает Наровчатову оптимистический вывод: «Раз уж мы придумали завязку, То развязку сможем изменить».

Иными словами, в поэзии Наровчатова есть точка, где его историзм соприкасается с социальной утопией или социальным прогнозом («Последняя строка»), а лирическое стихотворение — малая форма — увеличивает свой объем, тяготея к эпосу («Женский портрет»).

7

У Наровчатова были все задатки эпического поэта. В его лирике с самого начала звучали эпические мотивы. Он умел рассказывать

¹ Лавлинский Л., «Не оставляя линии огня». — «Литературная газета», 1969, 17 сентября.

² Наровчатов Сергей, «Поговорим о нашем славном, о настоящем ремесле...», с. 147—148.

и показывать. Лиризм его объемлен и пластичен. Выразительность образная подкреплена выразительностью жизненных положений.

Однако к эпосу он шел долго. Наровчатов искал не сюжет, а характер. Характер живой, крупный, в котором бы отразились и национальные черты и его собственные задушевные стремления. Весь тот опыт, который он добывал из жизни и который накопили культурно-исторические традиции.

Он тщательно обдумывал этот характер. Первую свою поэму «Пролив Екатерины» написал лишь в 1956 году. Ее главный герой — гарпунер Андрей Бугров — наделен многими прекрасными качествами. Он — мастер своего дела. У него твердая рука, меткий глаз. Он — отважен, дерзок, самолюбив. Но все это приводит к тому, что Бугров зазнался, восстал против коллектива, за что и наказан жестоко. И только любовь возвращает его на правильный путь. Поэма получилась схематичной. В обрисовке характера не хватает психологической глубины. Но в ней есть добротные лирические куски, зарисовки труда и быта китобоев. А в образе Бугрова, при всей его неразработанности, содержится черновой набросок центрального характера.

«Песня про атамана Семена Дежнева, славный город Великий Устюг и Русь заморскую» уже населена живыми лицами. Атаман Семен Дежнев — фигура монументальная и в то же время сложная. В поэме он показан в момент высшей своей славы. Ему покорились «Три девицы сибирской земли — Колыма, Индигирка, Лена». Он дошел до края материка, обогнул Чукотский полуостров, необыкновенно расширив границы государства. С его завоеваниями «страна возрастает в Державу», «Русь вырастает в Россию». Царь назначил Дежнева казачьим атаманом, и теперь он «Из Москвы к острогам сибирским С государевой едет казною». Возвращаясь в Якутск, Дежнев посещает Великий Устюг, свою родину, где когда-то «ходил он с оравой мальчишней Огурцы таскать с огородов».

Великий Устюг встречает славного атамана пушечными залпами и колокольным звоном:

Он въезжает первым в ворота.
Озирается — тихий и властный,
Усмехается — чудно и дивно...
Полыхает кафтан атласный,
И блестит золотая гривна.

Громкая у него слава, но непростая служба. Взыскан царской милостью, «Стал Дежнев в голове потока; Тот поток — вся Русь кочевая», собравшая под свои знамена и беглых холопов, и служилых, и добытчиков легкой удачи: «Со всего пособрались свету, Были розны, стали едины. Словно капли одной стремнины».

Нелегко управлять этой вольницей. Дежневская «стремнина» не только расширяет границы Державы, умножает ее славу, но и в любую минуту готова вырваться из повиновения: «Надоело быть под началом, Дерзкий жребий охота вынуть, Не пора ли к дальним причалам Бунчуки казацкие двинуть?» Она мечтает о своем «казацком царстве», интересы которого далеко не совпадают с самодержавными интересами. Атаман — голова этой вольницы. Он служит одновременно и ей и государю.

Угодливый и суетливый великоустюжский воевода, наслушавшись речей Дежнева и его казацкого круга, отлично понимает, что от них пахнет «Словом и Делом». Но он бессилен перед их силой, да и сам атаман облечен государевым доверием. Дежнев оправдывает это доверие, но ему и его вольнице тесно в рамках официальной идеологии и служебной иерархии. Его замыслы и слова дерзки. Его поступки и стремления не укладываются в формы принятого этикета. И в тех здравицах государю, которые произносят казаки, есть и недобрая ухмылка, и лукавство. В самом же Дежневе «запечатана тайная дума», которая мучит его сердце:

Меч Державы — он мощен и страшен.
И, чужой вздымаему волей,
Вместе узником, вместе стражем
Быть ему среди диких раздолий.

В Дежневе Наровчатов запечатлел характер сильный, грозный, противоречивый. Одновременно узник и страж Державы — вот социальная концепция и психологическая коллизия поэмы, разработанная красочно и достоверно.

Вершиной наровчатовского эпоса стала поэма «Василий Буслаев». Она сложна по структуре и по проблематике. Характер Василия Буслаева — тоже многомерен. Можно даже сказать, что в поэме два Буслаева: один — убеленный сединами, мудрый и властный новгородский посадник, другой — молодой, дерзкий ушкуйник, бросивший вызов не только всему Великому Новгороду, но и богу с чертом. Они не совпадают, как не совпадают две поры жизни:

Молодости — буйство,
Молодости — удаль,
Молодости — воля.
Старости — власть.

Кто же из них прав? Тот Васька, который не верил «ни в сон, ни в чох, Ни в змеинный шип, ни в вороний грай, Ни в кромешный ад, ни в господень рай», а верил только в свою непомерную бога-

тырскую силу? Или «Надежда черни, опора хозяев, Православной церкви жесткий оплот — Новгородский посадник Василий Буслаев?»

Наровчатов поставил его в такое положение, что посадник принужден выслушать от калик былинку о себе молодом. Сначала он даже в ярость приходит, восторженные слова про свою молодость называет «досадными», «хулой», «ложью» — для него «правда та не истинна». Сейчас он, избранный вечем, организатор социальной жизни Новгорода, блюдет «порядок трудный и славный» «друзьям в оберег, врагам на страх». С ним беседуют «Пииты, философы и богословы, Говорящие на семи языках», — «Библия, Аристотель. Омир». Он расчетливо и мудро управляет новгородской вольницей. По сути он стал олицетворением порядка, которому бросил вызов в молодости. Ему теперь предстоит судить себя самого.

Велики грехи молодого Васьки Буслаева. Он и ушкуйничал, и бражничал, «на трех морях разбивал корабли», «пошлину» брал «у богатых гостей, У высоких господ, у могучих князей», немало голов кистенем проломил. Но Васькина отчаянная удаля и озорство не от злого сердца, а от преизбытка сил. Им движет не черная корысть, а вольная воля, протест против слепого покорства и смирения:

Не умеее вы, люди, жить по-людски,
И в глазах-то страх, и в сердцах-то страх,
Перед властью вы как подножный прах.
Голодны, как псы, и трусливы, как псы.
Поразмыслишь — одно сокрушение...
Человек — венец поднебесной красоты,
Нашей светлой земли украшение.

Он и стремится вывести из состояния дремы своих сородичей и сограждан, «вековую тишь да гладь... перемешать». Раздает свои богатства, богохульствует, «Сам себе холоп, сам себе господин», отрекается от властей земных и небесных: «Против отцов поднимается чадь. Против отмеренных скушных слов. Против устоев, против основ, Против бояр восстанет голь, Отымет у знатных хлеб да соль {...} Встанет безверье против Христа, Станет душа пуста и чиста».

Но в своем бунте Васька Буслаев зашел слишком далеко, потерял меру. Его обуяла гордыня. Он бросил вызов всему Новгороду. Не только людям, но и почитаемой ими святыне — вечевому колоколу. Он хочет встать вровень с богом. В вещем сне, предупреждающем о вражеском нашествии, он даже на призывы «вышних лиц» — мучеников Бориса и Глеба, стольного князя Владимира — возглавить «заступников Руси» выдвигает свои условия: «Я щит и меч России, Но вы мне не указ».

От него начинается не только вольная воля, но и «разбив-разброд». Гордыня Васьки Буслаева переходит в нигилизм. И когда он разбегается, чтобы перепрыгнуть колокол и окончательно посрамить новгородцев, от него отрекается даже его ватага («ведь колокол над нами висится») и скорбно смотрит на него уже «не мать, а сама Россия»!

Но и это не останавливает его. Уже предчувствуя свое поражение, он очертя голову разбегается в последнем прыжке навстречу гибели. Он уже отъединен ото всех. Вольность стала своеволием. И его смелость не имеет ни цели, ни смысла.

Здесь пришел конец Ваське Буслаеву и конец былине. Перепрыгивая через колокол, он разбивается. Мораль ясна: слишком много взял на себя Буслаев. Вольность он сделал личной привилегией, противопоставив себя остальному миру. Но поэма этим не кончается. Ее обрамляющие главы дают другой философский ракурс.

Посадник Василий Буслаев, власть которого «крута и строга», выслушав былинку о том другом, молодом Ваське-ушкуйнике, неожиданно отпускает ему грехи:

Колокол! Колокол! Колокол!
Гремит новгородское вече,
В нем слово звенит человечье
Гордой совестью, гордой речью
На славянском нашем наречье...

Посадник себя, молодого, прощает,
Каликам милость обещает,
Колоколу поклон отдает.

Вольность — не право поступать наперекор всем, она — привилегия народа, его мнение, его совесть. Дорого заплатил Васька Буслаев за то, чтобы постигнуть эту истину. Но то, чего он не знал, знает посадник. Однако богат он и знанием молодости: «Василий Буслаев грузен и кряжист, Но каждым жестом к деянью готов. Ему легка непомерная тяжесть Долгих дум и долгих годов». Это — не присмиривший старик, напичканный пассивной мудростью. Он — государственный человек, деятель, страж вольности новгородской. Это он на вопрос, что делать с ненужным князем, отвечает: «Бездельника взашей гнать от нас». Это он, сочувствуя юности, полной «силы-отваги», распоряжается: «Давно пора сколотить ватаги, Соколов вольных в полет выпускай». И «за Кемь уходят струги», «К богатой Ганзе Ладьи уходят».

Кому же все-таки отдает предпочтение Наровчатов? Он стремится постигнуть и изобразить диалектику того, как «дерзанье вну-

ков и мудрость делов» превращается в плотную ткань общественно-го бытия. Он ценит вольнолюбие и свободомыслие Васьки Буслаева, но до тех пор, пока они не переходят в индивидуализм и нигилизм. Ему дорога уравновешенная и твердая государственная мудрость посадника Буслаева, но народ-то сложил былинку об ушкуйнике, бунтаре, богатырской силе, молодости:

Народ с тобой в расчете
И в былях не забыл,
Не в славе и почете
Тебя он возлюбил,

В безвластье и в безбожье,
В отбив от зримых вех,
Стоял на раздорожье
Упрямый человек. . .

В своем посягновенье
Из самых крайних сил
Не только дерзновенье —
Себя он преломил.

Для Наровчатова молодой Васька Буслаев — фигура трагическая, человек, надорвавшийся в стремлении дойти до предела. Характер чисто русский в своей безмерности, дерзновенности, решительности. Наровчатов выявляет его неоднородные потенции. Буслаев стоит на «раздорожье». Возможны разные пути: путь к гибели, красивой и в своей отчаянности бессмысленной, «преломляющей» человека. И путь мужания, собирания и углубления личности, путь служения обществу. «Неумолимо грозно Взглянул нам в очи век. Пока еще не поздно, Опомнись, человек! Так подними же вежды, Раскрой их ввысь и вширь, Последняя надежда, Последний богатырь!», — устами схимника убеждает своего героя Наровчатов.

Интересную трактовку характера Василия Буслаева дал Л. Лавлинский, связав его с лирикой Наровчатова: «„Василий Буслаев“ — нечто среднее между былинной (личность героя!), исторической песней (бытовые и этнографические подробности) и современной повестью в стихах. Образ, созданный в поэме, сродни лирическому герою Наровчатова — безоглядная удаль новгородского ушкуйника перекликается с «азартом» молодого офицера — того, что пускал автомашину под артиллерийский обстрел и «на семи разносмертных ветрах», картинно, «не рассыпав», сворачивал самокрутку». ¹

¹ Лавлинский Л., «Не оставляя линии огня».

Наровчатова, считает Л. Лавлинский, корректирует увлечения своей молодости. Во всяком случае, это факт, что он снова и снова вглядывался в себя молодого, сравнивал разные эпохи своей жизни. В Буслаеве он нашел и с большим мастерством разработал издавна привлекавший его национальный характер. И конечно, в трактовку этого характера Наровчатова вкладывал личный опыт. Его меньше всего занимала историческая реставрация: «Общество и человек — вот идея этой поэмы, исторической по материалу, но современной по своим задачам».¹

В последней поэме «Фронтальная радуга» он вновь обращается к молодости своего поколения: «Освещены далекими огнями, Придя из нестареющей нови, Там в гимнастерках с крепкими ремнями Стоят друзья — товарищи мои». Ее герой, «лихой разведчик Коля Бородин», — это и второе «я» самого Наровчатова, и возможный вариант его собственной судьбы. Он то отделяет себя от героя, то сливается с ним. Многочисленные лирические отступления по сути являются и характеристикой Бородина. То, что говорится о Бородине, бросает свет на самого поэта:

А был лейтенант романтичен,
хоть плачь,
В нем геройская чуялась складка.
Шуршала,
как мушкетерский плащ,
Зеленая плащ-палатка.

Не такими ли мушкетерами уходили когда-то на войну добровольцы Наровчатова и Луконин! «Все мы в точках своих отправных Товарищ с товарищем схожи».

«Фронтальная радуга» свела воедино многие мотивы поэзии Наровчатова. Он дал лирический обзор пути своего поколения — «от года рождения после Октября» до той черты, где многие сравнились в «посмертной славе», — вспоминая погибших друзей: Майорова, Молочко, Стружко, Суворова, Когана, вехи своей собственной биографии.

В поэме рассказано о короткой любви и о коротком счастье Коли Бородина и Наташи Одинцовой. Оба они погибли. Но заканчивает Наровчатов поэму высокими словами о бессмертии своих героев:

Подписала
последний счет
Времени
бесконечность.

¹ Наровчатова Сергей, «Поговорим о нашем славном, о настоящем ремесле...», с. 148.

«Неужто
нас Будущее
зовет?»

— «Да», —
ответила
Вечность.

Наровчатов до конца остался верен своему поколению, романтическому взгляду на людей и жизнь.

В 1938 году, когда он путешествовал по Крыму, ему подарили ботинки Александра Грина.¹ Он помнил об этом всю жизнь. Они были ему впору, человеку светлой души и таланта.

Другой его привязанностью еще с довоенной поры стал Максимилиан Волошин с его «Домом поэта». Одной из последних больших работ Наровчатова была статья о нем: «Он был человеком добрым, с широким и честным сердцем, веселым и простодушным, — людям с ним было легко и просторно».² Наровчатова всегда влекли люди бескорыстные и великодушные, с сосредоточенной мыслью и сильными страстями. И не любил он литературных дельцов, пройдох, дошлых и ушлых искателей выгод, осмеянных им в «Утверждении» и «Базарной Галатее».

Но пусть о нем лучше скажут его друзья и товарищи:

«Он вообще первым или одним из первых «отвесно и твердо» посмотрел в историческую даль, сознавая одновременно, что нельзя идти вперед, глядя все время назад. У него было острое историческое чутье, способность вдуматься и вчувствоваться в перспективу происходящего (...)

Все лучшее в Сергее и в его поэзии от благородной русской семьи, в которой он вырос. Главным в Наровчатове было чувство равенства со всеми живущими независимо от цвета кожи и глаз. А его голубые глаза смотрели на мир отважно и милосердно (...). Он все понимал и чувствовал глубже и острее нас. Человек высочайшей образованности, он жил не только среди нас, грешных, — жил в истории и в культуре, и в великих этических учениях (...). Сергей Наровчатов на все реагировал и многое знал. Его стихи — это он сам, а не комментарии к себе»,³ — писал А. Межиров.

¹ Грудцова О., Сергей Наровчатов. Очерк творчества, М., 1971, с. 79.

² Наровчатов Сергей, Максимилиан Волошин. — В кн.: Волошин Максимилиан, Стихотворения. Л., 1977, с. 7.

³ «Литературная газета», 1981, 29 июля.

А это — П. Воронько: «Он был во всем необыкновенно красив, искренен и удивительно честен». ¹

И Наровчатов — сам о себе: «Литература стала моей жизнью с самых юных лет. Ей я отдаю все, что отпущено мне природой, все, что накоплено благодаря постоянному стремлению читать, учиться, отыскивая прекрасное и полезное среди созданного великими творцами всех стран и народов». ²

Он был поэтом по призванию, по чувству долга, по любви.

Наровчатов жил главным и стремился писать о главном:

Грешим не главным и не славным,
Но в самом главном мы правы,
И знаем мы, что в этом главном
Земля нова и мы новы.

Адольф Урбан

¹ Там же.

² Наровчатов Сергей, «... Через всю жизнь». — «Литературная газета», 1981, 29 июля.

О СЕБЕ

Родители мои жили в Москве, но часто наезжали в Хвалынский — небольшой городок на Волге, — там я и родился в октябре 1919 года. Навсегда запомнились краски, звуки и запахи тех лет. Белая, голубая, лиловая сирень. Она нагревается на солнце, и уже не запах, а какой-то сиреневый чад плывет над садами. Над рекой перекликаются гудки — у каждого парохода свой, и мальчишки безошибочно угадывают: снизу идет «Лермонтов», а сверху «Пушкин». На пристани — крики грузчиков, лязг цепей, шумная суতোлка. Там же крепкий запах дегтя, рогож, рыбы. Все это вместе называлось Волгой.

Читать выучился рано — четырех лет. С тех пор чтение — постоянная и ненасытная потребность. В семье у нас любили и знали книгу, и эта моя страсть препятствий не встречала. К тринадцати годам почти вся русская и западная классика была проглочена мною. Именно «проглочена» — переварить «Красное и черное» или «Войну и мир» было затруднительно. Наряду и вместе с классикой шло бессистемное мальчишеское чтение всего, что попадалось на глаза. Вся приключенческая литература, вплоть до забытых теперь Жаколио и Сальгари, была истоно освоена мною. Пиратскую повесть «Фома и ягненок» я пытался даже иллюстрировать — так она мне понравилась.

Проглатывая десятки, а то и сотни книг, я никак не замыкался в их цветном мире. Захлопнув недочитанный том, я летел сломя голову на просторный двор большого московского дома, где вопила и бушевала ребячья республика. Все прочитанное я немедленно делал всеобщим достоянием, и на дворе все время происходила смена эпох и нравов. Один день все были запорожцами, на другой становились мушкетерами, в третий — «красными дьяволятами». В наши игры своеобразно вмешивалась действительность. Мальчишки конца 20-х — начала 30-х годов, мы были детьми своего времени. Весь мир у нас

делился на красных и белых, промежуточных оттенков не существовало, и все категории добра и зла окрашивались только в эти два цвета. И д'Артаньян всегда был у нас «красным», а миледи белогвардейкой.

Мне не исполнилось четырнадцати лет, когда в нашей жизни произошла резкая перемена. Вместе с родителями я уехал на Колыму, где они стали работать в системе треста «Дальстрой». Им тогда руководил Э. Я. Берзин — легендарный герой гражданской войны, командир латышских стрелков. Магадан тогда был небольшим поселком на берегу Охотского моря. Он рос на наших глазах, и мы росли вместе с ним.

Школа была единственной в поселке и, соответственно, небольшой. Я поступил в седьмой класс, — выше классов не было; они появлялись по мере того, как ребята заканчивали предыдущий. Таким образом, мы составили первый выпуск магаданской десятилетки. Учеников было мало; в нашем классе их число никогда не превышало пятнадцати человек. И девочки, и мальчики — мы всегда были вместе, и наше положение старших по отношению к остальной ребячьей ораве еще больше сплачивало нас. Жили мы дружно; грани между школой и «улицей» в таком маленьком поселке попросту не существовало, и наши интересы всегда были общими.

Охота и рыбная ловля, спорт и опять-таки чтение — таковы были наши постоянные занятия. По целым дням ребята пропадали в тайге или на побережье. Четырнадцати лет мы все обзавелись ружьями, и они не оставались у нас без дела. Зимой куропатки, весной утки составляли нашу добычу, пока мы не подросли. В шестнадцать лет некоторые из нас уже охотились на медведей, и первая известность пришла ко мне в виде «подвала» в местной газете, где живописались наши охотничьи подвиги. В той же газете я напечатал свои первые стихи.

Мне было семнадцать лет, когда я окончил школу и поехал через весь Дальний Восток и Сибирь в Москву. Добирался до столицы больше месяца и едва успел подать заявление в институт. Парень я был тогда неутомимый и, узнав, что до начала занятий есть еще время, провел остаток лета с альпинистами в Кабарде.

Со времен Колымы прочно вошла в мою жизнь другая страсть — любовь к расстояниям. Она во многом определила потом мои поступки. Каждое студенческое лето я проводил с товарищами в походах. Так мы прошли на веслах всю Волгу, побывали на Дону и Кубани, прошли пешком весь Крым. Летом 1939 года уехали на Большой Ферганский канал, работали там, объездили почти весь Узбекистан. Все эти поездки обогащали новыми впечатлениями, рас-

ширяли кругозор, расцвечивали жизнь, и без того хорошую и ясную. Молодость начиналась весело и бурно.

Институт истории, философии и литературы — ИФЛИ, — в котором я учился, оставил глубокий след в памяти всех его питомцев. И дело здесь не только в высоком качестве лекций, читавшихся такими корифеями гуманитарных наук, как Д. Н. Ушаков и Ю. М. Соколов, Готье и Косминский, Гудзий и Благой. Светлой и доброжелательной была атмосфера, которой мы дышали в аудиториях и общежитиях.

К тому времени относится мое окончательное приобщение к поэзии. Стихи я начал сочинять очень рано, чуть ли не с пяти лет. С двенадцати стал писать постоянно, в пятнадцать напечатал первое стихотворение в «Колымской правде». К моменту приезда в Москву у меня уже было несколько исписанных стихами тетрадей, и я naïвно думал, что поражу ими москвичей. Вскоре я понял, что, едва начав учиться, надо переучиваться, — современная поэзия мне была почти незнакома.

В те годы мы — молодые поэты — настойчиво стучались в двери не журналов и издательств, а своих учителей в поэзии. К ним в первую очередь надо отнести И. Л. Сельвинского, у которого многие, в том числе и я, прошли тогда серьезную школу стиха. Всегда мы ощущали на плече могучую длань незабвенного «дяди Володи» — В. А. Луговского. С требовательным доброжелательством выслушивал наши новые стихи Н. Н. Асеев. Это были основные наши «прописки» в поэтической Москве, но сколько еще поэтов «хороших и разных» напутствовали тогда добрым словом юных подвижников стиха! А мы действительно были подвижниками — мы жили поэзией, бредили поэзией, молились поэзии.

В марте 1941 года журнал «Октябрь» напечатал подборку под заголовком «Стихи московских студентов». Так впервые в «толстых» журналах появились имена Кульчицкого, Слуцкого, Самойлова и мое. Казалось, мы выходим на «печатную» дорогу. Но через три месяца грянула война, и другие дороги повели нас к другим горизонтам.

Моя военная биография началась еще раньше. В декабре 1939 года, вместе со своими близкими друзьями по ИФЛИ, я ушел добровольцем на войну с белофиннами. Короткая эта кампания оказалась трагичной для нашего добровольческого батальона. Из нас четверых двое — Михаил Молочко и Георгий Стружко — погибли во время рейда по тылам противника. Мы с Виктором Панковым, тяжело обмороженные, попали в госпиталь. Там встретили мы окончание войны и возвратились в Москву, потрясенные всем увиденным и пережитым в эти короткие и одновременно долгие дни. Но моло-

дость быстро взяла свое, и к началу новой, на этот раз великой войны мы были опять готовы к испытаниям.

После финской войны я перешел учиться в Литературный институт имени Горького, а в ИФЛИ остался на экстернате. Оба института я окончил одновременно перед самой войной и в первые ее дни получил оба диплома.

Военные годы — самые емкие и наполненные в моей жизни, именно поэтому о них труднее всего говорить. Или уж рассказывать обо всем в полном объеме, или ограничиться перечислением каких-то главных ее общностей, ставших частностями личной твоей судьбы. На войне я сформировался и как человек, и как поэт. Все мои хорошие и дурные стороны — и в жизни, и в творчестве — с определяющей четкостью проявились именно тогда. После войны происходило либо развитие, либо угасание тех или иных качеств, но начала их были заложены в те годы.

Войну я увидел, пережил, перенес с самого начала до самого конца. Физически судьба меня удивительно щадила — одна легкая царапина от пули за всю войну! Нравственно же она пощады не давала никому, и я тут не стал исключением. Но все я получил сполна — и горечь поражений, и счастье побед. Я помню страшные дороги отступления — мы прошли их с Лукониным, выходя из окружения брянскими лесами и орловскими нивами в 1941 году. Я помню блокадный Ленинград — прозрачные лица, осьмушку хлеба и стук метронома по радио. И я помню ветер боевой удачи, пахнувший нам в лицо на равнинах Прибалтики. И я вижу до сих пор в снах распахнутые ворота гитлеровских концлагерей в Польше, откуда, плача и смеясь, бежали навстречу нам люди всех наций и языков. День Победы я встретил в центральной Германии, и одно воспоминание о тех немыслимых днях пьянит меня сильнее любого вина.

Война принесла мне дружбу таких моих сверстников-поэтов, как Георгий Суворов и Михаил Луконин. Война подарила мне доброе рукопожатье Н. С. Тихонова, большого поэта и человека, чьи советы и пожелания помогали и в ту пору, и долго после. Война наградила меня дружбой многих отличных людей, которых я встречал на своем пути гораздо больше, чем плохих.

На войне вступил в партию, до того я был комсомольцем, и принадлежность к этому великому коллективу стала с тех пор для меня так же естественна, как мое существование.

Война научила писать меня те стихи, с которыми я мог начать прямой разговор с читателем и услышать ответный отклик.

Война многое и отняла у меня, — список потерь надо было бы начинать именами друзей, а кончать молодостью.

После войны я вернулся в Москву, и тут же началась та часть моей биографии, которая интересна главным образом стихами, отражавшими мои думы и чаяния в эти годы. Я целиком занялся литературным трудом. Много езжу по стране, забираясь в наиболее отдаленные ее края. Побывал в местах своей юности — Колымском крае, объездил Курильские острова, Сахалин, Чукотку, Камчатку. К поездкам отечественным присоединились зарубежные. Увидел все пять материков. Путевые впечатления частично уже отпечатались новыми стихами, а многое еще ждет строк и рифм.

До сих пор мои строки уложились в сорок пять книг поэзии, критики, литературоведения, воспоминаний, первой из которых стал стихотворный сборник «Костер», изданный в 1948 году. Сейчас я живу в предощущении новых стихов. Планов много, и осуществление их зависит только от меня самого.

(1965)

СТИХОТВОРЕНИЯ

THE HISTORY OF THE

1. В СОКОЛЬНИКАХ

Про нас с тобой Сокольники
Всю осень говорят:
Мол, с лекций, своевольники,
Уходим в листопад.

Октябрь листвою каленою
Засыпал черный пруд.
Соперничает с кленами
Кирпичный институт.

У первых встречных спросим мы:
Ветра ли навели
Широкой кистью осени
Багрянец на ИФЛИ?

Им любоваться издали
Предпочитаем мы,
Решив с академизмами
Не знаться до зимы.

Важней любой науки,
Всех альф и всех омег —
Твои глаза и руки,
Мой лучший человек.

Чем дальше, тем бесстрашней
Мы смотрим общий сон.
Нездешний и домашний,
Он в явь перенесен.

И светишься ты в дымке
Стихов и облаков
От кружевной косынки
До легких каблучков.

Беспамятно влюбленными
Нам об руку идти
И на совете с кленами
Решать свои пути.

Про нас с тобой Сокольники
Всю осень говорят:
Мол, с лекций, своевольники,
Уходим в листопад.

1938

2. СЕВЕРЯНКА

Открыт ветрам мой дом пустой,
Кругом равнин широкий рёскид,
И, забираясь на постой,
Ветра чердак разносят в доски.

В поселок путь смела пурга,
И слышно лишь по ночи мгlistой,
Как табуном встают снега
Под ветра уркаганский высвист.

Пускай буран колотит в дом,
Пускай зовет в белесый омут,
Но ни теперь и ни потом
Меня не выманить из дому.

Сорвется заржавелый крюк,
И дверь, распахнутая настежь,
Закличет из крутящих вьюг
Мое беспамятное счастье.

Рванет под перезвон крюка
Рука, исколотая вьюгой,
На юге сшитого платка
Концы, затянутые туго.

Я вздохом отдышу одним
Заиндевелые ресницы
И расскажу глазам твоим
О том, что им должно присниться.

Мы вместе встанем у окна,
Заучивая миг на память,
И все поэты в гости к нам
Пройдут через шальную заметь.

И до последней крохи
Грехи мы им простим тотчас
За те греховные стихи,
В которых сказано про нас.

1938

3. ВЕЧЕР

Шапку звезд на брови надвинув,
Шагает мартовский вечер
В пьянящее бездорожье
И неоглядную ширь.
Он шагает по черным лужам
Туда, где далеко-далече
Мне незнакомая девушка
Ждет этот вечер в глуши.

Набросив платок на плечи,
Выходит одна за околицу
И смотрит, как солнце нехотя
Гаснет за синей рекой.
И всё, что она задумает,
Обязательно исполнится,
А девушке очень хочется
Быть близкой и дорогой.

И девушка просит вечер,
Чтобы он разыскал ей кого-нибудь
Неприменно очень хорошего,
Себе и весне под стать...

Ручьи зазвонят под снегом,
Покатаются звезды по небу,
А вечер заломит шапку
И пойдет жениха искать.

И почти на полсуток позднее,
Оставив тайгу и горы,
Он войдет в кривые проулки,
Которыми славен Арбат,
Огни зажигая в лужах,
Он пройдет через шумный город.
Его я на Сретенке встречу
И окликну его наугад.

Он ко мне подойдет неслышно,
Обнимет мальчишку за плечи:
«Пускай среди всех ты не лучший,
Лучшим ты будешь с ней! . . .»
И дома запрокинут крыши
Ливням из звезд навстречу,
Но звезды в ответ запросят
Горячей руки моей.

1938

4. ШОТЛАНДСКАЯ ПЕСНЯ

Изодран твой плед, уходить в нем не след
Холодной февральской порою. . .
Куда ты сегодня собрался чуть свет?
— К Роб-Рою, мама, к Роб-Рою!

Вымокшим стогом сыреет восток, .
Дорога грустна из поселка. . .
Надолго ли в горы уходишь, сынок?
— Надолго, мама, надолго!

Далекой весной распрощался со мной
Твой отец, уходя не за тем ли? . . .
За что же на бой поведет вас Роб-Рой?
— За землю, мама, за землю!

И что тебе в том, чтоб идти за отцом
В такую тоску-непогоду?

И что же дороже, чем поле и дом?

— Свобода, мама, свобода!

А если когда и лихая беда
Глаза твои пулей закроет,
Куда твоим братьям податься тогда?

— К Роб-Рою, мама, к Роб-Рою!

1938

5. ПЕПЕЛЬНИЦА

Она прошла сквозь пламень гончара
И встала здесь кустом неопалимым,
Вобрав в себя цветные вечера,
Насыщенные рифмами и дымом.

Когда от папирос невпроворот,
Невпроворот от болтовни постылой,
В ней древняя замазка восстает
И мифотворческой грозитя силой.

И тут окурок, грузный, как циклоп,
Обманом изуродованный, с хода
Расплющивает обморочный лоб
О марку глинобитного завода.

Тогда, назло античности, она
Себя внезапно вспоминает глиной,
Подавшейся под тушей кабана,
Свернувшего в тростник с тропы звериной.

Но и Руссо ей быстро надоест
С наивным возвращением к природе,
Она его стряхнет в один присест,
Метафоры тасуя на свободе.

В ней вспыхнут спички! И тотчас костром
Она зажжется инквизиционным...
Но мракобеску в руки мы берем
И поступаем по своим законам.

Под краном избавляем от костра
И над ведром не медлим с очищением,
Чтоб чеховской чернильницы сестра
Была готова к новым превращениям.

Но вдруг да перестану я курить,
Во что ей станет новая затея,
Куда девать воинственную прыть,
Что будет делать глина Прометей?!

1938

6. СЕМЕН ДЕЖНЕВ

Ветер поднялся, на парус насел
И глухой непутевую ночью
Погнал по гребням к Анадырской косе
Казацкие утлые кочи.

Хоть с ладанкой крест на шею надет
У злого, как пес, рулевого,
С Покровá их швыряет по темной воде
У самого края земного.

Не к бабам морским на холодное дно
Под всеми греметь парусами. . .
«Слышу, — сказал атаман Дежнев, —
Бьется волна о камень.

К берегу правь! На пустых песках
Сегодня мы станом встанем.
По-над морем низка ходит туча-тоска,
Но не зря мы под ней атаманим.

Никто, кроме нас, не бывал здесь вовек,
Наш путь не изведен и нов.
Впервые российский прошел человек
До чукотских крутых берегов.

И если, не видя счастливой звезды,
Мы кости земле предадим,
Пускай безымянные наши кресты
Покажут дорогу другим!»

...А дежневцев бросает во мгле ледяной
Буран у горбатой гряды,
И, как песенный Китеж, встает над волной,
Над дежневской судьбой — Анадырь!

1938

7. ПРИЗЕМЛЕННЫЙ АНГЕЛ

О чем бы задуматься перед прыжком?
И вот уже осень мелькает
Не осенью просто, а черным платком,
Что красными вышит шелками.

Кружит карусель полустанков и дач
По пестрому Примоскворечью.
Она никаких не сулит незадач,
Хорошую прочит встречу.

Рывком из кабины — и на крыло!
Гудит дюраль самолета.
Только бы ветром не сорвало.
Жду команды пилота.

Летчик движет губами: «Пошел».
Пойду, да в какие двери?
Но за плечами ангельский шелк,
И с ним я в единой вере.

Он дремлет пока, он совсем ручной,
Он с волей моей в равновесье...
Я чувствую жжение за спиной,
Там, где у ангелов крылья.

Ангелом стать? Оцените мечту,
Причудливая затея...
Всего только шаг... Но шаг в пустоту.
И вот — один в пустоте я.

Я в той пустоте как литая струя,
Живое, веселое пламя,

И падаю,
падаю,
падаю я
С раскрытыми настежь глазами.

Ветер жестко утюжит лицо,
С ветром сейчас не до шуток...
Я рву прикипевшее к пальцам кольцо,
Я слышу шелк парашюта.

Ноги вскидывает к голове,
И в миге обворожительном
Я повисаю в густой синеве
Эдаким небожителем.

Болтаю ногами над вышиной,
Держась за тугие стропы.
И не Подмосковье — кружат подо мной
Америки и Европы.

Я с миром сейчас один на один, —
Он хмурится, круглолицый.
Грозятся морщинами Рим и Берлин,
Две яростные столицы.

Хочешь не хочешь, придет пора,
Встанут с враждебной речью...
Но не даром я ангел! Силы добра
Им выйдут за мной навстречу.

Но как же всё сложится впереди?
Вот бы узнать интересно!
А сердце по ребрам колотит в груди,
Ему от догадок тесно.

Стучи же, размашистое, стучи,
С тобой мы многого стоим...
Будут первые залпы в ночи,
Будут разведки боем.

Будет еще и большая война,
Завтра ли, послезавтра ли,

И рано ли, поздно ль чужая вина
С нашей схлестнется правдой.

Какие вдали поджидают пути,
Какие нас ждут тревоги,
Как через жизнь по ним пройти,
Не грохнуться на полдороге?

А земля всё ближе. . . Я рядом с ней.
И снизу, мокры и ржавы,
К моим каблукам всё быстрее и быстрее
Бегут пожухлые травы.

Толчок. Приземленье. Гашу парашют.
Отстегиваю амуницию.
Никто не заметит, что в беге минут
Успел я перемениться.

Но щелкнуло что-то такое во мне,
Я словно возвысился в ранге.
И твердо стою я на зыбкой земле,
Навек приземленный ангел!

1939

8

Мы сухари угрюмо дожевали
И вышли из землянок на мороз. . .
А письма возвращенья нам желали
И обещали счастья полный воз.

В глаза плыла уже шестые сутки
Бессонница. . . Шагая через падь,
Из писем мы вертели самокрутки
И падали, чтоб больше не вставать.

1940

Здесь мертвецы стеною за живых!
Унылые и доблестные черти,
Мы баррикады строили из них,
Обороняясь смертью против смерти.

За ними укрываясь от огня,
Я думал о конце без лишней грусти:
Мол, сделают ребята из меня
Вполне надежный для упора бруствер.

Куда как хорошо с меня стрелять,
Не вздрогну под нацеленным оружием...
Всё, кажется, сослужено... Но глядь,
Мы после смерти тоже службу служим!

1940

Финский фронт

10

Ни у кого и ни за что не спросим
Про то, что не расскажем никому...
Но кажутся кривые сучья сосен
Застывшими «зачем» и «почему».

И снова ночь. И зимний ветер снова.
Дорога непокорная узка...
О, смертная и древняя, как «Слово»,
Как Игорь и как половцы, тоска!

1940

Лгущая красивыми строками!
Мы весь ворох пестрого тряпья
Твоего, романтика, штыками
Отшвырнули напрочь от себя.

Но опять над тишью мирных улиц
Ты встаешь, не тронута ничем.
Посмотри, какими мы вернулись,
Вспомни не вернувшихся совсем.

Что ж теперь? Ломиться в ворота ли,
В тихое ль окошко постучать?
Господи! Мы многое узнали,
То, чего вовек не надо б знать.

Запевая песни удалые,
Мы сшибали шапки набекрень...
Камни не щадя, о мостовые
Мамы наши бились в этот день.

1940

12. НА РУБЕЖЕ

Мы глохли от звона недельных бессонниц,
Осколков и пуль, испохабивших падь,
Где люди луну принимали за солнце,
Не веря, что солнцу положено спать.

Враг наседал. И опять дорожали
Бинты, как патроны. Издалека
Трубка ругалась. И снова держались
Насмерть четыре активных штыка.

Потом приходила подмога. К рассвету
Сон, как приказ, пробежал по рядам.
А где-то уже набирались газеты.
И страна узнавала про всё. А уж там

О нас начинались сказанья и были,
Хоть висла в землянках смердящая вонь,
Когда с санитарями песни мы выли
И водкой глушили антонов огонь.

1940

13. БАБЫ РЯЗАНСКИЕ

Трубы ль закричат на площади, —
Не взвидев от боли свет,
Стремя держать. И за лошадью
Бежать до упада вслед.

Обмирать от нечаянной радости,
Услыхав случайную весть,
Последнее в ветошный ряд нести,
Лавочникам надоесть.

Прощаться с цветастой обновою,
Чтоб в знак жестокой любви
Отсылать гостинцы рублевые,
Покупные гостинцы свои.

Вернется ль домой одичалый,
Мастер увечных дел,
Спрятать сердечную жалость,
Чтоб обижаться не смел.

А потом, если, к сраму вящему,
К непутевой уйдет, отлюбя,
Бросить кольцо пропащему,
Простив его про себя.

Изойти, затормозив по крамольнику,
Слезам горючими всласть...
Катеньки, Машеньки, Оленьки,
В ноги бы вам упасть!

1940

14. СУДАК

Итак, вы помните Судак,
Где воздух винной крепости,
И память бредит о судах
У генуэзской крепости.

По ископаемой тропе
Мы лезем в небо самое,
Чтоб не спеша оторопеть,
Глазея в невесомое.

Когда бросает горы в сон,
Припомнив сказки детские,
Глядим: не рвут ли горизонт
Фелуки генуэзские.

Болтать нам нынче невтерпеж
О давешних дорогах...
Ты снова щеки обдерешь
О грубый подбородок.

1940

15. НЕМЦЫ ВО ФРАНЦИИ

Когда набухали нормандские дюны
Навстречу шрапнелю набрякшим дождям,
Мы ждали, что снова знамена Коммуны
Заплещут по площадям.

Мы ждали, что заново — мера за меру
И поднимется в предканонадную тишь
Париж Демулена, Париж Робеспьера,
Четырежды баррикадный Париж.

Но, растоптав романтический шлак,
Мимо Вандомской колонны,
Кроша мостовую, печатают шаг
Коричневые батальоны.

Заживо всунут в коричневый гроб
Девочку в платьишке рваном. . .
Мне ль над тобой не заплакать вздохом,
Изнасилованная Марианна?!

1940

16. ОТЪЕЗД

Проходим перроном, молодые до неприличия,
Утреннюю сводку оживленно комментируя.
Оружие личное,
Знаки различия,
Ремни непривычные:
Командиры!

Поезд на Брянск. Голубой, как вчерашние
Тосты и речи, прощальные здравицы.
И дождь над вокзалом. И крыши влажные.
И асфальт на перроне.
Всё нам нравится!

Семафор на пути отправление маячит
(После пойдем — в окружение прямо!).
А мама задумалась. . .
«Что ты, мама?»
— «На вторую войну уходишь, мальчик!»

Октябрь 1941

17

На церкви древней вязью: «Люди — братья».
Что нам до смысла этих странных слов?
Мы под бомбежкой сами как распятые
Лежим среди поваленных крестов.

Здесь просто умирать, а жить не просто,
С утра пораньше влезли мы в беду.
Хорош обзор с высокого погоста,
Зато мы сами слишком на виду.

Когда ж конец такому безобразью?
Бомбят весь день... А через чадный дым
Те десять букв тускнеют древней вязью.
Им хоть бы что!.. Гранатой бы по ним!

Иными станут люди, земли, числа.
Когда-нибудь среди других часов,
Возможно, даже мы дойдем до смысла,
Дойдем до смысла этих странных слов.

Октябрь 1941

18. ОСЕНЬ

Я осень давно не встречал в лесу
И, удивленный, глазаю в оба,
Как в тихих ладонях вербы несут
Кленовое золото высшей пробы.

Как на юру, выгорая дотла,
Спеша на тщеславье богатство выменять,
Сыплют червонцами вяз и ветла
И другие, которых не знаю по имени.

Я даже забыл, что идет война,
А чтоб до войны до этой добраться,
Лишь из лесу выйди — дорога видна,
И шесть километров в сторону Брянска.

Октябрь 1941

19. СТЕНА

Взгляд цепенел на кирпичном хламе,
Но тем безрасчетней и тем мощней
Одна стена вырывалась, как пламя,
Из праха рухнувших этажей.

Улиц не было. В мертвую забыть
Город сожженный глядел, оглушен,

Но со стены, обращенной на запад,
Кричала надпись: «Вход воспрещен!»

Она не умела сдаваться на милость
И над домами, упавшими ниц,
Гордая, чужеземцам грозилась,
Не в силах случившегося изменить.

И город держался. Сожжен, но не сломлен,
Разрушенный, верил: «Вход воспрещен».
По кирпичу мы его восстановим —
Лишь будет последний кирпич отомщен. . .

И стена воплощением грозного ритма
Войдет, нерушимая, в мирную жизнь —
Памятник сотням районных Мадридов,
С победной поправкой на коммунизм!

Октябрь 1941

20. В КОЛЬЦЕ

В том ли узнал я горесть,
Что круг до отказа сужен,
Что спелой рябины горсть —
Весь мой обед и ужин?

О том ли вести мне речь,
В том ли моя забота,
Что страшно в ознобе слечь
Живым мертвецом в болото?

В том ли она, наконец,
Что у встречных полян и просек
Встречает дремучий свинец
Мою двадцать первую осень?

Нет, не о том моя речь,
Как мне себя сберечь. . .

Неволей твоей неволен,
Болью твоей болен,
Несчастьем твоим несчастлив —
Вот что мне сердце застит.

Когда б облегчить твою участь,
Сегодняшнюю да завтрашнюю,
Век бы прожил не мучась
В муке любой заправдашной.

Ну что бы я сам смог?
Что б я поделал с собою?
В непробудный упал бы мох
Нескошенной головою.

От семи смертей никуда не уйти:
Днем и ночью
С четырех сторон сторожат пути
Стаи волчьи.

И тут бы на жизни поставить крест...
Но, облапив ветвями густыми,
Вышуршит Брянский лес
Твое непокорное имя.

И пойдешь, как глядишь, — вперед.
Дождь не хлещет, огонь не палит,
И пуля тебя не берет,
И болезнь тебя с ног не валит.

От черного дня до светлого дня
Пусть крестит меня испытаньем огня.
Идя через версты глухие,
Тобой буду горд,
Тобой буду тверд,
Матерь моя Россия!

Октябрь 1941

«Мессершмитт» над составом пронесся бреющим,
 Стоим смеемся:
 Мол, что нас?
 Мол, что нам?!
 «Ложитесь!» — нам закричал Борейша,
 Военюрист, сосед по вагону.

Почти два года прошло
 С тех пор, как
 Узнали мы пороха запах прогорклый.
 И смерти в сугробах зыбучих и сизых
 Узнали впервые свистящую близость.

С тех пор как учились
 В штыки подниматься
 И залпами резать
 Бессонный рассвет...
 Мы вернулись домой,
 Повзрослев на пятнадцать
 Прижимисто прожитых
 Лет.

Гадали — теперь, мол, ничем не поправить,
 Решали — на лыжном, на валком ходу,
 Мы ее второпях обронили на ярви,
 На каком-нибудь ярви
 В этом году.

Но юность, горевшая полным накалом,
 Радугой билась о грани бокалов
 И в нескончаемом споре ночном
 Снова вздымала на щит: «Нипочем!»

Снова на зависть слабым и старым
 Сорванной лентой смеялась над стартом
 И, жизнь по задуманной мерке кроя,
 Брала за рукав и тянула в края,

Где солнце вполнеба,
 Где воздух, как брага,
 Где врезались в солнце
 Зубцы Карадага,

Где море легендой Гомеровой брошено
Ковром киммерийским
У дома Волошина.

Через полгода те, кто знал нас в шинелях,
Встречаясь с нами, глазам не верили:
Неужто, мол, с ними, с юнцами, в метелях
От боя к бою мы версты мерили?

Суровость с плеч, как шинель, снята,
И голос не тот, и походка не та,
Только синий взгляд потемнеет вдруг,
Лишь напомнят юнцу визг свинцовых выюг.

«Мессершмитт» над составом пронесся бреющим.
Стоим, притихнув:
Слишком многое
На память пришло
Под свист режущий
Пуль ураганных
У края дороги.

И если бы кто заглянул нам в лица,
По фамилии б назвал,
Не решившись по имени:
«Товарищ такой-то,
Не с вами ли именно
Случилось
Из финского тыла пробиться?»

1941

22. ОБЛАКА КРИЧАТ

По земле поземкой жаркий чад.
Стонет небо, стон проходит небом!
Облака, как лебеди, кричат
Над сожженным хлебом.

Хлеб дотла, и всё село дотла.
Горе? Нет... Какое ж это горе...
Полплетня осталось от села,
Полплетня на взгорье,

Облака кричат. Кричат весь день!..
И один под теми облаками
Я трясусь, трясусь, трясусь плетень
Черными руками.

1941

23. БОЛЬШАЯ ВОЙНА

Ночью, в жаркой землянке, усталые,
Мы с политруком Гончаровым,
У приемника сидя, принимаем Австралию,
Магией расстояния зачарованные.

Печальную песню на языке незнакомом
Слушаем, с лицами непривычно счастливыми.
Хорошая песня. . . Интересно, по ком она
Так сердечно грустит?
Не по мужу ли в Ливии?

Еще недавно — ну, что нам Австралия?!
Мельбурн и Сидней — только точки на карте.
Кенгуру, утконосы, табу и так далее,
Рванный учебник на школьной парте.

Еще недавно — ну, что нам Ливия?
Помнилось только, что рядом Сахара,
Верблюды по ней плывут спесивые,
Песок накален от палящего жара.

А сейчас — сместились меридианы
И сжались гармошкой параллели.
Рукой подать — нездешние страны,
Общие беды и общие цели.

Наша землянка — земли средоточие,
Все звезды сегодня над нами светятся,
И рядом соседят просторной ночью
Южный Крест с Большой Медведицей.

Уже не в минуте живем, а в вечности,
Живем со своим решающим словом
Во всей всеобщности и всечеловечности
Мы — с политруком Гончаровым.

1941

24. ОТСТУПЛЕНИЕ

Лошади запаленные ржали,
Занималось пламя стороною,
Из Трубчевска беженцы бежали
Большаком, проселками, стернею.

Было шумно, как на людном рынке...
Видел я, как, поравнявшись с нами,
Женщина несла пустую крынку,
Чтоб с пустыми не идти руками.

Мы сидели в кузове машины,
Сгрудившись над картою измятой...
Спутник наш, устало матерщина,
Раздавал запалы на гранаты.

1941

25. В ТЕ ГОДЫ

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казненных городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.

И воронье кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,

И метил все бесчинства и все казни
Паучий извивающийся знак.

В своей печали древним песням равный,
Я села, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославу,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
— Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя?

1941

26. ПИСЬМО О ПИСЬМЕ

Какая строка здесь достигнет цели?
Не кровью пишу тебе, не огнем,
Пишу тебе сорок четвертой неделей
И двести двадцать четвертым днем.

Я сроки тасую. На самую малость
Я ошибаюсь: весна на дворе.
Но для меня ты вчера лишь осталась
В московском, по щиколотки, октябре.

С тех пор я один перед светом в ответе.
Но в осень сырую, в палящий мороз
Через семь гроыхающих месяцев этих
Тебя я как совесть свою пронес.

Слышала б ты — морозом по коже —
Пули о каску стальную стук.
Имя твое, словно имя божье,
Младший твердил политрук.

Всякое было. Голодный, раздетый,
Оглянулся — от немцев проходу нет;

В ржавый сапог вместе с партбилетом
Замусоленный твой зашивал я портрет.

Сейчас мы на отдыхе. Адрес — Ливны.
Фронт далеко — не случится греху...
И снова над Ливнами рушатся ливни,
Звонкие, майские, рвутся в строку.

И снова в письме лишь хорошие новости,
Я тени боюсь на твоём лице,
И схоже письмо со старинною повестью,
Поначалу печальной, счастливой в конце.

Май 1942

27. ЛЕСНАЯ ЛЮБОВЬ

Самая земля дала им это право!
Они идут, не кланяясь кустам,
Путей не разбираючи,
По травам,
По зарослям —
Их ветви жгут.
И там,
Где сосны рыжи,
Где хвоя как пламя,
Где каждый ствол
Смолой, как потом, взмок,
Он женщину с оленьими глазами,
Взяв за плечи, сплеча бросает в мох.
Там запах игол
Едок, словно щелочь,
Там в ноздри бьет
Медвяный терпкий чад,
И комары, озлясь, гудят, как пчелы,
А пчелы, словно мельницы, гремят.
Смолистым медом это лето пахнет...
Над лесом птичий гомон всё сильнее,
Всё яростней...
А девка только ахнет,
И соловьи посыплются с ветвей.

Пусть стороной осколки воют чаще,
Случайная погуливает смерть
И гаубицы
Над краем древней чащи
Гремящий
Опрокидывают смерч,
Но стонов бабьих,
Томных и счастливых,
Где древность
Возникает в новизне,
Не заглушить
Ни взрываю, ни разрываю,
Самой войне.

Август 1942

28. ТАК ЖИЛ Я...

Я подпалил костер зарницей,
И стал костер светлее дня,
И камни, лешие и птицы
Со мной уселись у огня.

Среди урочища глухого
Сыскав меня, из-за угла
Сама, без окрика и слова,
Дорога под ноги легла.

Я логом шел. И враг приметил,
Но — пращур мой и побратим —
Погибель злую вольный ветер
Отвел дыханием своим.

Я подошел к ручью напиться,
И в знак приязни и любви
Ко мне взметнули водяницы
Ладони светлые свои.

Так жил я. А на свете белом
Путей искали времена.

Над миром горестным шумела
Неистребимая война.

В те дни земля меня дарила
Неразделимостью с собой,
И мной во всем руководила,
И руководствовалась мной.

А чтобы без напрасной муки
Врагам в глаза я мог смотреть,
В мои понятливые руки
Вложила огненную смерть.

Октябрь 1942

29

Вечером у омута
Светится вода.
Закинули черемухи
В омут невода.

Над плавучим месяцем
Белый сыплют цвет.
Месяц в сети метится,
Тверд, упруг и светл.

Ходят тени ощупью
Вдоль песчаных кос. . .
Но короткой очередью
Бьет крутой откос.

Против нашей роты
Вражеский расчет.
Никакой природы.
Никаких красот.

1942

30. РАЗГОВОР В БЛИНДАЖЕ

Я рукой отвел табачный чад,
И от нас шага за полтора
Взвился ввысь ойротский Китеж-град —
Острроверхая Ойрот-Тура.

Огляделся я по сторонам
И ни стен, ни окон не нашел —
Пестрокрылый вокруг гремел байрам,
Радугой халатов землю мел.

Но упало, стона не сдержав,
Крайнее из песенных колец,
И глаза рукой закрыл сержант,
Сказочник ойротский и певец.

Сведены дорогой фронтовой,
Говорили мы накоротке
Обо всем, чем жили мы взапой
В тридевятьземельном далеке.

О любви без горечи потерь,
О стихах без слепоты разлук,
Заменяя прозвища путей
Именами песен и подруг.

И сошлись, как звездные лучи,
Словно кубки с лучшими из вин,
Золотое имя Аргайчи
С заповедным именем твоим.

Вился дым махорочный кругом,
В комбижире догорал фитиль,
Но взошел рассвет над блиндажом,
Дверь раскрыл и лица засветил.

Мы простились. И, оставив кров,
Разошлись, чтоб встретиться опять
Там, где нам без песен и стихов
Песню песней с боя добывать!

1942

31. ТРЕХМИНУТНЫЙ ПРАЗДНИК

(ПРОРЫВ БЛОКАДЫ)

Еще три залпа по сволочам!
И вот в одиннадцать сорок
Врываемся первыми из волховчан
В горящий Первый поселок.

С другого конца, мимо шатких стен,
Огнем на ветру распятых,
Люди ль, фашисты ль сквозь чадную темь
В дымных сквозят маскхалатах.

К бою! Но искрой негаданных встреч
Вспыхнуло слово далече.
Всё ярче и шире русская речь
Разгорается нам навстречу.

И там, где разгромленный замер дот —
Хоть памятник ставь над ними, —
Питерец волховцу руки жмет,
Целуются. Не разнимешь!

Стоило жизнью не дорожить,
Снова рискуя и снова,
Чтоб не мы, так другие смогли дожить
До этого дня большого.

И прямо на улице фляжки с ремней
Срываем и светлым утром
За нашу победу, за память о ней
На празднике пьем трехминутном.

Еще раз целуемся. Время не ждет.
Боевые порядки выстроив,
Навек неразлучные, вместе в поход
До последнего вздоха и выстрела.

Я праздники лета знал и зимы —
Только лишь память тронь.
На приисках золотой Колымы
Я пил голубой огонь.

Я чтил обычаи Кабарды,
Гулянья помню Урала,

Со всей Ферганой я выпил на «ты»
На стройке Большого канала.

Я шел навстречу веселым речам,
Где б ни скитался по свету,
Но лучшего праздника не встречал,
Чем трехминутное это.

19 января 1943
Шлиссельбург

32. ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Вот и отобрана ты у меня! . .
Неопытен в древней науке,
Я бой проиграл, поражение кляня,
Долгой и трудной разлуке.

Я бился, как за глухое село,
Патроны истратив без счета.
Со свистом и руганью, в рост и в лоб
В штыковую выходит рота.

И село превращает в столицу борьба,
И вечером невеселым
Догорает Одессой простая изба
И Севастополем — школа.

Бой проигран. Потери не в счет.
В любовь поверив, как в ненависть,
Я сейчас отступаю, чтоб день или год
Силы копить и разведывать.

И удачу с расчетом спаяв, опять
Каким-нибудь утром нечаянным
Ворваться

и с боем тебя отобрать
Всю — до последней окраины!

Март 1943
Синявино

33. ДАЛЬНОБОЙНЫЕ ПИСЬМА

Ввиду просчета наша артиллерия в течение трех минут была по позициям собственной пехоты.

Так вот моя разрыв-травя,
Когда не с фронта бьют, но с тыла
Свои своих. И ты сперва
Осмыслить этого не в силах.

Когда твою траншею — в лоск!
И — с ног тебя. И жив лишь чудом.
Тогда навстречу взрываю в рост
Ты заорешь сперва: «Иуды!»

Но это приступ. Он пройдет.
И, рот обугленный ощерив,
Ты пробормочешь: «Недолет,
Ведь надо б не в меня, а через...»

Разрыв-травя моя, поверь:
Пусть эти строки не укором,
Не оправданием потерь,
Но просто притчей к разговорам.

Когда б у нас наоборот!
Но снова над письмом окольным
Мне муку смертную бороться
От слов слепых, но дальнотойных.

Июнь 1943

34

Когда б за сердечные раны судьбой
Нашивки дарились — мне бы
В красных и желтых, одна к другой,
Ходить полосатей зебры.

Но как выздоравливающего бойца
Из госпитальной палаты

Тянет туда, где в разлет свинца
Золотые идут ребята,

Так, уцепившись за новую нить,
Сердце привычно тянется
Снова искать, снова любить,
Снова терять и раниться.

Август 1943

35

Мне камень, и трава, и зверь,
И ломкий свет звезды
Встречались, женщина, поверь,
Прекраснее, чем ты.

Я камни поднимал с пути,
Под корень травы рвал,
И зверь спешил ко мне прийти,
Как путник на привал.

Хозяин высшего из свойств,
Я ломкий свет звезды
В земную песню с неба свел
И словом пригвоздил.

Но ты — не камень, не трава,
Не зверь и не звезда, —
Скажи мне: где найти слова,
Чьи боль и новизна

Мне помогли б тебя опять,
Упрямыцу, в борьбе
Сперва свалить, потом поднять
И пригвоздить к себе?

Август 1943

36. ОХОТА НА КОРШУНА

Над батареей небо
Изрезал «мессершмитт»,
Но разноцветный невод
Взвивается в зенит.
Разрывы черно-рыжие
Ложатся вперегон —
И вот уж клейма выжег
На плоскостях огонь,
И «мессершмитт», лютуя,
Без цели, наугад,
Помчал напрапалую,
Куда глаза глядят,
Чтоб заморозить пламя,
Густое, словно тушь,
Крещенскими ветрами
Из августовских туч.
Но пламя тучам назло
Растет — и напролом
Сквозь тишь он грянул наземь
Грохочущим костром.
И верною приметой
Для яви тех времен,
Когда, как коршун этот,
Ослепшая, как он,
В огне обуглив перья,
С размаху рухнет вниз
Фашистская империя,
Чтоб разлететься вдрызг!

*Август 1943
Волховский фронт*

37. МАМЕ

Прости меня, мама! С тех давних пор,
Как с тобой обнялись в расставанье мы,
Я судьбам своим и чужим вперекор
Не утишился расстояниями.

Ни дорогами, ни раздорожьями,
Ни путями не шел осторожными

И не бросил, о боли увечась,
Ни азартов своих, ни абречеств.

Но беды не взяли во мне ни аза,
Не с того ли, что, трудно мне, грустно ли,
Надо мною вполне твои глаза,
Путеводные, светят без устали.

Сентябрь 1943

38. НА ГРУЗОВИКЕ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Как в футболе — мячом по воротам! —
Через тишь да гладь
В перелесок,
Где за вздыбленным поворотом
Путь разрывами перерезан.
Мы решаем: не проще ль в тишины
Без удачи и риска без,
Где буксует и матерщинит
В семь немеряных верст объезд?
Но, свои утверждая законы,
Захлестнет, не спросясь, глаза
Ни родных моих, ни знакомых
Издавна не щадящий азарт.
И — вперед!
По песчаной буре
Мимо скорых и долгих смертей,
Мимо черных, желтых и бурых,
Всех калибров и всех мастей.
Хорошо в испытанье рассудку,
На семи разносмертных ветрах,
Не рассыпав, свернуть самокрутку,
Закурить равнодушно табак.
Чтобы искрой привычного риска
Полыхал, закавказский, у рта,
Пока взрывов гремучие брызги
Прополаскивают борта,
По которым на ярость осколкам
Расцвела среди бела дня
Вся в диковинных кленах и елках
Маскировочная стряпня.

Хорошо я свой мир устроил!
По-над миром моим
Вперехлест
Чертогон незапамятных троек
С четким рыском стандартных колес.
Век бы жить, обгоняя кобысть,
Ничему у нее не учась,
Чтоб удача на третью скорость
Выжимала б из часа в час!

1943
Под Шлиссельбургом

39. УТРО НАД НЕВОЙ

Рассвет напорист и упрям,
Его стремительность чеканна,
Зеленоватый по краям,
Как медь старинного чекана,
Он разрастается в восход,
Его ничем не остановишь,
Он в рост над городом встает,
И нужен новый Шостакович
Для улиц и для площадей,
Им открываемых с размаха,
Где жизнь и радостней и злей,
Но также порохом пропахла.
Здесь с бытом бой ходил в ровнях,
Но почерк ленинградских буден
Уже не в том, что каждый шаг
В них сбивчив, горестен и труден,
Но в том, что, бедам обучась
И опрокидывая беды,
В них без борьбы не мыслим час,
Как день не мыслим без победы.
И, город бурь и город гроз,
Он тем еще войдет в преданье,
Что он не только перенес,
Но перерос свои страданья.
Еще дымится грозовой
По-над Невой не стихший ветер,
Но гордый город над Невой

По-прежнему высок и светел.
Рассвет, чтоб темь вчистую сместь,
Чеканщик опытный и спорый,
Оправил в кованую медь
Его граненые просторы,
И светом залита Нева,
И над обломками блокады
Вступает, властное, в права
Большое утро Ленинграда!

1943

40

Когда я добрался до Арсенала
И осталось лишь за угол завернуть,
Ты снова вдруг, не явившись, настала
И снова тобой обозначился путь.

И снова тобой переполнился вечер,
И, словно строками из лучших стихов,
Черный асфальт засветлел мне навстречу
Следами легчайших твоих шагов.

И бедное сердце не удивилось,
Когда сквозь сумерек синюю вязь
Вечерняя тень от стены отделилась,
Шагнула вперед и тобой назвалась.

1943

41. НОЧЬЮ, ВЕРХОМ!

После напутственной чарки
Руку мне жмет полковник
И дарит меня по-царски
Богатством о четырех подковах.

Я ударил ее не думая,
На людях, вперед гоня,

Гордую, злую, умную,
Влюбленную насмерть в меня.

Сильные — сразу сдачи,
Слабые — выждут случая.
Она ж, не ответив даже,
Рванулась вперед, негодующая.

Под хлыстом рванула, ощерясь, —
И с падучей на удилах
Через ночь фронтовую, через
Придорожный, облаком, прах.

Слома голову, часом поздним,
По проселку, вполупотьмах
Высекай колючие звезды,
Задремавшие в звонких кремнях.

Раз в планшете застыл полуночный —
Головой за него ответ!
В. секретный, В. спешный, В. срочный,
Засургученный наспех пакет.

Вдоль по полю, где с неба встречного
Чередой разномастных пуль
Протянулся почище Млечного,
Покрасивше Млечного путь.

У штадива конец аллюру.
Там, где срубленная ветла,
Останавливаю каурую —
И прыжком наземь с седла!

И целую ее, нервную,
Мимо губ, как попало, очень!
Как жену целовал
В первую
Брачную нашу ночь.

1943

42. ТВОЕ ИМЯ

Опять миномет подсыпает жару,
Поле в черную муť замело.
В рост, как по Сретенскому бульвару,
Иду, озоруя, всем бедам назло.

Но если бы вышло, что в смертных увечьях
Я желтой башкою скатился б в жнивье,
Последним из слов и имен человеческих
Я б назвал далекое имя твоё.

Имя твоё! И в сон и в явь,
С именем этим хоть в море вплавь,
Хоть один в поединок против полка,
И жизнь легка, и смерть легка!

И где бы я ни был — на всех раздорожьях,
Куда бы мой жребий меня ни бросал, —
Имя твоё, словно имя божье,
Как солдат в старину, я от бед призывал.

1943

43

Как прошла ты сюда, смелая,
В босоножках легких своих
Прямо по полю помертвелому,
Снегу белому напрямик,
Снегу белому, снегу черному,
Изувеченному, исеченному,
По полям по притихшим минным,
По заждавшимся пришлеца,
Мимо в клочья рвущего дыма,
Мимо пристального свинца?

Как прошла ты сюда, смелая?
До сих пор понять не могу! . .
В маскхалате, как насмех, белом
Я лежал на черном снегу.

Пули всхлипывают:
Прицельным!
Поднимись — и в кусты голова...
Как сумела ты,
Чтоб раздельно,
И чтоб слышно,
И чтоб слова
Резким светом из темной тени,
Летним ветром в зимний мороз
Мне явились,
Смешавшись с теми,
Из которых любое,
В рост
Поднявшись
Поиском счастья,
Врозь с рассудком и с бедами врозь
Дикой девочкой в штопаном платье
Мне на шею когда-то рвалось? ..

Как я вижу тебя? ..

1943

44. ФРОНТОВАЯ ПОЧТА

Когда, словно нанятый, хлещет дождь,
Торф, разбивая в крошево,
Ты вынешь письмо и опять перечтешь,
И тебя, до костей продрогшего,
Оно раззнакомит вконец с дождем,
С ознобом, с осенью, с темью,
С щемью сердечной, что словно ножом
Грозит из-за каждой тени,
Со снами дурными, с бедой наяву,
И, быть превращая в небыль,
Над тобой в ослепительную синеву
Разукрасит осеннее небо.
И ты над окопами встанешь в рост,
Пусть осень, как прежде, неистова.
Ты с осенью врозь и с бедами врозь,
Счастьем рожденный сызнова.

Хорошие письма! Вам этот стих! . .
Но конец его будет случаен, —
Ни я, ни товарищ мой писем таких
Чтой-то. . . не получаем! . .

1943

45

Дорога по старому горю знакома. . .
В недобрую пору на доброй земле
Вот здесь я стоял перед дверью райкома
В загубленном немцами русском селе.

А с двери невидящими глазами
Девушка — тонкие руки крестом, —
Гвоздями прибитая, смотрит на пламя,
Вставшее над казненным селом.

Я задохнулся. . . Подумал, что брежу.
Оторваться не смог. Я глядел без конца,
И сквозь облик распятой всё четче, всё резче
Проступали черты твоего лица.

Как будто бы в этой заброшенной дали,
Над пепелищем у черной реки,
Тебя исказнили, тебя распяли,
Тебя обессмертили наши враги.

Словно сквозь версты стодневной разлуки,
Над перепутьями крестных путей,
Это ты над Россией раскинула руки
В запекшихся пятнах ржавых гвоздей.

И куда бы потом я ни шел за расплатой,
Перед глазами, светлы и чисты,
Сияли, слившись с чертами распятой,
Твои незапамятные черты.

1943

46. ОТКАЗ ОТ ВЫСТРЕЛА

Выстрел как выход, как козырь на кон!
Но когда б опрометчивость выстрела
С тобою, беспамятной, память вон
О тебе, незапамятной, выставила,

Я сам в трибунал постучался б любовью,
За карой придя, как за жалованьем.
Расстрел? В рядовые? Я и так рядовой,
Тобой без выслуг разжалованный.

Когда б позабылась ты! Хорошо
С разлета полезть вперед на
Разрывы, на вой, на рожон
Штрафником забубенной роты.

Мне хуже не будет. Ни въявь, ни в сон
На пропащем солдатчиной свете
Все роты штрафные — тыловой гарнизон
В сравнение с рассветом вот этим.

Нельзя же так больше! . . . Какие бинты
Для раны, распахнутой настежь,
Здесь подберешь? Ведь и мертвая — ты
Живую себя не застишь. . .

Живи!

1943

47. ТЫ НЕ РУССКАЯ

Что с любовью случилось на свете?
Светит? Где? Не погаснул свет?
Или след простыл? Или без вести
Сгинула? Слуха нет?
Быть не может! Взмолюсь о чуде.
Разыщу ее путь прямой!
Ну а что говорят люди?
Не на людях, между собой,
Очи в очи и губы в губы,

Сердце в сердце, кровь в кровь —
Светит? Гаснет? Живит? Губит?
Есть на свете еще любовь?
Или вовсе сердечной силе
Вышел век? Не приму навет!
На Руси не бывает так! Или
Ты не русская?! Слышишь? Нет!
Ты не русская! Без оглядки
И без памяти, до конца,
До бессмертья — любовь солдатки.
До бессмертья — любовь бойца!
Да солдатка ли ты? Ведь недаром
Свято имя солдатских жен!
Ну а ты-то? По слову старому,
С глаз долой, так из сердца вон?
Разлюбила? Бросаешь? Что же
Ганьше думала ты? С тех пор
Год прошел? Как закон, непреложен
На Руси двух сердец уговор!
Не по-русски живешь! Крепость веры,
Знамя веры — наш человек!
Коль любить, так любить не до двери,
Но до гроба! Не на день — навек!
Нет, не русская ты! Светом в темноте
Светят наших людей сердца...
Не со мной расстаешься, со всеми
Вере верными до конца.
Я под пулями здесь... Могли бы
Эти письма вернуться вспять.
Получила бы с надписью: «Выбыл
Адресат». Как могла ты писать
Эти письма? Выстрелом в спину
Обернулись они... Добро!
Не у немцев ли выпросишь? Кинут
Вслед иудино серебро!
Непричастная к гордой силе,
Той, что верность дает двоим.
Так прощай же... Но небо России
Не считай, по привычке, своим!

1943

1

Мы дни раздали вокзалам!
И вот — ворвалось в бытие
Пургой, камнепадом, обвалом
Неслышное слово твое.

Рожденная гордой и горькой,
Прямая, как тень от угла,
Ты руку, иконоборкой,
На счастье мое подняла.

Ты напрочь уходишь, чужая,
И впору занять у тебя
Любить, ничего не прощая,
Прощать, ничего не любя.

Обугленный взгляд исподлобья!..
Не сдержит ни шепот, ни крик
Мое бытовое подобье,
Мой грустный и вечный двойник.

2

Свою икону взять и опозорить,
И растоптать, и предрешить ответ...
И — камнем вниз, в неслыханную горесть,
Где жизнь не в жизнь и свет уже не в свет.

Опять твердить нескладнее нескладиц,
Что разлюбил по горло!.. И опять
За темное дешевенькое платье
Любую тень ночную принимать.

Пройти сквозь всё, измучившись сверх мер,
Пройти сквозь всё, что зримо и незримо:
Ни дать ни взять — влюбленный офицер
Времен очаковских и покоренья Крыма.

3

Так снова ревность? Письма — в ругань,
Одно дурное на уме...
К ребенку. К родственникам. К другу.
К любой фамилии в письме.

И бурсаком заклатья мечешь...
А ночью Виевой темно:
Дверь распахнуть, и выгнать нечисть,
И вновь впустить ее в окно.

Хомою Брутом утро встретить,
Лишь с тем отличием опять,
Что петухов не только третьих,
Но даже первых не слышать.

1943

51. ВЗВОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Немецкий обоз в сорок колес
Захвачен сегодня нами.
Консервы, коньяк, тюк папирос
И полковое знамя.

Привал. Но па время отсрочен сон:
Впервые за целый год
С моего разрешения хмельным хмелен
Отдельный разведвзвод.

Ребята — каждый выйдет на трех,
Прикажешь — на целый мир!
А я над ними царь и бог
И взводный командир.

Томит весной лесной апрель,
Случайный вечер тих.
И светлый колобродит хмель
В разведчиках моих.

Я слушаю в который раз,
Кольцуя сизый дым,
Как мой связной ведет рассказ
Про пленных, взятых им.

За ним, рассудку вопреки,
Другой рассказ готов:
Вино развязывает языки
И связывает «языков».

А мне трезвей других сидеть
Положено по штату. . .
Как хорошо умеют хмелеть
Золотые мои ребята.

Немецкий обоз в сорок колес
Захвачен сегодня нами.
Консервы, коньяк, тюк папирос
И полковое знамя.

1943

52. ПИСЬМО ГЕОРГИЮ СУВОРОВУ

Судьба ломает? Не мириться,
Не унывать, а вдругорядь
Великого однофамильца
К высокой славе ревновать.

Пускай ты в сотни раз безвестней,
Но ваши сходственны пути.
Мы ставим саблю вровень с песней.
А песню ты сумел найти.

Во имя двух ремесл старинных
Нам только так гореть с тобой,
Чтоб каждый час — как поединок,
А день — как выигранный бой.

Чтоб, снова жилы распечатав,
Писать, не требуя чернил:
И что ни слово, то Очаков,
Что ни строка, то Измаил.

Чтоб вечно душу с сердцем настезь,
Чтоб взгляд ловил полет орла
И чтоб суворовское счастье
Дало тебе свои крыла.

Январь 1944

53. ЛЕНИНГРАДУ

Я до войны здесь и не жил и не был,
Но недаром солдатской судьбе москвича
Три года светило высокое небо
Петровских солдат и бойцов Ильича.

По дорогам войны мы уходим на запад,
Мир городами другими богат,
Но, как прежде, в бою вспоминаешь как
заповедь
Веру великую — Ленинград.

И, черный и скорбный, он в памяти зоркой
Самого света встает светлей —
Имя и знамя гордой и горькой,
Единственной молодости моей. . .

Февраль 1944

54. РЕГУЛИРОВЩИЦА

Семь путей сошлись за переправой,
Но не надо думать ни о чем:
Взмах руки — и я иду направо,
Повинуясь девочке с флажком.

Если бы такой же в днях кромешных
Мудрый знак судьбой дарился мне
На забытых разумом, сердешных
Путь-дорогах в песенной стране!

Что несет меня путем безбожным
Вкось дорог просторных, очертя
Голову, по пням, по бездорожьям,
По раздумьям, черным дочерна?

А не то, устав блуждать ночами,
С целью разочтясь начистоту, —
Прахом всё! — и падаю, отчаясь,
Светлыми глазами в темноту.

Сколько этих мытарств, болей сколько
На ночных раскидано путях,
Сколько сердца тратишь на проселках,
Сколько гасишь разума впотьмах! ..

Плохо как! И божество всех новшеств
Я взмолил, пути свои кляня:
— Господи! Введи регулировщиц
Именным приказом для меня!

Ты бы ввел. . . А я, тупей полена,
Вновь свернул — хоть стражу призови —
И опять побрел бы по колено
В непролазных горестях любви.

*Март 1944
Под Кингисеппом*

55. ФРОНТОВАЯ НОЧЬ

На пополнение наш полк отведен,
И, путаясь в километрах,
Мы третьи сутки походом идем,
Кочуем — двести бессмертных.

За отдыха час полжизни отдашь!
Но вот ради пешего подвига
Офицерам полковник дарит блиндаж,
Бойцам — всю рощу для отдыха.

Спать! Но тут из-под дряхлых нар,
Сон отдав за игру, на
Стол бросает колоду карт
Веселая наша фортуна.

Кто их забыл второпях и вдруг,
В разгаре какой погони? . .
Что нам с того! Мы стола вокруг
Тесней сдвигаем погоны.

И я, зажав «Беломор» в зубах,
Встаю среди гама и чада.

Сегодня удача держит банк,
Играет в очко Наровчатов.

Атласные карты в руках горят,
Партнеры ширят глаза.
Четвертый раз ложатся подряд
Два выигрышных туза.

И снова дрожащие руки вокруг
По карманам пустеющим тычутся,
Круг подходит к концу. Стук!
Полных четыре тысячи!

Но что это? Тонкие брови вразлет.
Яркий, капризный, упрямый,
На тысячу губ раздаренный рот.
— Ты здесь, крестовая дама?

Как ты сюда? Почему? Зачем?
Жила б, коли жить назначено,
На Большом Комсомольском, 4/7,
Во славу стиха незрячего.

Я фото твое расстрелял со зла,
Я в атаку ходил без портрета,
А нынче, притихший, пялю глаза
На карту случайную эту.

Где ты теперь? С какими судьбой
Тузами тебя растасовывает?
Кто козыряет сейчас тобой,
Краса ты моя крестовая?!

Но кончим лирический разговор...
На даму выиграть пробуешь?
Король, семерка, туз... Перебор!
Мне повезло на проигрыш.

Я рад бы всё просадить дотла
На злодейку из дальнего тыла...
Неужто примета не соврала,
Неужто вновь полюбила?

Я верю приметам, башку очертя,
Я суеверен не в меру,

Но эту примету — ко всем чертям!
Хоть вешайте, не поверю...

Ночь на исходе. Гаснет игра.
Рассвет занимается серый.
Лица тускнеют. В путь пора,
Товарищи офицеры!

На пополнение наш полк отведен,
И, путаясь в километрах,
Четвертый день мы походом идем,
Кочуем — двести бессмертных.

*Апрель 1944
Под Нарвой*

56. НОЧЬ В СЕЛЬСОВЕТЕ

Здесь, на краю нежилой земли,
Штатский не часто встретится,
Но в ближней деревне нас версты свели
С неожиданной собеседницей.

Сто раз обрывалась беседы канва,
Но заново, как откровение,
Мы открывали друг другу слова,
Простые и обыкновенные.

Я думал, что многих из нас война
Сумеет не сжечь — так выжечь.
И время придет — наша ль вина,
Что трудней будет жить, чем выжить!

Но, глядя, как буйно горят дрова,
Как плещет огонь на приволье,
Нам просто казалось, что трын-трава —
Все наши беды и боли.

Что время придет — и мудрая новь
Из праздничных встанет буден,
И краше прежней будет любовь,
И молодость снова будет.

За окнами Луга ломала лед,
Ветер метался талый.
Мы говорили всю ночь напролет,
И ночи нам не хватало.

Решил бы взглянувший со стороны,
Что двое сидят влюбленных,
Что встретил Джульетту полночной страны
Ромео в защитных погонах.

Но всё было проще. И к четверем
Дорога дождалась рассвета.
И я распрощался с секретарем
Извозского сельсовета.

Секретарю девятнадцать лет.
Он руку дает мне на счастье.
Он веснушчат. Он курнос. Он одет
В довоенной выкройки платье.

Я с ним не сумел повстречаться с тех пор,
А вы повстречаетесь, исподволь
Попробуйте завязать разговор —
И у вас получится исповедь.

*Апрель 1944
Под Нарвой*

57. ВУРДАЛАК

Я невзлюбил за это няньку...
Бывало, в детстве, без огня,
Укладывая спозаранку,
Пугала, старая, меня:

«Живет мертвец в печной трубе,
Он до ребячьей крови лаком.
Скорее спи! А то тебе
Придется знаться с вурдалаком».

С тех пор полжизни отшагав,
Я никогда бы не поверил,
Что в душу мне ударит явь
Чернее древнего поверья.

На талом мартовском снегу,
Как вербы сломленная ветка,
Расстрелянная на бегу,
Лежала девочка-трехлетка.

По свежим кинувшись следам,
Мы на обрыве, у оврага,
Узнав убийцу по когтям,
В тупик загнали вурдалака.

На нем Железный крест бренчал,
Был сам он розов и упитан....
Я целый диск в него вогнал
И лишь тогда признал убитым.

Май 1944

58. ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

Рука с размаху письма четвертует,
Где адрес нашей почты полевой,
А строки, как в покойницкой, горюют
И плачут над пропавшей головой.

Что мне ответить, раз по всем законам
Я не дожил до нынешнего дня,
Родным, друзьям, подругам и знакомым,
Похоронившим заживо меня?

По мне три раза панихиды пели,
Но трижды я из мертвых восставал.
Знать, душу, чтоб держалась крепче в теле,
Всевышний мне гвоздями прибивал.

На мой аршин полмиллиона мерьте —
У нас в крови один и тот же сплав,
Нас несть числа, попавших в лапы смерти
И выживших, ей когти обломав.

Мы в чащах партизанили по году,
По госпиталям мыкались в бреду,
Вставали вновь и шли в огонь и в воду
По нарвскому расхлестанному льду.

Я всех пропавших помню поименно, —
Их имена зарницами вдали
Незнакомые режут небосклоны
На всех концах взбунтованной земли.

Недаром ходят слухи по планете,
Высокне, идут издалека,
Что где-то на деголлевском корвете
Воюют два балтийских моряка.

Я верю: невозможное случится,
Я чарку подниму еще за то,
Что объявился лейтенант Кульчицкий
В поручиках у маршала Тито.

И день придет. Пропавшие без вести,
На пир земной сойдясь со всех сторон,
Как равные, осушат чашу мести
На близкой тризне вражьих похорон!

*Май 1944
Нарвский плацдарм*

59. АНФИСА

Царь-девицей я звал Анфису!
Мне казалось, что ярким днем
Плещет сказка про царь-девицу
Вслед Анфисе цветным крылом.

У подковы на стертом пороге,
На краю нежилой земли,
С ней меня фронтовые дороги,
Не успев свести, развели.

Я слышал, что у проруби рваной
Год спустя, у врагов на виду,
Залегла ее рота под Нарвой
На речном на расхлестанном льду.

И тогда, словно вызов и заповедь
Тем, кто в лед под пулями врос,

Северянка поднялась на запад
Над притихшею цепью в рост.

И на жизнь и на смерть солдаты
За волжанкою встали с земли,
Но на берег, у немцев взятый,
Только память о ней принесли.

Вот что слышал я. Может статься,
Надо мной потускнеет свет
Через десять ли, через двадцать
Долгих дней и коротких лет.

В скучноватом, размеренном мире
С неразменной, как медь, женой
Будет век в коммунальной квартире
Доживать капитан отставной.

Всё спокойнее год от году,
Равнодушной к себе и к другим,
Постареет, смирится. В угоду
Всем безгрешным и прописным.

Сам себя посчитает зазорным!
Но в какой-нибудь тихий день
Встанет он от бешенства черным,
Весь заломленный набекрень.

Не с того ли, что, сблизив сроки,
Словно оклик далекой земли,
Трех фронтов золотые дороги
Буйным маревом встанут вдали?

И как заповедь и как вызов,
Как узор на старинном клинке,
Староверское имя Анфиса
Вспыхнет, гордое, вдалеке.

*Июнь 1944
Под Нарвой*

60. СЕЛО

Следы жилья ветрами размело,
Села как не бывало и в помине,
И углище бурьяном поросло,
Горчайшей и сладчайшею полынью.

Я жил всю жизнь глухой мечтой о чуде.
Из всех чудес ко мне пришло одно —
Невесть откуда взявшиеся люди
Тащили мимо длинное бревно.

Они два года сердцем сторожили
Конец беды. И лишь беда ушла —
На кострище вернулись старожилы
Войной испепеленного села.

И вот опять течет вода живая
Среди отбитой у врага земли.
Для первых изб вбивают снова сваи
Упрямые сородичи мои.

Я слишком часто видывал, как пламя
Жилье и жизнь под самый корень жгло,
И я гляжу широкими глазами,
Как из золы опять встает село.

*Июль 1944
Сланцы*

61. О ПЕСНЕ

Нас приохотили к песням походы,
И песни военных удач и невзгод,
Жизнь измеряя упорством пехоты,
Славили жизнь, как солдатский поход.

Но ширь этих песен становится тесной,
Сердце тоскует по шири безвестной,
Мы снова высоким забредили словом
О древней земле и о племени новом.

Об участи русской, о сбывшемся чуде,
Где люди как звезды и звезды как люди,
Где, после того как погаснут они,
Свет их столетья ниже, как дни.

И старые мерки уже не по праву, —
Где смерть и бессмертье ходят вдвоем,
Вступает в права непомерное право
Видеть бессмертного в смертном простом.

Мы раньше и слыхом о нем не слыхали...
Но вот он — кто сердце бросает на дзот, —
Он делится ломтем с тобой на привале,
Он рядом в атаку с тобой идет.

О нем еще в песнях ни звука, ни вести,
Но, шляхом шагая, качаясь в седле,
По слову о нем собираем мы песню,
И тесно ей станет на старой земле!

Август 1944

62. СОКОЛ

Я стою на седом кургане,
Надо мною в небе высоком
Реет медленными кругами
Неизбывный мой белый сокол.

Сколько воли в могучих крыльях,
Сколько силы в полете смелом!
Все ветра ему путь открыли,
Расступаются перед белым.

Этим именем в речи тесной
Навсегда мой путь обозначен.
Белый сокол — прозвище песни,
Имя удали и удачи!

Сентябрь 1944

63. ЧЕТВЕРТЫЙ СЕНТЯБРЬ

На лесных дорогах солдатам
Бьет четвертый сентябрь челом
И размашистым и крылатым
Машет вышитым рукавом.

Подожженные светят скирды,
Мызы минами крестят путь,
И висят кирпичные кирки
В паутине привычной пуль.

По воронкам — вражьи останки,
Над воронками — воронье,
С вороными крестами танки
На покой приняло жнивье.

Снова стяг высокий и гневный —
Да пребудет он здесь вовек! —
В отвоеванной метит деревне
Наш кочевнический ночлег.

Чист и звонок осенний воздух,
До утра нам передохнуть. . .
Чем короче солдатский отдых,
Тем короче солдатский путь.

И застенчивые эстонки,
Не боясь, что скажет молва,
Без оглядки, на людях, вдогонку
Самоцветные дарят слова.

Сентябрь (?) 1944

64. РАССКАЗ О ВОСЬМИ ЗЕМЛЯХ

Восемь стран прошел я вдоль и поперек,
Был мой след чужими судьбами повит,
И забыл я имена своих тревог,
Позабыл я имена твоих обид.

Если б снова повстречались мы с тобой,
Ты ни клятв не услышала б, ни божбы.

Я б иной с тобой занялся ворожкой,
Расплетая нити песен и судьбы.

Не про взгляд бы рассказал я, но про взор,
Как глядят в глухих урочищах Литвы
Темно-синие глаза лесных озер
На языческие гульбища листвы.

Рассказал бы, как валил хмельной ячмень
Рослых эстов у полночного костра,
Там, где Калева неистовая тень
С нами вместе пировала до утра.

Глазоемом я назвал бы окоем,
Рассказав, как синевою светит высь,
Где Земгалия с Латгалией вдвоем
Над Даугавой, словно сестры, обнялись.

Рассказал бы про солдатский перекур
У часовни, где ни сесть, ни отдохнуть,
Где пророчит, по словам седых мазур,
Матка Бозка Ченстоховска добрый путь.

Новизну раскрыв в присловьях старины,
Я бы сплел в одну стоцветную канву
И поверья мазовецкой стороны,
И Полесья златоустую молву.

Семь земель с тобой припомнив наизусть,
Я ни слова не сказал бы о восьмой,
Потому что ошибиться может грусть,
Может лишнее сказать о ней порой.

Я прошел ее сто тысяч раз подряд,
Все пути ее на память разучил.
Без нее бы я и жизни был не рад,
Без нее бы белый свет мне был не мил.

С ней мой жребий, как с судьбой, неразделим,
В ней начало и печали, и любви. . .
Ту страну назвал я именем твоим,
Дал приметы ей и прозвища твои!

*Ноябрь 1944
Польша*

65. ПЕРВЫЙ ПОЕЗД

Иной разговор словно стих без помарки,
Где взятые наспех слова
Дешевы и пестры, как почтовые марки,
И привычны, как дважды два.

В нем нечего выбрать. Лишь снова и снова
Взгляд пустоту ворошит.
Как вдруг среди стертых неожиданное слово
Сердце приворожит.

И на день тебя зачарует без удержу
Скрытое в нем колдовство.
Ты ночью во сне повторять его будешь
И утром вспомнишь его.

Так, среди уличного разговора
В несвязице и болтовне
Новость, высокой легенде впору,
Явилась неожиданная мне.

Явилась — захватывающая, как повесть,
Насущная, словно хлеб:
Сегодня первый приходит поезд
Из Питера в Кингисепп.

Здесь каждое слово как светлый праздник,
Я день проходил вполпьяна,
Даря его встречным, как дарит бражник
Заветную чару вина.

«Неужто больших новостей нету? ..» —
Бросит мне кто-нибудь.
... Но я по версте завоевывал этот
Открытый сегодня путь.

Кто шел навстречу смертному ветру,
Полустанки листая штыком,
Тот цену запомнит каждому метру
И каждой

шпале

на нем.

Десять суток нам дают на отдых!
 Что с того? Среди родных равнин
 Нас сам черт не оторвет от потных,
 Как дождем облитых, конских спин.

И живем мы здесь — с коней не слазим,
 Днюем и ночуем на конях. . .
 Свалит сон, — шинель не скинув, — наземы!
 Пистолет с планшетом в головах.

Только солнце встанет над лошиной,
 Заново бескрайним летним днем
 Наши песни княжат над Княщиной,
 Государят над Господарем.

Атаманствуют в Заатаманье,
 Верховодят в Вышних Верховцах.
 В Томизорье глазоньки туманят,
 Душеньки томят во всех концах.

И — на всем скаку через Поречье,
 Где, слышав с присвистом припев,
 Бабы только ахнут нам навстречу,
 Только охнут, вслед нам поглядев.

Привечайте всадников с Востока!
 Наши кони, вестники побед,
 Белой стаяй мчатся к Белостоку,
 Белой стаяй через белый свет.

Так гори вовеки, не сгорая,
 Так бушуй же, силы не тая,
 Молодость без удержи и края,
 Фронтная молодость моя!

1944

Довольно стояли мы станом,
Пора и коней в аллюр! . .
У стремени с капитаном
Прощается старый мазур.

«Когда отстоишь свободу,
Вернешься из дальних сторон,
Краям своим и народу
Мой передай поклон».

«Сбудется, — я отвечаю, —
Выполню просьбу твою. . .
Быть может, судьбу испытаю
Я снова в Колымском краю:

Присев у костра усталым,
Развязывая торбаса,
Знакомым своим камчадалам
Про твои расскажу леса.

А может быть, в Андижане,
В чайхане распивая чай,
Припомнив свое обещанье,
Раздарю я приветы твои.

Или радушным абхазам,
В горах заскучав по лесам,
Простым удивив рассказом,
Я честный поклон передам.

Если же счастье случится,
Привет твой в кругу друзей
В нашей высокой столице
Вручу я невесте своей.

Повсюду — от края до края —
Близка она мне и родна,
Праздничная и молодая,
Большая моя страна!»

Бушует осень Мазовецким краем,
Кружит листвою червлёная метель...
И мы впервые праздник свой встречаем
От Родины за тридевять земель.

Чужое небо светится над нами,
Чужая речь ручьём вокруг течёт.
И снова перед нашими глазами
Отчизна наша светлая встаёт.

Пускай мы от неё сейчас далёко,
Чужая окружает нас земля, —
По-прежнему нам светит свет с востока,
Высокий свет родимого Кремля.

1944

69—73. ПОЛЬСКИЕ СТИХИ

1
Перед вислинскими мостами,
Вспомнив речи забытой звон,
Снова губы зовём устами
И очами глаза зовём.

Видим кольца, а слышим «перстни»,
Чуём «огень», а шутим с огнём,
Но не перстни мы дарим, а песни,
Щедрой горстью их раздаём.

А коханым песни что заметить...
И, опаматовавшись едва,
На беспамятство и на память
Нам ответные дарят слова.

И уста наших слов — как устья
Двух державных и смежных рек, —
Это Польша чаруется Русью,
Это Русь встала с Польшей навек!

Беломостье нам платом машет,
Белым платом, омытым в крови,
Истомился по нас Томашев,
Ждет Любашев нашей любви.

Нам идти по путям подзвездным,
Чтобы плечи Плоцк распрямил,
Чтоб познала свободу Познань,
Чтоб Поморье узнало мир.

Если с небом не будет слада
И земля нас начнет хулить,
Людам слово замолвит Млава,
Модлин небо будет молить.

То не слово врывается в слово:
От Урала и до Балкан
Крепнет братство, грозное снова,
Многославное братство славян.

И сольется с новою преданье,
Раз в единый и кровный ряд
Встали Люблин рядом с Любанью,
Рядом с Белгородом — Белград!

Пусть в словах не видать ни зги...
Если жестью зовется речь,
Нам не жить, а друг друга жесть.
Жги!

В ненадежных стенах живу!
Если жестью зовется речь,
Мне ни стен, ни себя не сберечь,
Жарким сном изойти наяву.

Пусть не стены кругом, но моря!
Если жестью зовется речь,
Кораблем на ветру мне гореть,
Поджигательница моя!

Снова кличет в поход Россия,
И челом я хозяйке бью. . .
«Если дочь родится, — спросила, —
Как назвать мне царевну свою?»

Как назвать? Но ведь дочь не подвластна
Власти воинского ремесла.
Или Вандой зови, или Властой,
Лишь бы ладною панной росла.

Если ж сын — называй Мечиславом,
В честь меча его наречем.
Быть на Одре славянским заставам,
Воевать им славу мечом!

Двух морей сливается ропот,
На единый строится лад. . .
Слышишь, листья летят в листопад,
Листопадом по ветру звенят.

Не дружить с долей печальной
И не черной темнеть тоской,
Но тенскнотой томиться чарной
Очарованному тобой.

Не горячими, так горячими,
Но словами вспомню любви
То ли руки твои, то ли рученьки,
То ли белые рончки твои. . .

Не ласкать мне их спозаранку
И ночами не целовать. . .
Нет, не песни себе, славянка, —
Буду чести в бою искать!

Там, где Одра шумит и Лаба,
На залитых кровью мостах,
Всеславянская древняя слава
Всколыхнет наш червлёный стяг.

Как тоскует о нас дорога,
Как зовет нас далекий край! ..
До видzenia, моя дорога,
Недотрога моя, прощай!

1944

74. ПОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО

Где ночами белолицые метели,
Словно девушки, гоняются в горелки,
Где, коня в опор, стрелой лети до цели —
Десять дней скакать до ближней перестрелки,

Где лишь впору медведям одним да рысям
Жить, не ведая ни горя, ни напасти,
Там живу я, ожидая Ваших писем,
Как большого, незаслуженного счастья.

Тишиной повито озеро морозной,
Лишь сохатый над лесными берегами
Промелькнет, перечеркнувши полог звездный
Суковатыми и грубыми рогами.

Лишь, привстав на чешуйчатые колени,
Смотрит с завистью иззябшая русалка,
Как, в тулупы завернувшись, спят тюлени
Возле прорубей лазоревых вповалку.

С Лукоморьем здесь столкнулась Мангазея,
Времена перемешались здесь и сроки,
И, на чуда эти чудные глаза,
Я пишу Вам эти праздничные строки.

Если скажут Вам, что верить не годится
Фронтovým моим конвертам и дорожным,
Что я мастер на цветные небылицы,
Где тревожное скрываю в невозможном,

Ни наветам Вы не верьте, ни печали,
Беспокойству горемычному не верьте...
Пусть и слыхом о покое не слыхали
Те края, где бражит жизнь в гостях у смерти.

Пусть и вправду тяжело сейчас на Висле,
Пусть идти нам ныне снова в штыковую,
Мне спокойней будет на сердце от мысли,
Что тревогой я Вам душу не волную.

31 декабря 1944
Польша

75. ТОСТ ЗА УКРАИНУ

Мы справляли свое новоселье
У седого как лунь валуна,
И луна за плечами висела,
Словно щит половецкий луна.

А над нами — звездная роздымь,
Ковш, наполненный серебром. . .
Негу счета падучим звездам,
Сыплет небо звездным дождем.

Звездопад. . . Вот опять упала,
Протянув серебристую нить. . .
Мы по звездам падучим гадали,
Сколько лет нам на свете жить.

Сколько в ясные души смотреться,
Любоваться светлой землей,
В человечье веровать сердце,
В человеческий ум молодой.

Ковш серебряный — это небо!
Но земной мы верны красоте.
Посмотри — это быль, или небыль,
Или просто полтавская степь?

Ты видал, как светится ночью
Море фосфором голубым,
Так что взгляд оторвать нет мочи? . .
Целый век бы стоял над ним.

Так и степь... От края до края
Под луной — вблизи и вдали —
Лишь мерцает трава голубая,
Голубые шумят ковыли.

Всё мерцаньем тихим объято.
Мой товарищ взглянул и застыл,
Только шепчет: «Коханая маты,
Украина моя, это ты ль?!»

Украина! Твои раздорожья
Мне знакомы, как волжская ширь,
Я прошел сквозь сады Запорожья
В твой зеленый и праздничный мир.

И всё древнее было мне ново,
И всё новое было как встарь...
Табуны по Аскания-Нова
Уносились в закатную гарь.

По полям, по извечным угодыям,
Праздник празднуя в каждом селе,
Изобилье текло половодьем,
Пригибая колосья к земле!

Как вино — не по вкусу и весу,
Но по цвету, по буйству в ночах, —
Молодое бродило железо
В криворожских плавильных печах.

Ну а люди твои, Украина!
Мне пришлось по боям их узнать,
В них с отвагою спаяна львиной
Запорожская давняя стать.

Ходят тени, как исполины,
Ну а мы у ночного костра
Славим имя твое, Украина,
Ненаглядная наша сестра!

1944 или 1945

Я домой притащил волчонка.
Он испуганно в угол взглянул,
Где дружили баян и чечетка
С неушедшими в караул.

Я прикрикнул на них: «Кончайте!»
Накормил, отогрел, уложил
И шинелью чужое несчастье
От счастливых друзей укрыв.

Стал рассказывать глупые сказки,
Сам придумывал их на ходу,
Чтоб хоть раз взглянул без опаски,
Чтоб на миг позабыл беду.

Но не верит словам привета...
Не навечно ли выжгли взгляд
Черный пепел варшавского гетто,
Катакомб сладковатый смрад?

Он узнал, как бессудной ночью
Правит суд немецкий свинец,
Оттого и смотрит по-волчьи
Семилетний этот птенец.

Всё выдавший на белом свете,
Изболевшей склоняюсь душой
Перед вами, еврейские дети,
Искалеченные войной...

Засыпает усталый волчонок,
Под шинелью свернувшись в клубок,
Про котов не дослушав ученых,
Про доверчивый колобок.

Без семьи, без родных, без народа...
Стань же мальчику в черный год
Ближе близких, советская рота,
Вместе с ротой — советский народ!

И сегодня, у стен Пултуска,
Пусть в сердцах сольются навек
Оба слова — еврей и русский —
В слове радостном — человек!

*Январь 1945
Польша*

77. О ГОЛУБОМ ЦВЕТКЕ

Над черным логом белый день
Вставал, и чист и нов.
Он шел из дальних деревень,
Из дальних городов,

Где, не боясь из тьмы невзгод
Тягчайшую принять,
Нас ждут с тобой четвертый год,
Не уставая ждать.

Но я, забыв про тех, кто ждал,
Не помня ни о чем,
Упав в траву, ничком лежал
С раздробленным плечом.

Подпав под смертной боли власть,
Впадая в забытье,
Впервые я посмел проклясть
Земное бытие.

Но тут, тоскуя и скорбя,
Мешая с кровью вздох,
Вблизи себя увидел я
Растоптанный цветок.

По лепесткам и вдоль стебля
Осели гарь и грязь,
И с грязью кровушка моя,
Смешавшись, запеклась.

Но через кровь и через грязь
Простой цветок земной

Невыносимою для глаз
Сиял голубизной.

И, словно вызов и укор
Надломленному мне,
Он цвел и смерти вперекор,
И вперекор войне.

«Так вот оно, — подумал я, —
Земное бытие,
Так вот она, судьба моя,
И торжество мое!»

В нас всех сияет этот свет,
Он ярче света звезд,
Любой из нас сквозь сотни бед
Его в душе пронес.

Его ничем не превозмочь,
Ничем не погасить. . .
Пройдя через такую ночь,
Такую волчью сыть,

Где властно правили душой
Железо и свинец,
Мы не расстались с чистотой
Простых своих сердец.

Земля моя, судьба моя,
Безмерный свете мой,
Живая радость бытия,
Цветок мой голубой!

Пусть я страдаю и скорблю,
Но, слабый человек,
Я жалобой не оскорблю
Свой злой и быстрый век.

Но всем дыханием своим
Я славлю эту жизнь,
Где празднеств шум неразделим
С печальным шумом тризн.

Я славлю путь земной любви,
Сошедшей в черный лог,
Я славлю пеплу и крови
Не сдавшийся цветок!

Январь 1945

78. ВЕЧЕР В ЭЛЬБИНГЕ

Мы подряд пять песен осушили,
И прочел, от песен полупьян,
Старший лейтенант Картвелашвили
Древний стих о верной Дареджан.

Дареджан? Когда бы раньше знать бы,
За нее бы тост поднял я свой.
За твою несыгранную свадьбу
Выпьем, помкомбат по строевой!

Налил коньяку. Давай по третьей!
Предложил трофейные: «Кури!..»
Пьем, Ваню, чтоб пас с победой встретил
Светлый дом на берегу Куры.

В этот дом за вестью мирной следом
Мы придем, отвоевав сполна,
Выроем закопанную дедом
Бочку огнецветного вина.

Сорок лет, густея и крепчая,
Ждет оно не свадебного ль дня?!
С Дареджан тебя я обвенчаю,
С песней повенчаешь ты меня!

И сказал грузин, поднявши руку:
«Славься, виноградная лоза.
Пью твой сок за суженую друга,
За ее крылатые глаза!»

Так всю ночь и пили мы и пели,
Хмель смешал, колдуя, даль и близь,
И к рассвету строки Руставели
С пушкинскими строками слились.

Январь 1945

79. КАНИТАНСКИЙ ТОСТ

Мы по узбекским городам
Навстречу счастью шли,
И встретил нас Шахимардан
Водой из-под земли.

Любимцы северной зимы,
Мы были рады ей.
«Спасибо, — вымолвили мы, —
За холод твой, ручей!

Спасибо, что напомнил нам
Ты взлет родимых вьюг.
Ты здесь, как мы, как Север сам,
Прохладой входишь в Юг!»

Отдав ручью земной поклон,
Чинар прославив тень,
Мы перешли из яви в сон,
В шахимарданский день.

Где каждый нас с порога звал
Перешагнуть порог.
«Смотри, — товарищ мой сказал, —
Как верит нам Восток!

Как верит нам, как верен нам,
Посланцам той страны,
Где люди песням и друзьям
Из века в век верны. . .»

На улице, где жил Хамза,
Куда глаза ни кинь,
Кругом глаза, везде глаза,
Всё кузингдан-акын.¹

Попробуй взглядом заснежи
Горенье черных глаз,
Раз вверх взвивались паранджи,
Глядели все на нас.

¹ Кузингдан-акын — букв.: брат твоих глаз; узбекское ласкательное слово.

И я ловил приветный свет,
Сиянье черных звезд.
Сквозь много лет, сквозь много бед
Я этот свет пронес.

Джан-Фергана! Глаза твои —
Про них мне бредит грусть.
Я, словно песни Навои,
Их помню наизусть.

Джан-Фергана! Высокий свет,
Виденье наяву,
Где белым бивнем минарет
Вонзился в синеву!

Где молодое через край
В кувшинах бьет вино. . .
Цветущий край, пьянящий край,
Серебряное дно!

Где трудолюбьем дышит день,
А ночь не знает зла. . .
Благословенен твой кетмень,
И пиале хвала!

За свет без тьмы, за жизнь без дна,
За память черных звезд
Я поднимаю, Фергана,
Свой капитанский тост!

Январский полдень сер и тускл,
Я третий день в бою.
И, взятый штурмом, пал Пултуск,
И я в Пултуске пью.

Я пью вино чужих дорог
За юг родной страны,
За всё, что я забыть не смог
В четвертый год войны!

Январь 1945

Десятый день, как нет вестей от Вас.
 Вы иногда жестки ко мне без нужды,
 Без повода. . . Наверно, в этот час
 Вы у себя, пришли домой со службы

И, стоя у замерзшего окна,
 Глядите на привычайшее чудо —
 Как за стеклом светлеет вышина
 В цветных огнях московского салюта.

Так Млаву взяли? Вам и невдогад,
 Что это нам Россия дарит славу
 И что я тоже был среди солдат,
 Что в этот вечер штурмом брали Млаву.

Порой в обход, а чаще напролом
 Мы шли вперед, но на плацу широком
 Нас из костела встретили огнем
 Из узких, занесенных снегом окон.

Но я не буду повторяться вновь,
 Про эти схватки Вам читать не внове.
 А мы здесь слишком часто видим кровь,
 Чтоб в письмах говорить еще о крови.

Скажу лишь, что к исходу дня костел
 Был нами взят, и немцы перебиты,
 И я через пролом в стене взошел
 На Ягеллонов помнящие плиты.

И надо мной прозрачный мрак навис,
 А к горлу подступили, как рыданье,
 И муки камня, рвущегося ввысь,
 И статуй безъязыкое страданье.

А дальше, где печаль не улеглась
 И, словно тень, мятется по приделам,
 Увидел я сиянье темных глаз,
 Старинный лик в окладе потускнелом.

Но, словно перед смертной крутизной,
 Я вдруг остановился, обессилев. . .

Черты живые женщины земной
Сквозь древний облик властно проступили.

И жаркий рот, и глазыньки вразмет,
И белы руки, рученьки родные...
Нахлынуло. Как на душе метет!
Как мир велик! Как далека Россия!

Февраль 1945

81. ПИСЬМО ИЗ МАРИЕНБУРГА

Тугая разметалася коса,
А на щеках сгорают снега хлопья.
Бежит стремглав курносая краса,
Лишь каблуки выстукивают дробью.

Буран метет, слепит глаза буран,
Но ей бежать впотьмах до самой Волги,
Где ждет ее безусый капитан
В надвинутой на брови треуголке.

Он ей навстречу плащ свой распахнет
И, в первый раз обнявши недотрогу,
Лишь вымолвит: «Не час я ждал, а год,
Но Вы пришли, благодаренье богу.

Как удалось отца Вам обмануть?
Как счастлив я! Но надо ждать погони...»
Ямщик готов. И вот уж в дальний путь
Упряжку мчат заждавшиеся кони.

А девушка сидит едва жива,
И лишь порой на срывах и откосах
Мелькает озорная татарва
В ее глазах, по-волжскому раскосых...

А сани к церкви... В двери кулаком!
И, на ноги поднявши спозаранку
Весь причт, перед испуганным попом
Встать под венец с прекрасною беглянкой.

На полуслове оборву рассказ,
Махнем рукой романтике старинной. . .
С чего я вдруг узнал себя и Вас
В любовниках времен Екатерины?

С чего б я это? Но, мой милый друг,
Неужто Вы заметить не сумели,
Что мне осточертел Мариенбург,
Где я торчу четвертую неделю?

Здесь всюду притаилась старина,
Угрюмая, давящая, чужая,
Она томит, грозит бедой она,
Враждебным строем душу окружая.

И вот я вызвал полночь и мороз,
Вам на ноги накинул волчью бурку
И запросто Вас под венец увез
Назло и вопрекор Мариенбургу.

*Февраль 1945
Мариенбург*

82. СОЛДАТЫ СВОБОДЫ

Полощут небывалые ветра
Наш гордый флаг над старым магистратом.
И город взят. И отдыхать пора,
Раз замолчать приказано гранатам.

А жителей как вымела метла,
В безлюдном затеряешься просторе. . .
Как вдруг наперерез из-за угла
Метнулось чье-то платишко простое.

Под ситцевым изодранным платком
Иззябнувшие вздрагивают плечи. . .
По мартовскому снегу босиком
Ко мне бежала девушка навстречу.

И, прежде чем я понял что-нибудь,
Меня заполонили гнев и жалость,

Когда, с разбегу бросившись на грудь,
Она ко мне, несчастная, прижалась.

Какая боль на дне бессонных глаз,
Какую сердце вынесло невзгону...
Так вот кого от гибели я спас!
Так вот кому я возвратил свободу!

Далекие и грустные края,
Свободы незатоптанные тропы...
— Как звать тебя, печальница моя?
— Европа!

*Март 1945
Германия*

83

Где сердца единого сплава,
Там слова созвучны словам:
Скажут — Славия, слышим — слава,
Скажут — слава, вспомним — славян.

Нет, не розни мы приняли имя,
Не сгубили душу свою —
Стали братьями побратимы,
Побратавшиеся в бою!

И светлее на сердце и горше, —
Оглянусь на цветное крыльцо:
Не твое ли, красавица Польша,
Просияло сквозь слезы лицо?!

Чьими вновь ожила ты вестями,
Что, коханая, видишь вдали?
Это наши червлёные стяги
Через Вислу-реку перешли!

Но уж сердце иному подвластно,
И иные я вижу края:
— Здравствуй, Чехия! Здравствуй, Власта,
Незабывная юность моя!

То не новый раскинули табор
Табориты у пражских ворот —
Это слово повстанческих штабов
Кличет чехов в последний поход.

Морем гнева поднялись моравы,
Дети Детвы встают на месть
За Словакии давнюю славу
И за Чехии древнюю честь!

Но иное в память стучится,
И уж очи смотрят на юг,
Где легендой бушует Кульчицкий,
Мой без вести пропавший друг.

Над Дунаем кровавые зори...
И не он ли сзывает на бой —
Мстить за Сербии черное горе,
Черногории лютую боль?!

Слышу голос народного веча;
Вечным светом речи горят —
Это вольных юнаков навечно
Принял в старые стены Белград.

И опять свой родимый и родный,
Свой солдатский я вижу стан,
Снова в строй становлюсь походный,
Русских войск строевой капитан.

Что за песни звенят над полками?!
И любовь в этих песнях и грусть...
Ветром песен колышется знамя,
На котором начертано: «Русь!»

Так вперед, побратимы и други,
Нас на подвиг благословят
Белоруссии белые руки,
Украины найкращий взгляд.

И, в края посылая чужие,
За рубеж проводив сыновей,
Нас великая мать Россия
Охранит любовью своей!

*Март 1945
На Висле*

84. ПОБЕДА!

Так вот он — победы торжественный час,
Конец положивший огненным бурям,
Ради которого каждый из нас
Грудь открывал осколкам и пулям.

Каждый сегодня, как с братом брат,
Светлей и сердечней час от часа,
И плачет от счастья старый солдат,
Который в жизни не плакал ни разу.

На улице города — праздничный стан.
Узнав о счастливой вести мгновенно,
Целуются люди всех наций и стран,
Освобожденные нами из плена.

Такого еще не бывало встарь —
Пусть радость повсюду гремит не смолкая:
Праздником мира войдет в календарь
Праздник Победы — Девятое мая!

*9 мая 1945
Германия, Грейфсвальд*

85. НА ЭЛЬБЕ

Город взят. И, лицом к закату,
Черным солнцем обожжены,
Свесив ноги, сидят солдаты
Меж зубцов крепостной стены.

Самокрутки тугие курят,
В прибаутках ходят с туза,
На багровое зарево щурят
Неулыбчивые глаза.

И слова позабытой славы
По-домашнему ставят в ряд,
Дарят Эльбу именем Лабы,
Мекленбург в Младобор крестят.

Там, где древних славянских родин
Неумная ширилась речь,
Мы клянемся новой свободе
На полях прадедовских сеч!

*Май 1945
Германия*

86. СВАДЬБА

Нету края песенному чаду!
Давнему обычаю в черед,
Молодых встречали поначалу
Величальной песней у ворот.

А потом на всю страну Россию
На́голос, взаплачь, наперерыв,
Вперебив соседки голосили,
По зазнобе душу иззнобив.

Ходуном над скатертью камчатной
С полной мерой горького вина
Над столом сходились чарка с чаркой,
Чтоб гостили гости допьяна.

И свои с чужими воедино
Пестротой пошли в глазах кружить...
Мы одни с тобой сидели чинно
И ума не смели приложить,

Как расчесться с праздничной и гордой,
Что нам делать с нашей красотой!..
Но полсвета крикнули нам: «Горько!» --
И весь свет забыли мы с тобой.

Удержу не зная, без помехи,
Песни поднялись над головой,
И тогда... Но не было вовеки
Этой свадьбы, выдуманной мной!

Я еще и прозвища не знаю,
Имени еще не узнаю
Той, о ком стихи сейчас слагаю
И люблю, как молодость свою!

*Июнь 1945
Германия*

87. НА ПУТИ

Как смелы здесь паненки и бойки,
Смирный нрав, знать, у них не в чести.
Нынче снова шумливые польки
Не дают мне до дому пройти:

— Ты далекие видывал страны,
Так по-честному нам Расскажи,
Хороши ли московские панны,
Так ли мы, как они, хороши?

Так ли мы, как они, белолицы,
Чернобровы, стройны, веселы? ..
Расскажи, чтобы нам подивиться
И вовек не бояться хулы.

Я расхваливать их не стану,
Слишком беден мой грешный язык.
Ни лицом, ни устами, ни станом
Вы не хуже, коханные, их.

Но красавиц на свете немало,
Много ль чести стоять в их числе,
А таких, как они, не бывало
И не будет на светлой земле.

Ведь и вы — из громадьства чужого —
Не ответите ль мне, не греша,
Вы слышали хорошее слово,
Россиянское слово — душа?

1945

88. ПРАЗДНИК В ЦЕХАНОВЕ

Я вошел в Цеханов утром,
В час, когда над ним свобода
Снова крылья распростерла,
Крылья светлые свои.

На востоке встало солнце,
И лучи его восхода
Стали первыми лучами
Счастья, дружбы и любви.

И над каждым встречным домом,
Над венцами древних башен,
Как над каждым честным сердцем
Этой горестной страны,
Кровью, пролитой по снегу,
Кровью польской, кровью нашей
Флаги Речи Посполитой
Бело-красные цвели.

Рядом с ними развевались
Наши праздничные флаги,
Флаги чести и свободы,
Флаги праведной войны,
И дома от них хмелели,
Как на празднестве от браги,
Как при встрече с давним другом
Из далекой стороны.

По цветастой этой выюге
Среди плещущих полотнищ
Я прошел, как именинник,
Как виновник торжества,
Принимая поздравленья
Площадей, домов и сходбищ,
Щедрой горстью возвращая
Им приветные слова.

На скрещенье узких улиц —
Маршалковской с Кастелянной,
Я увидел дом из камня
Прочной кладки давних дней.
Здесь меня судьба настигла,
Повстречав глазами с панной,
Что стояла недвижимо
У резных его дверей.

Если б с звездами сравнил я
Ослепительные очи

И посмел сравнить со снегом
Белизну ее лица,
Звезды крикнули б «спасибо»,
Рассиявшись среди ночи,
И растаял снег от счастья
У январского крыльца.

Словно вышла мне навстречу
Молодая королева
Из крылатого сказанья
Незапамятных времен,
Ведь недаром на сугробе,
Сбитый с древка силой гневной,
Распластался флаг враждебный,
Как порубленный дракон.

Я стоял, застыв в молчанье,
Красотой смущен жестокой.
Как неожиданно и внезапно,
Удивив сверх всяких мер,
Вдруг сказала королева,
Мне отдав поклон глубокий:
«Пробшу вас зайти до дому,
Незнакомый офицер!»

Сердца стук смирив, сказал я,
Что она меня обяжет,
Объяснив, чем заслужил я
Приглашенье в этот дом.
Но ответила мне панна:
«Вам отец об этом скажет,
Это он вас приглашает,
Он и скажет обо всем».

И по знаку незнакомки
Я поднялся по ступеням
И вошел за нею следом
В распахнувшуюся дверь,
Снова случаю подвластный,
Околдованный мгновеньем,
Позабывший почерк горя
И язык своих потерь.

Седогривый и костлявый,
Схожий с яростною птицей,
Схожий с оржею старинным
Ягеллоновских монет,
За столом, накрытым щедро,
Среди убранной светлицы
Восседал хозяин дома —
Ойтц шестидесяти лет.

Он поднялся мне навстречу,
Заключил меня в объятья,
Исколот меня усами,
Руку сжал в своей руке,
И по хватке по медвежьей,
По хрустящему пожатью
Я тогда узнал, что сила
Не ослабла в старике. . .

«Если пан в распоряженье
Полчаса имеет праздных,
Перед тем как подниму я
Чарку первую свою,
Я хочу ему поведать,
Почему здесь нынче праздник
И за что я вместе с другом
Эту чарку разопью.

Коли спросите в округе,
Кто, ни в грош не ставя разум,
Как хмельную свадьбу, прожил
Долгий свой и грешный век,
Все друзья мои ответят,
Весь Цеханов скажет разом:
«Это, верно, Ян Поплавский,
Беспокойный человек».

Но при всех своих безумствах
Сына вырастил и дочку.
Сын давно пошел в казарму —
На семнадцатом году.
Ну а дочка помогла мне
Закопать большую бочку,
Всем друзьям моим в подарок,
В небольшом моем саду.

А вино в зарытой бочке,
К нашей гордости и чести,
Было тем вином бесценным,
Что в начале всех начал
В чарках искрилось у деда
В час, когда на этом месте
Он своих друзей заветных
Привечал и угощал.

Мы всегда его пивали
Лишь на свадьбах да крестинах.
И когда враги ворвались
В древний наш и славный край,
Я сказал своим соседям —
Детям, женщинам, мужчинам:
«Всё, что дедами добыто,
Сохраняй и охраняй!»

Нет, ни я и ни соседи
Не смогли бы это сделать,
Если б нам не помогала
Наша польская земля,
Если к нам бы на подмогу
Россиян не встала смелость,
Не пришли бы к нам на помощь
Ваши доли и поля.

В этой здравице застольной,
В смысл ее любого слова
Всё, чем близки мы с Россией,
Навсегда заключено,
Вас приветствует сегодня,
Из земли воспрянув снова,
Дружбы Польши и России
Многодавнее вино.

Дочка вышла вам навстречу
В переулок этот узкий,
У резных дверей стояла,
Волю выполнив мою,
Потому что приказал я:
„Кто бы ни был первый русский,
С ним вино любви и братства
Я тотчас же разопью“».

Седогривый и костлявый,
Он поднялся над светлицей:
«Так за Польшу и Россию
Я поднимаю этот тост! . . .»
... И подняла королева
Вверх тяжелые ресницы.
Черным жемчугом сияло
Отраженье вышних звезд.

Так меня Цеханов встретил
В день, когда над ним свобода
Снова крылья распростерла,
Крылья светлые свои.
На востоке встало солнце,
И лучи его восхода
Стали первыми лучами
Счастья, дружбы и любви!

1945

89. КУЛЬМСКИЙ СКРИПАЧ

Мастер ударил смычком —
И монастырские стены,
Кульмские старые стены,
Башни склонили ниц.
Мастер ударил смычком —
И посеревший месяц
Шаром скатился с неба
И к раме лицо прибил;
Камни с утесов срывались;
Птицы взмывали в воздух;
Из вековой чащобы
Осторожные звери брели;
Из рек, из озер глубоких,
Жертвуя долгой жизнью,
Молчаливые, умные рыбы
Выбрасывались на песок.
Мастер отбросил скрипку,
Но скрипка, кинувшись на пол,
Начала биться в падучей,
Захлебываясь и мыча,

А струны, срываясь с грифа,
Свивались в клубок певучий,
По стенам катились, по полу,
В оконные стекла рвались...
Мастер взглянул на скрипку
И с поклоном спросил капитана,
Заслужит ли одобренье
Он скромным искусством своим?
И капитан ответил:
«Вы первый скрипач по силе
Из тех, что мои солдаты
От немцев в Польше спасли».

1945
Кульм

90. ДОРОГА В ТЧЕВ

Я сегодня расскажу вам про дорогу в Тчев,
Как на пыльном перекрестке битых три часа
Я стоял, ошеломленный, вовсе проглядев
Всё выдавшие на свете синие глаза.

Вел колонну итальянцев однорукий серб,
Под норвежским флагом фура проплелась, пыля,
И мне честь, шагая мимо, отдал офицер
В непривычном мне мундире службы короля.

Шли цивилильные поляки — пестрая толпа!
Шел француз под руку с чешкой — пара на большой!
Их вчера столкнула вместе общая тропа,
Завтра снова их наделит разную судьбой.

Шел старик в опорках рваных, сгорблен, сед и хром,
С рюкзаком полуистлевшим на худой спине.
«Где батрачил ты — спросил я. — Где свой ищешь
дом?»

— «Я профессор из Гааги», — он ответил мне.

Шла девчонка. Платье — в клочья, косы — как
кудель...
— Вот, — подумал я, — красotka с городского дна.
«Как вы хлеб свой добывали, о мадмуазель?» —
И актрисой из Брюсселя назвалась она.

Шел в диковинных отрепьях, сношенных вконец,
Черномазенький мальчишка, — что за странный
взгляд?

«Где ж ты родичей оставил, Расскажи, малец?»
— «Их повесили в Софии год тому назад».

Так и шли людские толпы. Что там толпы — тьмы! —
Всех языков и паречий, всех земных племен.
В эти дни земле свободу возвращали мы,
В эти дни был сломлен нами новый Вавилон.

1945
Тчев

91. ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОСТ

Под свет ракет идя вперед
У смерти на виду,
В бою встречал я Новый год
В сорок втором году.

Под стать крепчайшему вину
Крепчал ночной мороз,
И я впервые за войну
Поднял солдатский тост.

— Пусть век живет моя страна,
Пусть сгинет враг без следу,
За свет без тьмы, за жизнь без дна,
За полную победу!

От боя к бою жизнь моя
Текла с удачей в ряд,
И сорок третий встретил я
В бою за Ленинград.

Держал за глотку голод нас,
Но свет кремлевских звезд
Был с нами в этот черный час,
И светел был мой тост.

— Пусть век живет моя страна,
Пусть сгинет враг без следу,
За свет без тьмы, за жизнь без дна,
За полную победу!

В краю родном, в кругу родном,
У Пулковских ворот
Я встретил в клубе полковом
Сорок четвертый год.

Но был, как прежде, близок враг,
И был, как прежде, прост
Уже испытанный в боях
Мой новогодний тост.

— Пусть век живет моя страна,
Пусть сгинет враг без следу,
За свет без тьмы, за жизнь без дна,
За полную победу!

Ломали мы за валом вал,
Бежали вспять враги,
И сорок пятый я встречал
У Нарева-реки.

Была уж близкой наша цель,
До Пруссии — сто верст.
И поднял я веселый хмель
Под свой привычный тост.

— Пусть век живет моя страна,
Пусть сгинет враг без следу,
За свет без тьмы, за жизнь без дна,
За полную победу!

1945

92. СКАЗКА

Туча низко над бором нависла,
На ветру разметалась волглом...
Не цвеченое коромысло —
Радуга черпала Волхов.

Но едва я посмел удивиться,
Как, с заречной поднявшись нивы,

Вечер взмыл синекрылой птицей,
Семицветное застив диво.

Вслед за ним, как за вещим словом,
Я пошел через темь перелесиц,
Где, запутавшись в чаще сосновой,
Криворогий качался месяц.

Где звенели голосом девьим
Дивьи сказки и поговорки
И царевич к дальним кочевьям
Вез беглянку на сером волке.

Но забредили очи кровом,
И раздвинул я частые ветви,
И застыл, навек очарован,
Увидав на чистом рассвете,

Как в одежде из сказок древних,
С лаской светлой во взгляде синем
Над лесной склонилась деревней
Матерь песен моих — Россия.

1945

93. СЕВЕРНЫЕ ЯРОСЛАВНЫ

Я северных не славил Ярославен,
И где тот слог, чтоб рассказать о них? ..
Но найден слог! Торжественен и плавлен
Старинный наш, высокий наш язык!

Все честные слова его уместны —
Горят, как самоцветы на свету! —
Родные наши сестры и невесты,
Чтобы восславить вашу красоту!

Нет, не ресницы славлю я, но вежды,
Не взгляд, но взор сестры своей Надежды
И светлыми словами неустанно
Уста и очи славлю у Светланы.

Ланитами я щеки назову,
Румянец Веры вспомнив наяву,
И называю пальцы я перстами,
Над пальцами увидев руки Тани.

Я славлю лебединые походки,
Былинный росчерк ваших губ и глаз,
Я славлю вас, архангелогородки,
И русский Север, пестовавший вас!

*Февраль 1946
Архангельск*

94

Не устоишь! Сшибает наземь вихрь,
Снег бьет в лицо, и небо помутнело...
Да это уж не ручек ли твоих,
Любимая, погибельное дело?!

Ведь это ты накликала метель,
Чтоб закружить меня, чтоб обезножить
И, бросив в ночь, ничком под эту ель,
Уж никогда солдата не тревожить.

Сто тысяч призраков взвились вокруг,
В снегу летучем плещут и роятся...
Так вот он, заколдованный мой круг,
Радоваться или бояться?

Безмерный круг несовершенных дел,
Создания, не знавшие рожденья,
Здесь всё, что я посмел и не сумел,
Желанья, замыслы и намеренья...

Как много их!.. Всё ближе кольца вьют,
Клянут, грозят и требуют к ответу.
И — не уйти... Так пусть свершают суд
По твоему, любимая, навету.

Ведь это ты накликала метель,
Ведь это ты их вызвала сегодня...

И ночь не в ночь, и ель уже не ель,
Но белый столб над белой преисподней.

Да, это ты накликала метель!
Но хватит. . . Ведь за этой канителью
Я позабыл, что на дворе апрель,
Умытый и ручьями и капелью.

Что здесь и дня без солнца не живут,
Что снега здесь не помнит черепица
И уж давно на крышах гнезда выют
Похожие на наших цапель птицы.

Вы скажете, что я сошел с ума,
Вас оглушив набором слов гремящих.
Но, право б, я не написал письма,
Не заклеил бы и не бросил в ящик,

Когда б трава не искрилась в росе,
Когда б в себя не верил я на деле,
Когда бы я умел любить, как все,
Когда б сейчас не первое апреля.

Март 1946

95. ДРУЗЬЯ

Когда давно в казарме спят,
И всюду тишь да гладь,
И уж никто меня в штадив
Не вздумает позвать,
Я вынимаю из стола
Тяжелую тетрадь.

В ней всё, чем в детстве бредил я
Ночами невпробуд,
В ней лучшая из всех моих
Немыслимых причуд:
В ней марки всех времен и стран
Радугой цветут.

Вот эта, с белою каймой,
Не марка — клад!

Как четко вычерчен на ней
Данцигский сенат, —
Его я с ротой брал своей,
И штурмом был он взят.

Венгерской марки темный цвет —
Цвет далеких глаз,
Я черноглазую одну
От немцев в Пеште спас.
Едва ль не Венгрией самой
Она мне назвалась.

И сколько марок, столько вех,
Попробуй позабудь!
Их никому не очернить,
Ничем не зачеркнуть.
Стоцветной лентой по листам
Тянется мой путь!

На марке город Бухарест
Большим горит пятном.
Он, к сожалению, лежал
Не на пути моем,
Зато мой друг, майор Попов, —
Помкоменданта в нем.

И английская тоже здесь...
Газеты говорят,
Что в Лондоне идет конгресс,
А там как делегат
Платон Никитич Воронько,
Названный мой брат.

Мелькают марки ста земель,
Что мы спасли от бед.
Я все края твои узнал,
Бескрайний белый свет!
Везде сейчас мои друзья,
И — удержу им нет!

Апрель 1946

Пройди по Кузнечихе в воскресенье,
По шумной, по веселой, по хмельной,
Где, словно трав весеннее цветенье,
Платки девчат горят над мостовой,

Где золотые с черным ленты плещут
Меж синих и малиновых погон,
Где ветер платья, словно карты, мечет,
Полста оттенков выкинув на кон.

Здесь в этот день веселье не в находку,
В бараках, прикорнувших у реки,
Отменную матросскую чечетку
Лихие выбивают каблуки.

И чуть ли не у каждого порога
Заливистые плачутся меха
Про море, что раскинулось широко,
Про гибельную участь Ермака.

Но близко полночь. И опять всё тихо,
На белом небе свет белесых звезд.
Я б хорошо зажил на Кузнечихе,
Когда б не помнил про Кузнецкий мост...

*Май 1946
Архангельск*

97. ПЕХОТИНЕЦ В СОЛОМБАЛЕ

Невысокий и угловатый
В гимнастерке с планкой цветной,
Он по пыльной идет и щербатой
По соломбальской мостовой.

Деревянные стонут панели,
Небо пасмурное в облаках...
Но в глаза б вы его поглядели, —
Сколько счастья в его глазах!

Он бы мог припомнить иные,
Разлинованные, как тетрадь,

Наутюженные мостовые,
Только что их ему вспоминать!

Он и в Вене бывал и в Берлине,
Но лишь здесь с ним рассталась грусть...
Кто, как он, тосковал на чужбине,
Всюду счастлив с тобою, Русь!

*Май 1946
Архангельск*

98. РОССИЯ

Россия! Зачарован этим словом,
Я в сердце сохранял его своим.
В нем посвист стрел над полем Куликовым,
В нем стук мечей на озере Чудском.

В нем издавна мечта по дружбе братской,
По правде человеческой растет...
Лейб-гвардия бунтует на Сенатской,
И не страшит крамолу эшафот.

И ширятся и вырастают песни,
Крылами опаленными шумят,
Встают над мостовыми Красной Пресни,
Над первой славой первых баррикад...

Я помню всё! И я горжусь по праву,
Горжусь тобой, моя родная Русь...
Но отчего ж твою былую славу
Безмерная пронизывает грусть?!

Да оттого, что мой народ могучий
В тенетах бед, в тисках невзгод и зол
Томился, ждал и рвался к доле лучшей
Из века в век, как скованный орел.

И как орел стремится полет в просторы,
Так и народ мой вышел к Октябрю,
Когда безвестный канонир «Авроры»
Для всей планеты возвестил зарю.

Прошли года. И ты, моя Россия,
В такой сейчас поднялась красоте,
Что рад я повторить слова простые:
«И ты не та, и мы уже не те!»

Высокий свет грядущих поколений
Пройдя и побеждая смерть и тлен,
Своих врагов поставив на колени,
Не ты ль полмира подняла с колен!

Август 1946

99. МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ

Наш стаж еще не вымерен годами,
Пять лет от силы — вот он, кровный, наш!
Но он шагал такими большаками,
Где день за год засчитывался в стаж.

Нам партия дала свои начала
И вехи, по которым нас вела,
Рукой отдела кадров записала
Навечно в наши личные дела.

Не раз мы были пулями отпеты,
Но, исходив все смертные пути,
Мы с семизначной цифрой партбилеты
Сквозь семь смертей сумели пронести.

И правильность законов диамата
Проверили с гранатами в руках
На улицах Орла и Сталинграда,
На венских и берлинских площадях.

Чужую старь сличая с нашей новью,
Мы, повидав полдюжины столиц,
Узнали цену каждому присловью
Изрядно обветшавших заграниц.

Испытанные партией на деле,
Мы с ней пришли к черте большого дня,
Когда нам приказали снять шинели,
Не оставляя линии огня!

Но как на фронте, заново и снова,
Мы веруем в свой путь через века,
Как веруем мы в ленинское слово
И в наш ЦК!

Сентябрь 1946

100. В ГРОЗУ

Мы шли с охоты. Яростный и резкий,
Октябрьский дождь нам заслепил глаза,
Во мхах болотных возле Белозерской
Застала нас осенняя гроза.

И мне сказал товарищ по охоте:
«Припоминаешь сорок третий год,
Как вместе бедовали мы в пехоте
В болотах у Синявинских высот?»

Он говорил. И вспомнил я, как с бою
Мы метр за метром брали в те года...
Единою солдатскою судьбою
Нас фронт и жизнь спаяли навсегда.

Перед глазами из далекой дали
Вставала фронтовая маета...
Мы оглянулись и с трудом узнали
Знакомые и мирные места.

Передним краем показались нивы,
Почудились окопы за бугром,
И молния была как блеск разрыва,
И канонадой обернулся гром.

Октябрь 1946

101. КОСТЕР

Прошло с тех пор немало дней,
С тех стародавних пор,
Когда мы встретились с тобой
Вблизи Саксонских гор,

Когда над Эльбой полыхал
Солдатский наш костер.

Хватало хвороста в ту ночь,
Сухой травы и дров,
Дрова мы вместе разожгли,
Солдаты двух полков,
Полков разноименных стран
И разных языков.

Неплохо было нам с тобой
Встречать тогда рассвет
И рассуждать под треск ветвей,
Что мы на сотни лет,
На сотни лет весь белый свет
Избавили от бед.

И наш костер светил в ночи
Светлей ночных светил,
Со всех пяти материков
Он людям виден был,
Его и дождь тогда не брал,
И ветер не гасил.

И тьма ночная, отступив,
Не смела спорить с ним,
И верил я, и верил ты,
Что он неугасим,
И это было, Джонни Смит,
Понятно нам двоим.

Но вот через столбцы газет
Косая тень скользит,
И снова застит белый свет,
И свету тьмой грозит.
Я рассекаю эту тень:
Где ты, Джонни Смит?!

В уэльской шахте ли гремит
Гром твоей кирки
Иль слышит сонный Бирмингам
Глухие каблуки,
Когда ты ночью без жилья
Бродишь вдоль реки?

Но уж в одном ручаюсь я,
Ручаюсь головой,
Что ни в одной из двух палат
Не слышен голос твой
И что в Париж тебя министр
Не захватил с собой.

Но я спрошу тебя в упор:
Как можешь ты молчать,
Как можешь верить в тишь, да гладь,
Да божью благодать,
Когда грозятся наш костер
Смести и растоптать?

Костер, что никогда не гас
В сердцах простых людей,
Не погасить, не разметать
Штыками патрулей,
С полос подкупленных газет,
С парламентских скамей.

Мы скажем это, Джонни Смит,
Товарищ давний мой,
От имени простых людей,
Большой семьи земной,
Всем тем, кто смеет нам грозить
Войной!

Мы скажем это, чтоб умолк
Вой продажных свор,
Чтоб ярче, чем в далекий день
Вблизи Саксонских гор,
Над целым миром полыхал
Бессмертный наш костер!

*Октябрь (?) 1946
Москва*

В траншеях боевого охраненья
Читал я однокашникам стихи,
Что были, без сравненья и сомненья,
Строка к строке привычны и плохи.

В них было всё: тоска по белолицей,
Любовь и кровь, разрыв — и трын-трава, —
Но нам тогда высокой небылицей
Казались полустертые слова.

Да не слова... Во всем стихотворенье
Такой светил неотраженный свет,
Такое беспокойство и горенье,
Что им слова не поспевали вслед.

И вдаль любая малость разрасталась,
И становилось сердцу невтерпеж.
Но тут же нам обида усмехалась:
«В атаку со стихами не пойдешь!»

Но дни прошли... И нам в глаза взглянули
Другие, непохожие стихи,
Я с ними в рост водил солдат на пули,
В штыки вставал на встречные штыки.

Но не было в них, праведных и строгих,
Той неумной, светлой, ветровой
Тревоги той, что в неумелых строках
Владычила над каждою строкой,

Мне век искать слова огня и стали,
Чтоб, накаляя души добела,
Они людей в сраженья поднимали —
Свершать несовершенные дела.

Слова — чтоб, как бинты на свежих ранах —
«Любовь и кровь», — они цвели б в крови,
Чтобы на всех земных меридианах
По ним учились азбуке любви.

Поэзия! Когда б на свете белом
Я так бы бредил женщиной земной...
Как беспредельность связана с пределом,
Так ты, наверно, связана со мной!

1946
Москва

103. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Нет, я уже не в силах Вас корить,
Я знаю, Вы рассудку неподсудны,
Но как мне быть, раз не порвалась нить,
Раз до сих пор влюблен я непробудно?

Я наконец сумел себя унять,
Поняв, что мне судьба Вас не уступит
И что нельзя возлюбленной пенять
За то лишь, что она тебя не любит.

Так с давних лет ведется на Руси,
И помню я печаль седых сказаний,
В которых «за шеломенем еси»
Наш край родной, наш свете несказанный,

Вы для меня неугасимый свет,
Тот край родной, что только небу равен,
Тот самоцвет, который сотни лет
Сверкал в слезах у наших Ярославен.

Я не могу ни в чем Вас осудить,
И вы давным-давно мне не подсудны,
Но как мне быть, раз не порвалась нить,
Раз до сих пор влюблен в Вас непробудно?

1946

104. ПЛОТНИК

Шесть лет войны запомнил шар земной!
И в светлом, легендарном сорок пятом
Через порог шагает вестовой,
Навытяжку встает перед комбатом.

И говорит: «Солдаты привели
Прохвоста из державы чужедальной,
Сам черт не разберет, какой земли,
Но уверяет, сволочь, что нейтральной...»

«А что он сделал? — спрашиваю я. —
Убийца? За добром чужим охотник?»

— «Да здесь, комбат, особая статья,
История особая... Он — плотник».

И вот стоит перед моим столом
Широкоплечий и широколапый,
Тяжелый парень в пиджаке простом,
Стоит и мнет потрепанную шляпу.

«Так, значит, был не прав мой вестовой?
Задерживать вас не было причины?»
— «Да, сударь. Я простой мастеровой,
Я не казнил, я делал гильотины.

Я даже и на казнях не бывал,
Лишь день за днем, с утра до поздней ночи,
Строгал, пилил да гвозди забивал...
Рабочий я».

— «Ты раб, а не рабочий.

Ты в холуях ходил у палача!»
И, не сумев и не посмев сдержаться,
Я в морду залепил ему сплеча
От имени Объединенных Наций.

Потом его прогнал я со двора
И вычеркнул из памяти приметы,
Пока он сам ко мне позавчера
Не постучался со страниц газеты.

Десяток строк о казни партизан...
Так, значит, снова с палачами мира
Мой плотник на виду полсотни стран
Казнит свободу в деревнях Эпира?

И со стыдом и болью я сейчас —
Не прикасаться б к наболевшим ранам,
Не думать бы! — но думаю о вас,
Товарищи мои за океаном.

Как можете вы спать среди ночей
Под тенью многозвезднейшего флага,
Кующие оружие палачей
Рабочие Детройта и Чикаго?

Не для того я поднял голос свой,
Чтоб оскорбить вас яростью сравненья. .
Но вырвите ж из рук семьи земной
Вы самую возможность обвиненья!

А сам я для того лишь и живу,
Чтоб честным людям даже в снах бесплотных
Не появлялся мой проклятый плотник,
Которого я видел наяву!

Декабрь 1946

105. МОЛОДЕЖЬ

Я верю только той из двух систем,
С которой я, как капля с морем, слился,
Когда в райкоме ВЛКСМ
Впервые с коммунизмом породнился.

Соединил цемент устава нас,
Программа укрепила в новой вере,
И, выполняя партии приказ,
Мы раскрывали в будущее двери.

Нас партия направила в бои,
Дала неиссякаемые силы,
В сердца вложила помыслы свои,
К воинствующей мысли приучила.

К той ясной мысли, что был трижды прав
Наш век, сказав устами человека,
Что лишь в коммунистическую явь
Ведут и приведут дороги века.

Последний бастион еще не взят,
Но, требуя последнего расчета,
Народы мира яростно стучат
В капитализма ветхие ворота.

Страны и всей планеты новосел,
Неистовый в мечте и дерзновенье,
На партию равняйся, комсомол,
И вместе с ней выигрывай сраженья!

(1947)

Вглядись — и расстоянья сблизь,
 Примету подбери к примете;
 Не отрывая глаз, взглядишь
 В тревожный, вьюжный сорок третий.

И вновь на невском берегу
 Мы на снегу лежим с отрядом,
 На кровью крашенном снегу
 Мы мерзнем рядом, целим рядом.

Мы целим в редкие кусты,
 Откуда немцы ротой кроют,
 А нас вокруг — лишь я, да ты,
 Да десять, что двух сотен стоят.

Как мал и как велик отряд! . .
 Вглядись в того, что первый с края,
 И обернется маскхалат
 Косматой буркою Чапая.

На солнце выцветшей до швов,
 Простой корчагинской кожанкой. . .
 Ты слышишь свист — не свист снегов,
 Но свист буденновской тачанки,

Но яростный и озорной,
 С которым в девятьсот двадцатом
 Случалось подниматься в бой
 Простым и правильным ребятам.

Да снег ли это? Как пески,
 Весь снег дотла сожгли стожары,
 Вглядись — и опалит виски
 Тебе жарой Гвадалахары.

Жарой непозабываемых стран. . .
 И Лукач руководит боем,
 И заново «No pasaran!»,¹
 И если умирать, так стоя!

¹ Не пройдут! (Исп.). — Ред.

Как мал и как велик отряд! . .
Взгляни — за этим снежным склоном
Все те, кто пал за Сталинград,
Кто принял смерть за тихим Доном.

И там, где реже лунный дым,
На гребне снеговых откосов,
Стоит с Олегом Кошевым
Бессмертный Александр Матросов!

И никогда не совладать
Врагу с десяткой непокорной.
Пусть снегом застланная падь
От гари минной станет черной —

Мы не уступим никому
Ни пяди этой снежной пади.
Тот свет, что выжигает тьму,
Горит, негаснувший, в отряде.

Вглядись! . . Но снова мы с тобой
Стоим вдвоем, года сличая.
А за окном сорок восьмой,
А за окном Москва ночная,

А за окном безмерный мир,
Где бились мы без перемирий,
Чтоб заново над миром мир
Сиял в своей бескрайней ширн.

Иным и непохожим дням
Дано нас на дорогах встретить,
Но те же звезды светят нам,
Что в бой вели нас в сорок третьем.

Как торжествующая жизнь,
Они встают над веком грозным —
Твои, высокий Коммунизм,
Вовек немеркнущие звезды!

1947.

Валит клубами черный дым
 Над раскаленной крышею...
 Мне этот дым необходим,
 Мне нужно пламя рыжее!

Пусть разгорается пожар,
 Пусть жаром пышет улица,
 Пусть ужаснется млад и стар,
 Пожарные стушуются.

Пусть сердце рвется из груди,
 Пусть всё тревожней мне —
 Того гляди, того гляди,
 И ты сгоришь в огне!

Девчонки — в плач, мальчишки — в крик,
 В обморок — родители...
 Но тут явлюсь я среди них,
 Суровый и решительный.

Сверкает взгляд из-под бровей.
 Мне отступить негоже,
 Раз все кричат: «Спаси, Сергей!» —
 «Сергей», а не «Сережа».

По водосточной по трубе,
 По ржавому железу,
 Я избавителем к тебе
 От страшной смерти лезу.

От этажа
 к этажу
 Ловкий,
 как кошка...
 И по карнизу прохожу
 К заветному окошку.

Я нахожу тебя в огне,
 Я облегчаю муки,
 И ты протягиваешь мне
 Худенькие руки.

Как храбр я! Как прекрасна ты!
Как день сияет летний!
И как непрочен мир мечты
Одиннадцатилетней...

Он разбивается в куски
От окрика простого...
И вновь стою я у доски,
Я в третьем классе снова.

И вновь не помню я азов —
Попробуй к ним привыкни! —
И гнусный Васька Образцов
Показывает язык мне...

С тех пор немало лет прошло,
И снова сердце сжало,
И не сожгло — так обожгло
Предчувствием пожара.

Опять клубится черный дым
Над раскаленной крышею...
Мне этот дым необходим,
Мне нужно пламя рыжее!

Пусть сердце рвется из груди,
Пусть всё тревожней мне...
Того гляди, того гляди,
Я сам сгорю в огне!

В огне сжигающей любви,
В сумятице минут,
Где руки тонкие твои
Одни меня спасут!

Январь 1947

108. МОЯ ПАМЯТЬ

Когда-то, до войны, я был в Крыму,
Со мною шло, не зная, как назваться,
То счастье, о котором ни к чему,
Да и не стоит здесь распространяться.

Оно скользило солнечным пятном
По штукатурке низенького дома,
По мокрой гальке шлялось босиком
В пяти шагах от вспененного грома.

Бросало в разноцветные кусты
Цветы неугасимые и росы,
На ласточкиных крыльях с высоты
Кидалось в тень приморского утеса.

И — что с того? Ну, было, да прошло,
Оставив чуть заметные приметы:
Для посторонних — битое стекло,
Для сердцем переживших — самоцветы.

Не так давно я снова был в Крыму.
Со мною шла, на шаг не отставая,
Нешадная ни к сердцу, ни к уму,
Горячая, щемящая, живая.

И одолела. Вспомнив до конца,
Я бросился на камень молчаливый,
На камень у знакомого крыльца,
Поросшего бурьяном и крапивой.

И я спросил: — Ты всё мне скажешь, боль?
Всё без утайки? Всё, мой друг жестокий?
Неужто век нам маяться с тобой,
Неужто вместе мерять путь далекий?

Я спрашиваю снова: чья вина?
Приговоренный зваться человеком,
Я четверть века всем платил сполна
За всё, что не сполна давалось веком.

Я не был скуп. Цена добра и зла
Была ценой и мужества и крови...
И я был щедр. Но молодость прошла,
Не пожелав и доброго здоровья.

Я знаю, снова просквозят года...
И вновь, как в повторяющемся чуде,
Сюда придут, опять придут сюда
И юные и радостные люди.

И девушка, поднявшись на крыльцо,
Прочтет свою судьбу по звездной книжке
И спрячет побледневшее лицо
В тужурку светлоглазого парнишки.

Пусть будет так. Пусть будет к ним добрей
Жестокое и трудное столетье.
И радость щедрых и прекрасных дней
Получат полной мерой наши дети.

И нашу память снова воскресит
В иной любви живительная сила,
И счастье им сверкнет у этих плит
Поярче, чем когда-то нам светило!

*Октябрь 1947
Крым*

109. МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Пусть самой смертью подожжен пожар...
Но посреди обугленной планеты
Вручает смертным людям комиссар,
Как право на бессмертье, партбилеты.

Без громких слов и просветленных слез,
В своих переживаниях неречисты,
Платить свой первый и свой кровный взнос
Уходят молодые коммунисты.

И сто веков над миром прошумит,
Но в языке всесветного народа
Святое слово память сохранит
О юношах сорок второго года.

Оно расскажет, как со смертной тьмой
Мы совладали в светопреставленье,
Как белый свет и честный род людской
Спасло мое стальное поколение.

Как бурям и штормам наперерез
Прошли мы трудный путь послевоенный...
Святое слово! Светоч всей вселенной —
КПСС.

(1948)

110. ШХУНЫ НА РЕЙДЕ

На рейдах в ночи лунные
По-девичьи, во сне,
Чуть слышно бредят шхуны
О завтрашней весне.

Пускай на мачтах иней,
Пусть кили вмерзли в лед, —
Им виден в дымке синей
Далеких солнц восход.

Разломанные глыбы,
Растопленные льды,
Зеленые изгибы
Бунтующей воды.

И в высях небывалых,
В преддверье небылиц,
На одиноких скалах
Гнездовья белых птиц.

За ними, в отдаленье,
В игре дневных теней,
Лежбища тюленей
Меж голубых полей.

Летучее скольжение
По пенистым волнам
И счастье возвращенья
К знакомым берегам.

Когда без проволоочки
Подхватят на лету
С белушьям жиром бочки
Грузчики в порту.

Когда откроют склады
Густой толпе мехов,
Которые их рады
Заполнить до верхов.

Когда в высоком зданье,
Точней, чем с давних слов,
Наметят очертанья
Полярных островов...

На рейдах в ночи лунные
По-девичьи, во сне,
Чуть слышно бредят шхуны
О завтрашней весне.

Август 1948

111. «МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ»

Пусть шествует неистребимый страх!
Вам поздно звать спокойствие на помощь.
Он в вас самих. Он разбивает в прах
Все замыслы твои, земная полночь.

Сто лет подряд твердите вы о нем,
И, давний, он опять встает как новость
Повсюду, где не сыщешь днем с огнем
В потемках затерявшуюся совесть.

Страх в каждой сгустке херстовской грязи,
Страх в каждом залпе, грянувшем в Пирее,
Страх в лживой передаче Би-Би-Си,
Страх в стадном послушанье Ассамблеи.

И перед ним бессилен Белый дом,
Тот Белый дом, что перестал быть белым
С тех самых пор, как квартиранты в нем
Наш белый свет марают черным делом.

Страх сотен перед гневной мощью масс
Ввело в закон двадцатое столетье,
Хотел бы я, чтоб видел старый Маркс,
Как мы сейчас бушем на планете!

Дорогой битв, через хребты преград,
Вслед за тобой, Советская отчизна,
Неисчислимый движется отряд,
Как ставший плотью призрак коммунизма.

Огромен человеческий океан,
Ни края не сыскать ему, ни меры,
Но снова: «Пролетарии всех стран...» —
Встает над ним как грозный символ веры.

Так бойтесь же! .. Тропа времен пряма,
И наш отряд, что вдаль по ней шагает,
В бои ведет история сама
И нашими руками побеждает!

1948

112

Юностью ранней
Нас привечал
Ветер скитаний
Песнью начал.
В этих началах
Места не знали
Горесть усталых,
Горечь печали.

Вестники сердца
Юной земли —
В них заглядеться
Мы не смогли.
Боль переспоря,
Не уставали
В противоборье
С силой печали.

В схватке ль опасной,
В вихре свинца
Мы не подвластны
Песне конца.

Юностью ранней
Нас привечал
Ветер скитаний
Песнью начал.

1948

113. УЛИЦА СТАНКЕВИЧА

Так где еще,
 так где еще
Встречались
 мы с тобой?
На улице
 Станкевича
Ты помнишь
 бой?
На улице
 Станкевича,
Где нынче
 в тишь да гладь
Лишь глазоньками
 девичьими
Фонарям
 сиять.
Где меж домами
 чинными
Блестит
 асфальт,
Крестили нас
 мужчинами
Огонь
 и сталь.
Где шум
 в часы дневные
Не спорит
 с тишиной,
Мы приняли
 впервые
Бой.
Светлели на небе
 чисты.

Звезды,
 словно выстиранные...
В ту ночь
 я обходил посты,
У телеграфа
 выставленные.
Где шум
 в часы дневные
Не спорит
 с тишиной,
Мы крещены
 впервые
Войной.
Несло
 на славу караул
Наше
 отделение...
Вдруг «юнкерсов»
 негромкий гул
Донесся
 в отдаленье.
И полминуты
 не прошло,
Как в давний
 тот июль
Впервые
 темь насквозь прожгло
Первой
 трассой пуль.
И сразу —
 гарью и огнем
В лицо
 пахнуло мне,
И надвое
 распался дом
На левой
 стороне.
В обломках
 занялся пожар,
Дым пополз
 прогорклый,
И, словно град,
 на тротуар

И сейчас такая же отвага
Кличет комсомольцев за собой,
Та же нерушимая присяга
Их ведет на подвиг трудовой.

1948

115. АСКЕР

Верно, вновь за парту мне садиться
И глядеть на карту не дыша:
Есть ли сухопутная граница
Между СССР и США?

Нет? Но нынче снова на заставе,
Вровень с пограничным встав столбом,
Вопреки всем картам был я вправе
Счесть всю географию враньем.

От ручья — всего шагов пятнадцать,
А над ним, небрит и грязноват,
Целый день не уставал шататься
Неизвестной армии солдат.

Неизвестной? Это отчего же?
Ошибешься — не твоя вина:
Обувь из заморской сшита кожи,
Форма — из заморского сукна.

И многозарядную винтовку
Он из тех же получил сторон,
Даже брать ее наизготовку
По-американски должен он.

Весь в чужом он — от штиблет и ранца,
Но за каждый промах, например,
Этого «почти американца»
В морду бьет турецкий офицер.

И с чесоткой тоже нету сладу —
Днем и ночью не стихает зуд...

Видно по всему, что без пощады
Вши его турецкие грызут.

И, пугаясь обронить хоть крошку —
Там ведется даже крошкам счет, —
Тошую турецкую лепешку
В полдник он с отчаяньем сосет.

А вверху, над сумрачной и хмурой,
Вставшей к солнцу тыльной стороной,
Взвился над его комендатурой
Белый полумесяц со звездой.

Взвился он над нищенской деревней,
Нищей, горемычной, чуть живой,
Где не могут чахлые деревья
Переспорить жаркий летний зной.

И недаром взглядом удивленным
Нет да нет, но оглядит аскер
Горы, где раскинулся по склонам,
Весь в цвету, колхоз-миллионер.

На замке советская граница...
Шагу не дадим — не перейдешь!
Но гляди, пока глазам глядится, —
Может быть, хоть что-нибудь поймешь!

*Июль 1949
Сарны*

116. У БЕРЕГОВ ЯПОНИИ

На первый взгляд,
Как говорят,
Не вид, а красота...
Товарищи с погранпоста
Смеются, верно, неспроста
Который день подряд.
— Смотри, какие, брат, места,
Не нагладишься, брат! —
Мол, встань у моря и застынь...

И впрямь застынешь ты:
Куда ни кинь —
Морская синь
Отменной густоты.
За морем — ну, рукой подать —
Изломанною линией
Тянутся волнам под стать
Вулканы темно-синие.
А там, у их подножий
И к берегу пониже,
Толпятся желтокожие
Бамбуковые крыши.
Так вон она — хоть тронь ее —
Всего лишь за три мили,
Лежит страна Япония.
В тишине и мире.
Каков же мир, что миром дан
Одной из побежденных стран?
К Хоккайдо, словно мне в ответ,
Из черных клочьев сбита,
Подкралась туча, застив свет
Тенью Уолл-стрита.
И вспомнил я шаланду
Японских рыбаков,
Их нищую команду,
Их нищенский улов.
Пригнал их в непогоду
Зюйд-вест издалека,
Но на границе с ходу
Их задержал ПК.
Мы видели их сети:
Гнилье гнильем, на взгляд.
Но даже сети эти
Им не принадлежат.
Любая зыбь некрепкая
Лодчонке их страшна,
Но даже эта щепка
В аренду им сдана.
Всё, что в часы рабочие
Им дарит океан,
Течет и дни и ночи,
Течет в чужой карман.
А им — рванье из ситца,
Дыра сквозит в дыру,

Подстилкой не годится
Собаке в конуру.
А им — чужая лодка,
Мозоли на руках,
Чахотка и чесотка
Да зуд в кулаках...

В разгаре солнечного дня
На берегу открытом
Заметил снова сходство я
Тучи с Уолл-стримом.
Навис он так же, как она,
Над синью островной,
Чтоб не смогла вовек страна
Стать солнечной страной,
Он, как она, пускает в ход
Грома издалека,
Забыв, что есть громоотвод
Советского штыка.
Но говорит мне опыт мой:
Все тучи разбегутся,
Лишь грянет ветер штормовой
Народной революции...
Я не ввожу людей в обман,
Пусть говорит история,
А с ней — по опыту всех стран, —
Как коммунист, не в споре я!

*16 октября 1949
Курилы*

117. НАЧАЛЬНИК ЗАСТАВЫ

На холодном и раннем рассвете,
Раздвигая густые кусты,
Пробираясь сквозь частые ветви,
Он неспешно обходит посты.

И по еле заметным приметам,
Где другому вовек не пройти,
Он находит тропинки к секретам,
Не сбиваясь ни разу с пути.

И где в небо врезаются горы,
Где подъем неприступен и крут
Он следит, хорошо ли дозоры
Свою трудную службу несут.

Он следит, хороша ль маскировка,
Пограничная сметка ль сильна,
Не видна ли сквозь листья винтовка
И фуражка ль бойца не видна?

Всё в порядке... Но горная птица
Вдруг взметнулась над ближней скалой, —
Значит, кем-то сейчас на границе
Был нарушен тревожный покой.

Лишь овчарки привычное ухо
Настороженно вверх поднялось,
Как уже, чуть доступное слуху,
Шелестенье травы донеслось.

«Стой на месте!» И лишь плащ-палатка
Снова пулями прожжена...
Шум борьбы... Напряженная схватка...
Вновь вступает в права тишина.

Через час уже день на заставе,
И первичный допрос проведен...
Что ж, начальник заставы? Ты вправе
Хоть до полдня потребовать сон.

Но и десять минут непробудных
Он у службы сейчас не возьмет, —
Столько нужно обычных, но трудных
Разрешить повседневных забот.

Горцы ближней деревни приходят
С ним держать неперемный совет.
Вместе с ним они в сакли проводят
Электрический радостный свет.

Там, где сгрудились голые скалы,
Где ручьи снеговые гремят,
Он следит, как ефрейтор бывалый
Молодых обучает солдат.

В этом сердце, прекрасном и чистом,
Все желанья просты и ясны —
Быть всегда и во всем коммунистом,
Верным сыном Советской страны.

Славлю вас, забывающих отдых,
Исполняющих свято устав,
Своей службой нелегкою гордых,
Офицеров далеких застав!

1949

118. МЕРТВЕЦ

Когда рассвет прольется на панели,
Зашарканные осенью вконец,
В холодном доме с заспанной постели
Привстанет и поднимется мертвец.

И в дверь пройдет размеренной походкой,
На умывальник выкатит белки,
Лицо умоет и привычной щеткой
Отчистит пожелтевшие клыки.

Заслышав кашель хриплый и тяжелый,
Почтительно нахмурен и угрюм,
Один из могикан лакейской школы
Учтиво облечет его в костюм.

Мертвец в подъезде. Выбритый и чинный,
Чуть синеват, немного тухловат...
А в остальном — ну хоть куда мужчина
На самый первый и случайный взгляд.

Шофер придержит руль в послушных лапах,
Послушно спросит: «Далеко вам, босс?»
И лишь, почуя сладковатый запах,
Завоет вслед бегущий мимо пес.

«В Конгресс!» И вот мертвец перед
Конгрессом,
Он не намерен тратить лишних слов.
Он здесь обвык. Он пользуется весом
Среди чинами равных мертвецов,

Когда ж предложит хитроумный некто
Живых в могилу скопом закопать,
Он в одобренье мудрого проекта
Ощерит не улыбчивую пасть.

Он так до человечесьей крови лаком,
Что перегрызть всем людям горло рад.
Но чтоб навек покончить с вурдалаком,
Давно готовы тысячи лопат.

И подошли могильщики так близко,
Что мерим мы часы, а не года,
Когда смердящий труп капитализма
Зароют люди в землю навсегда.

Сентябрь 1950

119. ТИХИЙ ОКЕАН

У рифов каменистых островов,
То набежав, то снова вдаль отпрянув,
Гремят, столкнувшись, волны двух миров
В сто раз грозней, чем волны океанов.

Раскаты грома в сизой вышине
Не заглушают голоса эфира:
Всё яростней звучит призыв к войне
И всё сильнее — всемирный лозунг мира.

И маяками среди бурь и гроз
Глядят вперед, полны спокойной силы,
Норд-ост встречая грудью и зюйд-ост,
Наш Сахалин, Камчатка и Курилы.

Нет удержу бушующим волнам,
Всё выше взлет, кипенье всё сильнее...
Клокочет нестихающий Вьетнам,
Девятым валом поднялась Корея.

Пусть ураган сменяет ураган,
Пусть всё сильнее глухое клокотанье...
Хранит недаром Тихий океан
До наших бурных дней свое названье.

Обезоружив новую войну,
Мы утвердим победу мира в мире,
И океан узнает тишину
На всей своей необозримой шири!

1950

120. НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Шершавый бетон обелиска,
Тяжелый и грустный бетон,
При свете полдневного диска
В торжественный сон погружен.

Но лишь у земного порога
Ночные часы застучат,
Традициям следуя строго,
Встает Неизвестный солдат.

Сраженный в последнем сраженьи
Последнею пулей войны,
Он видел исход наступленья
На сердце фашистской страны.

И нынче, по старому следу
Мечты неумершей своей,
Встает он, чтоб, встретив победу,
Пилотку хоть снять перед ней.

Еще далеко до восхода...
И, свой совершая обход,
Солдат сорок пятого года
Сквозь пятидесятый идет.

В горячке предвыборной Штаты.
И снова плакаты не в лад
Сулят повышение зарплаты
И новые крыши сулят.

И цену крикливым и лживым
Плакатам прошедших годов
Он видит по новым зазывам
Из прежде составленных слов.

Он видит, как, снова промерив
Осеннюю вязкую грязь,
Опять безработица в сквере
На мокрой скамье улеглась.

Он видит, как снова в угоду
Его стародавним врагам
Линчуют беглянку свободу,
Связав по рукам и ногам.

За это ли в смертном сраженьи
Под пули подставил он грудь?
Гнетущая тень поражения
Ложится на пройденный путь.

Но тут же, рассветной порою,
Как прежде мощны и тяжки,
Над миром, готовые к бою,
Взметнулись его кулаки.

Не жди ветерана, могила, —
По свету, незримый на взгляд,
В шеренгах свободы и мира
Идет Неизвестный солдат!

1948, 1950

121. КУРИЛЬСКИЕ ЕСТЬ ОСТРОВА

Ты стала от холода синей,
Скорей с подоконника слезь!..
Взглянула, как светится иней,
Как блещет морозная вязь?..

Красиво? Конечно, красиво!..
Не зря постарался мороз,
Рассыпав по стеклам на диво
Великое множество звезд.

Почти что такие, как эти,
Но только, пожалуй, светлей,

Мерцают на раннем рассвете
Над ширью далеких морей.

Чудесней такого рассвета
Никто бы придумать не смог...
Там ярко-зеленого цвета
Становится утром восток.

В причудливом этом сиянье
Над пеной морскою вдали
Вулканов встают очертанья
У самого края земли.

А море в серебряной дымке
Холодной предутренней мглы,
И звезды белы, как снежинки,
Как иней на окнах, белы.

Под звездами быстрое судно
Летит по волнам напролом...
А ну! Догадаться нетрудно,
Кого ты узнаешь на нем?!

Так что же, мой цветик далекий,
Узнала теперь наконец?
Ведь это же долгие сроки
Тебя не выдавший отец.

Скажи ты и Кате и Тане
Нетрудные эти слова!
На Тихом, скажи, океане
Курильские есть острова.

Ты всем Расскажи, не скрывая,
Что даже на снежном окне
И звездочка может простая
Напомнить тебе обо мне.

Что ты, не покинув квартиру,
По светлой дороге земной
Прошла по широкому миру
И встретила в море со мной!

122. РАЗГОВОР О ГРЕХАХ

Нет, не дьявол! Просто черт с рогами!
Враз запахло в комнате козлом.
На постель залез ко мне с ногами
И вмешался в спор добра со злом.

«Знаешь, — я сказал ему сердито, —
Для меня ты слишком груб и прост.
В умный спор не суй свои копыта,
Убери и спрячь свой дрянный хвост».

Изрекла тогда Его Кромешность:
«Ты опять со мною, как с чужим.
Знай одно, хулишь мой ум и внешность,
Будто от тебя я отделим?!

Ты моей лишь скверны отраженье,
А она куда как не нова!
Ей еще со дня грехопадения
Облик мой присвоила молва».

Память перечислила уныло
Все мои грехи наперечет...
И над каждым с визгом морщил рыло
Древний и нелепый русский черт.

1951

123. КУКЛА

Льет в окошко зимний месяц
Золотистый свет...
Нынче дочке будет десять,
Ровно десять лет.

Мы ни бедно, ни богато
Прожили бы ночь,
Но до завтрашней зарплаты
Ждать не хочет дочь.

Я беру ко дню рожденья
На подарок ей
Из последних сбережений
Сорок пять рублей.

Лед на лужах замерзает,
Поздний путь мой прост:
Магазин игрушек знает
Весь Кузнецкий мост.

По вечернему морозу,
Зябкой тишиной,
Закурить бы папиросу...
Нету ни одной!

Это, впрочем, не из сложных
Бедствий и невзгод,
За два двадцать мне лоточник
Пачку подает.

Дымом синим, дымом пряным
Медленно чажу
И перед закрытьем самым
В магазин вхожу.

Зал просторный чист и светел,
И, освоюсь в нем,
Быстро куклу я заметил
В платье голубом.

Всё в ней ладно, всё в ней живо,
Раз взгляни — влюблен...
Ну, не личико, а диво,
Ну, не косы — лен!

Темно-синие большие
Глазыньки глядят...
Не одной тебе в России
Снился этот взгляд.

Светит он, живой и яркий
В девочкиных снах,
Если девочкам подарки
Получать на днях.

Но вот тут, в насмешку словно
Над мечтой твоей,
Эта кукла стоит ровно
Сорок пять рублей.

Я глаза ее и косы,
Весь ее наряд
Прокурил на папиросы
Полчаса назад.

Прокурил их в дух единый,
К самому концу,
Не хватает двух с полтиной
Грешному отцу.

Как же быть? На что решиться?..
Но готовый чек
Мне вручает продавщица —
Добрый человек.

Говорит: «Я проследила
Взгляд ее немой.
Эта кукла вас просила
Взять ее с собой.

Вам двоим, — проговорила, —
Сразу услужу.
Если денег не хватило,
Я вам одолжу».

Ни в одной квартире в мире
Не было светлей
В этот вечер, чем в квартире
Девочки моей.

Помнишь, Ольга свет Сергевна,
Как ложилась ты
Вместе с куклою-царевной
Редкой красоты?

Здесь конец пришел рассказу,
Радостный конец...
Что же дочке хочет сразу
Объяснить отец?

Ни гроша, мой цветик яркий,
На себя не трать,
Если ты друзьям подарки
Вышла покупать.

И добром помянут имя
И характер твой,
Если ты щедра с другими
И скупа с собой.

В жизни разное случится
В разные года...
Ты о доброй продавщице
Вспоминай всегда.

Даже самых незнакомых —
Твердо-твёрдо знай —
Не суди в сердцах за промах,
Делом помогай.

(1952)

124. ПРАЗДНИК

Оле сон тридевятый снится,
Снится в ярких цветах земля.
Пусть приснится моей синице,
Что я в небе словил журавля.

Непогожая долгая осень
Загостилась на нашем дворе,
Но дыхание будущих весен
Чутко чувствую я в ноябре.

Нелегко мне давалась зрелость,
Жил в сумятице и кутерьме,
Тем сильнее сейчас разгорелась
Вера в новое счастье во мне.

Просыпайся же, дочка России!
К нам в окно постучалась весна.
Протирай-ка глаза голубые,
Босиком пробегись до окна!

Нет, тебе это вовсе не снится,
И весны ты встречаешь приход.
Погляди, как сегодня столица
Вся цветами большими цветет!

Никогда ты над Волгой в апреле —
Ты ведь помнишь ее берега? —
Не видала, чтоб так заалели
От цветов заливные луга.

Погляди, как знамена полощут,
Как бушуют они над Москвой!
Это люди на Красную площадь
Потекли многошумной рекой.

Ну, так выйдем вдвоем из квартиры.
Впрямь на улицах нынче весна.
Праздник светлой свободы и мира
В это утро встречает страна.

Песни бурным текут половодьем,
Вихри плясок, куда ни взгляни,
Мы до вечера нынче проходим
Посреди миллионной родни

По приветливой нашей столице,
Где в созвездьях бесчисленных огней
Дарит праздник усталой синице
Сотни сказочных журавлей!

«1953»

125. СКУЧНОЕ ЛЕТО

Я спросил вчера у Оли:
«Как идут твои дела?
Как ты там, на вольной воле,
Это лето провела?»

Дочь зевнула равнодушно.
«Ну, какой еще рассказ!
Просто, папа, очень скушно
Было в лагере у нас.

Никуда без разрешения!
А ведь, что ни говори,
Мне давно уж от рожденья
Все двенадцать, а не три!

К речке выбегут девчонки,
Бултыхнешься сверху вниз,
А уже кричат вдогонку:
«Наровчатова, вернись!»

Вот я снова в нашем доме,
Лето было и прошло...
Что о нем я вспомню, кроме
Набежавших трех кило?»

И припомнил я порядки
Незапамятной поры:
Сами ставили палатки,
Сами ладили костры.

Каждый в нашем поколенье
Эту песенку певал:
«Тот не знает наслажденья,
Кто картошки не едал».

Нас без спросу солнце грело,
Без разбору дождь хлестал,
И — неслыханное дело —
Хоть бы раз кто захворал!

И чернели, и тощали...
Но к концу веселых дней
Мы здоровьем удивляли
Многоопытных врачей.

Вот что вспомнил я. И вскоре
Давний лагерный режим
Разобрали в разговоре
Мы с товарищем своим.

Начинал я с ним ученье,
С ним кончал десятый класс,
В Министерстве просвещения
Он работает сейчас.

«Что ж? Зовешь опять в палатки? —
Он сказал, погладив плешь. —
Ты давнишние порядки
Иде-а-ли-зи-ру-ешь!»

Я ответил: «Ты немножко
Передергиваешь, брат.
Наша песня про картошку
Удивит сейчас ребят!

И пускай они по праву
Занимают те дворцы,
Что построили на славу
Детворе своей отцы.

А палаток мне не жалко,
Здесь в другом вопроса гвоздь:
Где смекалка, где закалка,
Где само-сто-я-тель-ность?!»

(1953)

126. РАЗГОВОР С ДОЧКОЙ

Ты во всем мне веришь свято,
И меня спросила ты:
«Это правда, что когда-то
У людей росли хвосты?»

Я сказал, пожав плечами:
«Как не правда! И сейчас
С настоящими хвостами
Люди ходят среди нас.

С дядей Петей мы на свете
Поклялись дружить навек:
Был когда-то дядя Петя
Человек как человек.

Но лишь вырос он до чина —
Раззнакомился со мной,
Распустил, как у павлина,
Хвост и пышный и цветной.

Всё ж пословицу немножко
Надо помнить и ему,
Что приветят по одежке,
А проводят по уму.

Верткий хвост у дяди Коли,
Не в пример хвостам другим.
Он в исканьях лучшей доли
Всюду пользуется им.

Он со скромниками скромник,
А где надо — парень-хват,
У него во всех приемных
Все дела идут на лад.

Смог ему свою сноровку
Старый пес наш передать,
Убедительно и ловко
Обучив хвостом вилять».

«Ну а как же тетя Лида? —
Ты спросила чуть дыша. —
Ведь уж тетя Лида с виду,
Знаешь сам, как хороша!»

Я сказал с усмешкой хмурой:
«Что ж! Не вид, а красота!
Хвост у тети черно-бурый,
Да не хвост, а два хвоста.

Видно, душу греть умеют
Эти жаркие хвосты...
Только что они согреют,
Кроме полной пустоты?

Был и я когда-то, дочка,
Предоволен сам собой,
Жил на свете в одиночку,
Хвост, как флаг, подняв трубой.

Но друзья не позабыли
Про меня в такой момент
И, сойдясь, укоротили
Раза в три мой рудимент.

Я ходил мрачнее тучи,
Но потом пропала злость,
И теперь намного лучше
Мне живется, чем жилось.

Поняла? Ну и отлично!
Хоть, наверно, скажет мать,
Что, мол, не педагогично
Так с тобою рассуждать.

Правда есть в упреке строгом,
Но я знаю, как мне быть,
Чтоб умелым педагогом
В общем мнении прослыть.

Я скажу: «Прощаясь с летом,
Ты и часу не теряй,
После лета по предметам
Ты «хвостов» не получай.

У тебя ж ума палата!
И мне, право, очень жаль,
Что немного скучновата
Эта мудрая мораль».

Февраль — октябрь 1953

127. ЧУДО

В день, когда навек угаснут силы,
В сердце не останется огня,
Соберутся у моей могилы
Женщины, любившие меня.

В ясный день чуть видный свет заблещет,
И, от горя изжелта-бледна,
Надо мной лучи свои расплещет
Скромная красавица луна.

Частых звезд усеют небо гроздья —
Знают звезды, как я их люблю! —
И сорвутся и помчатся звезды,
Упадут на мать сыру землю.

И смолистые обронят слезы
Северные сосны в этот день,
Тульские расплачутся березы,
Загорюет волжская сирень.

И, простив мне грубые замашки —
Я ромашки рвал, чтобы гадать, —
Лепестки протянут мне ромашки,
Чтоб меня хоть раз поцеловать.

И, грустя о вольном человеке,
Вольную свою возвысив речь,
Зашумят и забушуют реки:
«Без тебя нам скучно к морю течь!»

И вот тут от края и до края
Всколыхнется русская земля,
Молвит: «Я тебя не принимаю,
Встань, взгляни на доли и поля!

Многое видала каждый день я,
Молода, хоть и стара на вид.
Так же, как люблю я дни рожденья,
Так же не люблю я панихид.

Был ты окружен моей заботой,
Ты ее пока не оправдал...
Поднимайся! И сполна работой
Всё отдай, что взял, но не отдай!»

И тогда-то весело и гневно,
Не в пример другим друзьям моим,
Дерзко скажет Ольга свет Сергеевна:
«Мы его сейчас же воскресим!»

И, смеясь, целуя в обе щеки,
Шепчет дочь, нимало не скорбя:
«Помоги мне выучить уроки,
Двойку получу я без тебя!»

Матери и дочке подчиняясь
(Мне всего дороже дочь и мать),
Я рывком из гроба поднимаюсь
Жизнь и продолжать, и начинать.

С памятью об этом чудном чуде
Долго я на свете буду жить,
Буду жить, пока не скажут люди:
«Всё, что мог, сумел он совершить!»

Февраль — октябрь 1953

128. СЛЕПАЯ ДЕВУШКА

Сплела слепая девушка венок...
Какого цвета рвет она цветы,
Никто вокруг ей объяснить не мог —
Ни лес, ни луг, ни шумные кусты.

Цветы в венок ложились всё дружной,
Один оттенок краски брал в другом.
Какое чувство подсказало ей
Не ошибиться в выборе своем?

И в этот миг я вспомнил о тебе.
Ты, зрячая, пройди сюда, к слепой,
И горько подивись своей судьбе,
Сравнив слепую девушку с собой.

И ты цветы встречала на пути,
Рвала не наугад — наверняка,
Но не могла и не смогла сплести
Ты воедино даже два цветка.

Слепой видна связующая нить,
Которую давно не видишь ты, —
Всю жизнь ты не могла соединить
Разрозненные звенья красоты.

Ты на венок в последний раз взгляни...
Ладонью защитив зрачки свои,
С ослепшим сердцем голову склони
Перед незрячей зоркостью любви.

1953

Ты меня и поздравить забыла
 С днем рождения новым моим...
 Сколько лет мне сегодня пробило?
 Сколько осеней? Сколько зим?

Сколько весен? А были весны!
 Помню волжский рассвет на юру...
 Ох, как пели веселые сосны,
 Как звенели они на ветру!

Как мы молоды были с мамой,
 Неудачливой мамой твоей...
 Ты растешь, как она, упрямой.
 Тот же взлет угловатых бровей,

Те же губы... Тут спорить излишне.
 Поглядишь — и злость разберет:
 Словно съела пригоршню вишен
 И забыла вытереть рот.

Почему же, без общей квартплаты,
 Вместе мы не живем, втроем?
 В этом мама и я виноваты,
 Ну а ты-то совсем ни при чем.

Очень скверно жить в одиночку,
 А друг друга надо беречь...
 Подойди, пожалуйста, дочка,
 И постой у отцовских плеч!

1953

130. ПАРЕНЬ И ДЕВУШКА

Мне память — единственный брат и сват,
 Лишь с ней я спознаться могу:
 Парень и девушка рядом стоят
 На волжском крутом берегу.

Весенняя только унялась гроза,
 Но сосны уже не шумят...

Синие с карими слиты глаза
В один неотрывный взгляд.

Получше есть слово!

Точней — это взор,
Лишь взором могу я назвать
Сияющих глаз немой разговор
Притихшему утру под стать.

Сейчас им не нужно ни крыльев, ни крыл,
Ни чайкою стать, ни орлом...
Он бережно плечи платком ей укрыв,
Саратовским теплым платком.

Она поправляет ладонью ему
Лохматую шапку волос.
Их счастья сейчас не разбить никому,
Над ними ни молний, ни гроз.

И нет потолка в голубой вышине,
И нет коммунальных квартир...
Подумай-ка, дочка, о маме и мне,
Какими входили мы в мир!

1954

131. КАВАЛЕР И БАРЫШНЯ

Небо щедро сеет проливным дождем,
Но пройди к окошку, погляди на сквер:
Кавалер и барышня мокнут там вдвоем.
Что ж это за барышня, что за кавалер?

Краше этой пары не видал никто.
Заработок, видно, им пошел не впрок.
Кавалер накинул старое пальто,
Барышня набросила выцветший платок.

Оба, не жалея стертых башмаков,
Луж не замечая, — а уж это зря! —
Ходят до полудня с десяти часов,
О тебе, о глупой, тихо говоря.

Нет, не помешает дождик проливной,
Их соединяет горестная близь.
Разойдясь друг с другом раннею весной,
На осеннем сквере вновь они сошлись.

Только не вспугни их взглядом незначай, —
То-то будет радость, коль они вдвоем,
Не сказав друг другу грустного «прощай»,
Возвратятся вместе в твой родимый дом.

Если б это чудо вдруг произошло,
Стекла бы не била, как в ознобе, дрожь,
Быстрыми ветрами тучи размело,
Сразу бы унялся беспросветный дождь.

Чтоб смогла ты притчу грустную понять,
Пусть у этой притчи будет прост конец:
В барышню взглядевшись, ты узнаешь мать,
Кавалер же, дочка, — это твой отец!

1954

132. АЛЫЕ ПАРУСА

Сказками я с дочкой провожаю
Каждый день вечернюю зарю:
Коням в стойлах гривы заплетаю,
Перстни красным девушкам дарю.

И от перьев пойманной жар-птицы
Обгорают пальцы у меня,
А звезда во лбу у царь-девицы
Светит ночью ярче света дня.

Но в глаза мне дочка смотрит прямо:
«Расскажи мне сказку поновей,
Сказку, что когда-то ты и мама
Полюбили в юности своей».

Ох, как не люблю я просьбы эти!..
Всё ж придется рассказать. Изволь.
Ну, так вот. Жила-была на свете
Девочка по имени Ассоль.

Странная она была девчонка —
Только к морю направляла взгляд,
Принимая каждую лодчонку
За пунцовопарусный фрегат.

Платышко — заплата на заплате.
Но упрямо сжат был дерзкий рот:
«Капитан приедет на фрегате
И меня с собою заберет!»

Как жилось девчонке этой трудно,
Легче даже Золушке жилось!
Но уж как мечталось непробудно!
А в мечтах и радости и злость.

Злость к подругам, к мелочным соседям,
Для которых сказка — лишь обман,
Кто твердит: «Вовеки не приедет
Твой великолепный капитан».

Зависть не нуждалась и в ответе!..
Ветром принесло морскую соль,
И, ее вдохнувши, на рассвете
Выбежала на берег Ассоль.

Море ноги ей расцеловало,
А она, легко вбежав в прибой,
Даже чаек крик перекричала,
И ее услышал рулевой.

Брызги волн ей замочили юбку,
Холоден был утренний туман...
Но уже неслась навстречу шлюпка,
И стоял на шлюпке капитан.

У Ассоль спросил он только имя,
И тогда-то, ослепив глаза,
Сказка окаянная над ними
Алые взметнула паруса!

Так я дочку развлекаю к ночи...
Пусть про нас с усмешкой говорят,
Что от парусов остались клочья
И на камни наскочил фрегат,

А на этих ключьях только дыры,
Да и те, мол, выточила моль,
Что половиками для квартиры
Бросила их под ноги Ассоль.

Что, мол, капитан теперь в отставке,
Путь его — не впрямь, а наугад...
Дочка! Мы внесем свои поправки:
Люди ведь неправду говорят!

Дочка отвечает: «Что за толки!
Мы рассеем их за полчаса.
Я сама сумею без иголки
Снова сшить такие паруса,

Что корабль сорвется сразу с мели,
Полетит в морскую синеву...»
Только бы мы вместе захотели
Эту сказку вспомнить наяву!

1954

133. СТАРАЯ ПЕСЕНКА

Послушай, Ольга свет Сергеевна,
Простую песенку мою:
Поется весело и гневно
Она в моем родном краю.

Ее я слышал у причалов
Родимых волжских пристаней,
И мой земляк Валерий Чкалов,
Когда был молод, знался с ней.

Звучала гордая досада
На то, что жизнью не дано:
«Меня не любят — и не надо,
Мне всё равно, мне всё равно!»

Кого ж слова корили эти?
Так знай, курносый мой пострел,
Что без плохих людей на свете
Хороших больше было б дел.

Плохие люди пусть не любят,
Ну а хороший человек,
Когда разлюбит, как подрубит —
Сосной повалишься на снег.

Бываешь ты не очень рада,
Когда я вновь твержу одно:
«Меня не любят — и не надо,
Мне всё равно, мне всё равно!»

Таких, как мы, живущих вместе,
Не сыщешь, право, днем с огнем,
И мы с тобою, к нашей чести,
Неплохо все-таки живем.

Свои с тобой мы знаем нужды,
Тень не наводим на плетень.
Друг другу в дружбу, а не в службу
Мы помогаем каждый день.

И всё ж, мое родное чадо,
Когда на душевке темно:
«Меня не любят — и не надо,
Мне всё равно, мне всё равно!»

Был тихий голос еле слышен,
Спросила ты, ко мне подсев:
«Быть может, мой вопрос излишен,
Но знаешь ли, что твой припев,

Ну, слово в слово тот же самый,
Не одному тебе знаком...
Вы, вовсе не встречаясь с мамой,
Всё время сходитесь на нем.

Она который год уж сряду
Твердит с тобою заодно:
„Меня не любят — и не надо,
Мне всё равно, мне всё равно!“»

1954

134. ВЗРОСЛЫЕ РЕЧИ

Вновь то бушует, то стелется
Наш разговор...
В поле и в сердце метелице
То-то простор!

Я по любви не тоскую,
Но в феврале
Тяжче, чем в пору другую,
Жить на земле.

Снегом в забытые сроки
Заметены,
Ждут не дождутся дороги
Близкой весны.

А ведь весна за порогом!
Где ж к ней пути?
Вместе по талым дорогам
Надо идти!

1955

135. РОМАНТИКА

Романтика! Вступай в свои права
Желанной гостьей на погранзаставе,
Ты встретишь здесь приветные слова
Простых людей в их доблести и славе.

Увидишь брызги волн у маяка,
Восхода зеленеющие вспышки
И в стереотрубу издадека
Далекий берег с деревянной вышки.

Увидишь, как раздумчиво горят
Над морем разноцветные закаты...
Богаты мы?.. Но, знаешь, во сто крат
Мы высшими богатствами богаты!

Романтика! Мы вместе до зари.
Но мне ходить не нужно за примером...

Нет, не со мной! Сейчас поговори
Ты с пограничной службы офицером.

Спроси не то, как знает он устав, —
Он и тебя всегда ему обучит.
О том спроси: когда от дел устав,
Чего он ждет? Волнует что и мучит?

Ведь он богат суровой и большой
Своей судьбой, где всё с рожденья свято,
Бесхитростной и верною душой
Простого пограничного солдата.

Ведь он богат взаимностью любви
Родной страны, что в нас души не чаёт...
Любой из нас все помыслы свои
К отчизне коммунизма обращает.

Богаты мы в страде привычных дней
Железной спайкой нашей строгой дружбы,
Романтикой профессии своей,
Романтикой своей нелегкой службы.

(1956)

136. НА ПОЛУСТАНКЕ

Топкой тропой с полустанка
Ты меня к дому ведешь.
Здесь ты живешь, северянка,
Здесь ты и счастье найдешь.

Зло улынулась глазами,
Мысли мои угадав:
«Дай-ка я сверюсь с часами,
В полдень приходит состав.

Только и радости знаешь
В те полминуты, когда,
Вскинув флажок, провожаешь
Мчащие вдаль поезда.

Сердце не камень. Затужит.
С ним лишь одним говоришь,
Как тебя сушит и душит
Эта треклятая тишь.

В области глуше нет места —
Чаши да топи вокруг...»
— «Слушай, лесная невеста,
Что ты задумала вдруг?

Душу напрасно не мучай,
Вот тебе правда моя:
Кровью густой и горячей
Ваша бушует земля.

Знаешь, что здесь понаслышке
Нефти не вымерить дно,
Скоро поднимутся вышки». —
«Нет, уже всё решено!

Это когда еще будет,
Молодость лишь изведу!
Люди меня не осудят,
Если я в город уйду».

Что ж! Уходи, коли тянет,
Но, безоглядная, знай:
Час неминуемый настанет —
Ты возвратишься в свой край.

В полночь приедешь со скорым,
Древний расступится лес,
Встретит тебя светофором
Станцией ставший разъезд.

Выйдешь спеша из вокзала,
С шумной смешавшись толпой,
Гордость и радость сначала
Здесь овладеют тобой.

Ввысь устремленные зданья,
Тысяча тысяч огней...
Ты этот край глухоманью
В юности звала своей.

Ждать не хотела ты срока,
Перетомилась душой...
Как он поднялся высоко,
Город родной и чужой!

В нем старожилками стали,
Каждый трудясь за троих,
Те, кто его основали, —
Ты же лишь гостя у них.

И, усмехнувшись устало,
Грустно подумаешь ты,
Что без оглядки бежала
Ты от своей же мечты.

Дрогнет последняя жилка,
Выплеснет горечь без зла:
«Город! Ведь я старожилка,
Здесь родилась и росла!

Что ж новоселы не встретят?
Как здесь прижились они?..»
Город молчаньем ответит
И лишь притушит огни.

1956

137. ВАРИАЦИИ ИЗ ПРИТЧ

Много злата получив в дорогу,
Я бесценный разменял металл,
Мало дал я дьяволу и богу,
Слишком много кесарю отдал.

Потому что зло и окаянно
Я сумы страшился и тюрьмы,
Откровенье помня Иоанна,
Жил я по Евангелию Фомы.

Ты ли нагадала и напела,
Ведьма древней русской маеты,
Чтоб любой уездный Кампанелла
Метил во вселенские Христы.

И каких судеб во измененье
Присудил мне дьявол или бог
Поиски четвертых измерений
В мире, умещающемся в трех.

Нет, не ради славы и награды,
От великой боли и красы,
Никогда взыскующие града
Не переведутся на Руси!

Между 1954 и 1956

138. СВЕЙКИ, ЛАТВИЯ!

Вижу прозелень рек
И озер голубые прозоры,
Светотень лесосек,
Темных пашен просторы

И простые кресты
Возле церкви над взгорьем,
Глубину высоты
Над рокоющим взморьем.

Слышу, плещет душа
На пастушеской дудке-жалейке...
О, как ты хороша!
Свейки, Латвия, свейки!

«Свейки» — ты в мое бытие
Входишь силою властной.
Ведь двояко значенье твое:
«До свиданья» и «здравствуй».

«Здравствуй» — слово приходит ко мне,
Разумея о добром здоровье,
Если Латвию вижу во сне
Я в своем изголовье.

Но встречает со мною зарю
И второе, иное звучанье.
«До свиданья, — я говорю. —
Слышишь, Латвия? До свиданья!»

Я свидаться хотел бы с тобой,
Увидаться с моими друзьями,
Вновь увидеть во мгле голубой
Красных башен застывшее пламя.

Повидать среди чащ и равнин,
Где земля трудолюбьем гордится,
Крепкоруких, спокойных мужчин
Ясноглазые лица.

И по-прежнему плещет душа
На пастушеской дудке-жалейке...
О, как ты хороша!
Свейки, Латвия, свейки!

Мне на стих не хватило бы сил,
А тоски б переполнилась мера,
Если б я позабыл
Имя чистое — Вера.

Вера! В имени этом святом
Вера в счастье все души объемлет,
Словно реки сливаются в нем
Все народы и земли!

С этой верой и стану я жить...
Ведь напев у пастушьей жалейки
Будет память всегда сторожить:
Свейки, Латвия, свейки!

1956
Латвия

139—143. СЕВЕРНАЯ ЮНОСТЬ

1

Вот он, под крышей тесовой
Сразу за гулким мостом,
В брызгах черемухи, новый,
Охрой окрашенный дом!

Гордость всего полустанка,
Он, пятистенный, хорош...
Здесь ты живешь, северянка,
Здесь ты и счастье найдешь.

Нет, не желанной невестой
В жизнь ты приходишь мою...
Я лишь прохожий безвестный
В вашем далеком краю.

Я лишь взыскательный путник,
Ищущий правды в речах,
Радостных праздников в буднях,
Ясного света в ночах!

2

Билась о камня жирная кета,
Птицы вылетали из-под сапога,
В желтые и бурые красилась цвета
Под осенним солнцем сонная тайга.

Ягоды тянулись к мордам медвежат,
Привечал оленей ледяной ручей...
Здесь всё так же было сто веков назад,
Будет ли здесь так же через сотню дней?

Грузовик промчался вдалеке от нас,
Как сигнальный выстрел тишину прорвав,
Затрещал кустарник ровно через час.
Мы поднялись разом:
«Здравствуйте, прораб!»

3

На торбаза мой взгляни,
Взгляни глазами быстрыми,
Как ладно скроены они
И как обшиты бисером.
Он по коричневым верхам
Густою сыплет искрою,
Зеленой — тут, красной — там,
Расцветкой юкагирскою.

Про те цвета, про тот узор —
Долгий разговор.
Его б продолжить с вами мог
В далеком стойбище
Скорняк таежный и стрелок
Иванко Столбищев.
И он сказал бы вам в глаза,
Что эти торбаза
Надеть считали бы за честь
Даже в Магадане...
Иванко сшил такие здесь
Лишь мне да Айне.
Двустволка, нож и патронташ,
Патронов — за глаза!
Дверь открываю наотмашь,
Свищу в два пальца пса.
Куда шайтан его занес?
В сугробе спал проклятый пес,
Вернется — отхлещу!
У нас короткий разговор...
Но вот он мчит во весь опор
И ластится ко мне, хитер...
Прощу!

4

Сияют звезды Колымы,
Их свет неугасим...
От незапамятной зимы
Пройдет двенадцать зим.
И за двенадцать тысяч верст,
Среди ночей гремящих,
Перед полком, поднявшись в рост,
Колымский встанет мальчик.
Он крикнет хриплое «ура».
Он с голосом не сладит,
Но все вселенские ветра
Его «ура» подхватят.
Затем, что в этот час ночной
В ста метрах от рейхстага
Заканчивала смертный бой
Бессмертная атака!

Сыну, бывало, скажет мать:
 «Ну, что тебя гонит снова
 По целым дням в тайге пропадать,
 Бежать из дома родного?»

Для меня же в доме моем порог
 Только лишь тем и хорош,
 Что гремят за порогом десятки дорог
 И одной из дома уйдешь.

Уйдешь, ничего не сказав в ответ,
 Туда, где, несмел и робок,
 Встает белесый летний рассвет
 Над черной грядой сопок.

Туда, где сосны красны, как медь,
 Где, свесив над речкой тушу,
 Опытный в промысле бурый медведь
 Лапой глушит горбушу.

Где лебедята над гладью озер
 Пробуют крылья впервые,
 Где светит и манит далекий простор
 Сквозь стланика ветви густые.

Ради его золотого огня
 Надолго бросал я поселок...
 Охотно в подручные брал меня,
 Со мной подружившись, геолог.

Я думал, что той же дорогой пойду,
 Дело его продолжая,
 Но участь написана мне на роду
 Сходная, но другая.

Как недра родные, язык наш щедр,
 И заново вспомнишь и снова
 Неистовый труд разведчика недр
 В поисках верного слова.

1946—1957.

144. ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!

Давних годов пионерские сборы!
Мальчишкам в огне языкатых костров
Чудилось пламя орудий «Авроры»
И высверк буденновских быстрых клинков.

Кому из вихрастых тогда не мечталось
В геройском бою по-геройскому пасть,
Чтоб только три слова на камне осталось:
За Советскую власть!

Мальчишки мужали, мальчишки выросли,
И только бы жить начинать сорванцам,
Как их завертели такие метели,
Какие, пожалуй, не снились отцам.

И кто в сорок первом, а кто в сорок пятом,
Всю душу вложив в неделимую страсть,
Сложил свою голову честным солдатом
За Советскую власть!

Я помню вас в горьких и праведных буднях.
Без вас мы кончали победой войну,
Без вас запускали мы на небо спутник,
Без вас поднимали в степях целину.

Но со всем поколением в сердце несу я
Вашего сердца нетленную часть.
Навек присягаю, навек голосую
За Советскую власть!

(1958)

145. СОТВОРЕНИЕ МИРА

В. В. Софроницкому

Был первый день, а может быть, второй,
Земля и небо встретились глазами,
И юный мир восстал из тьмы ночной,
Оплаканный счастливыми слезами.

И ливни грянули из черных туч,
И свет со тьмой навек разъединился...
Но здесь-то, дерзок, весел и могуч,
Мой пращур из добра со злом родился.

И мальчиком и юношей он был,
И хоть покорность часто метит зрелость,
Он никогда покорность не любил,
И метил ум расчетливую смелость.

Об этом я подумал в ясный час,
Свою судьбу с чужой судьбой сличая...
Как хорошо, что звуки песен нас
Оберегают от звонков трамвая.

А звуки под певучею рукой
То радовались, то в падучей бились,
То гневались... И вдруг, порвав с тоской,
Живительной грозой разразились.

Но кто же это сделал в трудный век?
Бог? Черт? Неведомая сила?
Всё это сделал смертный человек,
С которым грусть меня соединила.

1958

146. ПЕС, ДЕВЧОНКА И ПОЭТ

Я шел из места, что мне так знакомо,
Где цепкий хмель удерживает взгляд,
За что меня от дочки до парткома
По праву все безгрешные корят.

Я знал, что плохо поступил сегодня,
Раскаянья проснулись голоса,
Но тут-то я в январской подворотне
Увидел замерзающего пса.

Был грязен пес. И шерсть свалялась в клочья.
От голода теряя крохи сил,
Он, присужденный к смерти этой ночью,
На лапы буйну голову склонил.

Как в горести своей он был печален!
Слезился взгляд, молящий и немой...
Я во хмелю всегда сентиментален:
«Вставай-ка, брат! Пошли ко мне домой!»

Соседям, отказав в сутяжном иске,
Сказал я: «Безопасен этот зверь.
К тому ж он не нуждается в прописке!» —
И с торжеством захлопнул нашу дверь.

В аду от злости подыхали черти,
Пускались в пляс апостолы в раю,
Узнав, что друга верного до смерти
Я наконец нашел в родном краю.

Пес потучнел. И стала шерсть лосниться.
Поджатый хвост задрал он вверх трубой,
И кошки пса старались сторониться,
Кошачьей дорожа своей судьбой.

Когда ж на лоно матери-природы
Его я выводил в вечерний час,
Моей породы и его породы
Оглядывались женщины на нас.

Своей мечте ходили мы вдогонку
И как-то раз, не зря и неспроста,
Случайную заметили девчонку
Под четкой аркой черного моста.

Девчонка над перилами застыла,
Сложивши руки тонкие крестом,
И вдруг рывком оставила перила
И расплескала реку под мостом.

Но я не дал девице утопиться
И приказал послушному псу:
«Я спас тебя, а ты спасай девицу».
И умный пес в ответ сказал: «Спасу!»

Когда ж девчонку, словно хворостинку,
В зубах принес он, лапами гребя,
Пришлось ей в глотку вылить четвертинку,
Которую берег я для себя.

И дева повела вокруг очами,
Классически спросила: «Что со мной?»
— «Посмей еще топиться здесь ночами!
Вставай-ка, брат, пошли ко мне домой!»

И мы девчонку бедную под руки
Тотчас же подхватили с верным псом
И привели от муки и разлуки
В открытый, сострадательный наш дом.

С утопленницей вышли неполадки:
Вода гостеприимнее земли —
Девицу вдруг предродовые схватки
Едва-едва в могилу не свели.

Что ж! На руки мы приняли мужчину,
Моих судеб преемником он стал,
А я, как и положено по чину,
Его наутро в паспорт записал.

Младенец рос, как в поле рожь густая,
За десять дней в сажень поднялся он,
Меня, и мать, и пса перерастая, —
Ни дать ни взять, как сказочный Гвидон.

В три месяца, не говоря ни слова,
Узнал он все земные языки,
И, постигая мудрости основы,
Упрямые сжимал он кулаки.

Когда б я знал, перед какой пучиной
Меня поставят добрые дела:
Перемешалось следствие с причиной,
А мышь взяла да гору родила!

В моем рассказе можно усомниться
Не потому, что ирреален он,
Но потому, что водка не водица,
А я давно уж ввел сухой закон.

И в этот вечер я не встал со стула.
История мне не простит вовек,
Что пес замерз, девчонка утонула,
Великий не родился человек!

Январь 1959

147. У КОНТОР АЭРОФЛОТА

У контор Аэрофлота
Подтверждают расписанья,
Что стремительность полета
Сокращает расстоянья.

Не прошло еще и века,
Как проселками России
К месту мчали человека
Лишь упряжки почтовые.

А давно ли только рельсы
Нам свиданья упрощали
И судов неспешных рейсы
Переkreщивали дали?

Не кибитка, а кабина,
Небо, а не первопуток...
От Москвы до Сахалина
Мы летим за трое суток.

Плохо только, что науке
Остается не по силам
Обезболить дни разлуки,
Грусть-тоску по нашим милым!

Июнь 1959

148. НАД ОКЕАНАМИ

Наш самолет, взревев мотором,
Поднялся, в синь морскую взмыв,
Где полузамкнутым простором
Берингов пенился пролив.

И как над картою раскрытой,
Через разреженный туман,
Я слева видел Ледовитый,
А справа Тихий океан.

Я видел, как внизу под нами,
Вздымая скалы в облака,

Грозясь друг другу берегами,
Вставали два материка.

Но, судьбы мира предрешая
И знаменуя общий мир,
Сидел со мной у входа с края
Десятилетний пассажир.

У Диомидов и Алясок
Дочь причукотской стороны
Листает книжку русских сказок,
Соцветья русской старины.

Вон там, где всё нам не знакомо,
Где время на день отстаёт,
К Уэльсу напрямик от Нома
Летит такой же самолет.

Как мы, летит он спозаранку,
И в нем, храня серьезный вид,
Какая там «американка», —
Американочка сидит.

Она над этим морем пенным
Идет за сказкой в светлый лес,
Вдоль тихих строк за Питер Пенom,
Алисою в стране чудес.

Спокойно девочки читают,
Над океаном синий штиль,
И нас сегодня разделяют
Всего каких-то сорок миль.

Здесь обозначился разрывом
Над древним морем древний путь.
Нам над Беринговым проливом
Лишь стоит руку протянуть.

И наши смелые народы,
Достать сумевшие до звезд,
Во исправление природы
Здесь восстановят давний мост.

Наш самолет, взревев мотором,
К земле накренился ребром.
Навстречу нам косым простором
Дежнёвский плыл аэродром.

1959

149. УЛИЦА КАМИЛЛА ДЕМУЛЕНА

Он был наивно гордым,
Декрет уездной власти,
Хоть бой вели под городом
Деникинские части.

Воспринятый как вызов,
Менял он, дерзко нов,
Дощечки у карнизов
Обшарпанных домов.

Он улицам названия
Переменял исконные...
О, наименования
Революционные!

В них переписан наново
Истории закон —
На улице Ульянова
Главенствует уком.

Жестокая расплата,
Нешадная рука —
На улице Марата
Всю ночь не спит Чека.

Здесь души не застудятся,
Пылая вдохновенно,
Раз имя носит улица
Камилла Демулена.

И все слова поются,
И песни хороводят, —

На площадь Революции
Не зря она выходит.

Во времена опасные,
Прекрасные и смелые
На ней отряды красные
Громили банды белые.

И праздновала праздники,
И горевала горести,
Дела катили разные
По ней на разной скорости.

И в памяти ей крепкие
Оставили заметки
Заломленные кепки
Первой пятилетки.

Грустила об утратах,
О молодости яркой,
Когда в конце тридцатых
Ее называли Парковой.

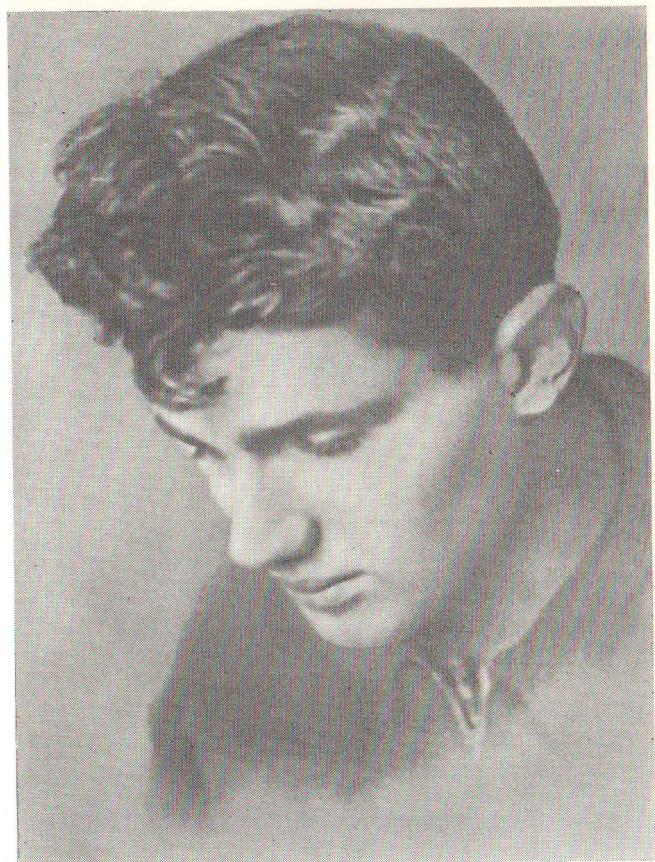
Легли морщины хмурые
На каменном лице.
Разбит был парк культуры
Совсем в другом конце.

Глядела с думой тяжкой
На зримые отсель
Чугунную фуражку,
Чугунную шинель.

Прошли года над городом,
Прошли крутой дорогою.
В своем решении твердом
Перерешили многое.

И на другие нужды
Десятки тонн металла,
Для лучших целей нужные,
Убрали с пьедестала.

Название закрашенное
Память отмывает,





Давнишнее, бесстрашное
Всё четче проступает.

Друзья! Мой тост за улицу,
Влюбленно и надменно, —
За улицу-разумницу
Камилла Демулена!

1959

150. РОЖДЕНИЕ СТИХА

Дай на минуту отдых глазу
И вдруг в одно соедини,
Что на тебя свалилось сразу
И оглушило в эти дни.

Зажмурясь, ты увидишь снова
Корявых скал густую тушь,
Наплыв волны и мыс Дежнёва
В лохматых космах мокрых туч.

И снеговой ручей в ложине,
И белый блеск известняков,
И угол моря в мешанине
Бурунов, птиц и облаков.

Не заплутаться б в этой гуще,
Она темна и холодна,
И с каждым днем она всё гуще,
И в ней давно не видно дна.

Но красок мертвое скопление
Нежданным блеском обожжет,
И незнакомое явление
Рождение в образе найдет.

Тут слово поглощает скалы,
В строку вжимается простор
И превращается в кристаллы
Перенасыщенный раствор.

1959

Пожелтевший листок,
Шелком выткана роза,
В заключение строк
Стихотворная проза.

Память давних тревог!
На страницах старинных
Вновь встает между строк
Облик твой, Катарина!

В хмурый день января
Возле строк Катарины
Бороздили моря
Среди волн бригантины.

И неспешно во мгле
Грязь месили кареты,
И тревог на земле
Долго ждали рассветы.

Кто ж тревожной порой
В дом вошел спозаранок,
Кто нарушил покой
И господ и служанок?

Ах, лебяжьим пером,
В окруженье соседок,
Подпись в этот альбом
Не вписал ли мой предок?!

Скинут ментик с плеча,
Сабля брошена в угол...
И погасла свеча
С неподдельным испугом.

Скрылись враз за стеной
Удивленные лица...
Он альпийский герой
И герой Аустерлица.

Полк пускается в путь,
Были сутки на роздых.

Как желанно вдохнуть
Зимний утренний воздух!

Провожая рассвет
И бахвалясь посадкой,
Русской службы корнет
Машет немке перчаткой.

Он сведет под огнем
Старый счет с Бонапартом.
Катарина о нем
Погадает по картам...

А на старости лет
Вспомнит вслух над вязаньем,
Как девицу корнет
Осчастливил вниманьем.

Пожелтевший листок,
Шелком выткана роза,
В заключение строк
Стихотворная проза.

Пыль давнишних дорог!
Как свежо и старинно
Вновь встает среди строк
Облик твой, Катарина!

Не старушкой седой,
Не с вязальной спицей,
Но вот той, молодой,
Романтичной девицей.

Я увидел альбом
На дубовом прилавке,
В лавке книжной о нем
Книжки вспомнили в давке.

Потеснились они
Всей компанией честной,
Вспомнив давние дни
Вместе с давней невестой.

И, как прежде юна,
С тихой строчки альбома

Сразу встала она,
Сразу стала знакома.

Эту милую тень
За четыреста марок
Дал мне в спутницы день
Не в покупку, в подарок.

Со страницы сойдя
Среди улиц Шверина,
В моросинках дождя
Шла со мной Катарина.

Теплый радостный дождь
Мекленбургского лета...
Как легко ты идешь,
В плащ из капель одета!

Катарина моя!
Вот как мы повстречались...
Только ты, только я
В зыбком мире остались!

Взгляд скрестивши со мной,
Говорит чужеземка:
«Победитель ты мой,
Я ж природная немка.

Мы чужие...» Как знать,
Есть ли выше награда
Вместе вдруг получать
Счастье с первого взгляда?!

Мне-то что! Мне-то что!
Шепчет общий наш предок:
«Как сошлось хорошо!
Выбор крови так редок».

Ты мой ранний портрет,
Только мягче чертами...
Ах, треклятый корнет,
Он встает между нами!

Злись, гневись, негодуй!
Но склонись пред прозреньем.

Каждый наш поцелуй
Дышит кровосмешеньем.

Он исчез, как возник,
Он пропал, как явился...
И сверкающий блик
Прямо в сердце вонзился.

Катарина!.. С нее
Терпкий взгляд не свожу я.
Отражение свое
Снова в ней нахожу я.

Глупый ангел слетел:
«Все мы сестры и братья,
Все белы словно мел,
Все чисты без изъята».

Вздрогнул горестно я:
Где ты, злость? Где ты, жалость?
Катарина моя,
Ты испуганно сжалась!

Мимо смотрит она:
«Я лишь знак человека.
Между нами стена
Ослепленного века».

Молчаливо в ответ
Ей сжимаю запястье,
И кладется запрет
На двойное несчастье.

Исчезают черты,
Расплываются в дымку,
Превращаешься ты
На глазах в невидимку.

И уходишь ты вспять,
В то, что прежде знакомо.
Ты ложишься опять
На страницу альбома.

Пожелтевший листок,
Шелком выткана роза,

В завершение строк
Стихотворная проза.

Свет давнишних дорог!
Катарина! . .

1955—1960

152. ТАНЕЦ КИТА

Под крутыми небесами
Я в плену себя сыскал,
Под началом древней саги,
Белых волн и черных скал.

Из диковинного плена
Я в Москву к себе увез
Летний вечер Уэлена
С близким блеском дальних звезд.

Вечер тот был мною встречен
По дороге в никуда.
Был расцвечен этот вечер
В краски праздника кита.

Там тогда из бурь крылатых
Неизведанных времен
Появился старый Атык,
Словно дух явился он.

Дух охоты и веселья,
Среди нас он так возник,
Как в пиру на новоселье
Всех гостей заздравный крик.

Начиная песней пляску,
Перед сотней зорких глаз
Про кита завел он сказку
И о нас повел рассказ.

Жесты кратки,
Жесты четки,

Всё — в сейчас, и всё — в потом.
Он в качающейся лодке,
Он в погоне за китом.

Море пело в пенной дымке,
За буруном шел бурун.
По киту — невидимке —
Бил невидимый гарпун.

Атык вдруг полуприметный
Поворот придал плечу —
И подбитый кит
Ракетой
В цирковую взмыл свечу.

Тут ладони острым краем
Атык линию чертит.
«Отгребаем?..»
— «Отгребаем!»
Рядом с лодкой рухнул кит.

Возвращаемся с добычей.
К нам спешат со всех сторон...
Атык свято чтит обычай,
Отдает киту поклон.

Мы, мол, злобе были чужды,
Из нужды, мол, он убит...
Входит кит в людские нужды,
И людей прощает кит.

По спине прошли морозом
Непонятные слова...
Атык бубен бросил оземь,
Атык пот смахнул со лба.

В этой пляске, в действе странном,
Многозначном и простом,
Был он сразу океаном,
Человеком и китом.

Неуклюжий чужестранец,
Грубый мастер ладных дел,
Я на дивный этот танец
С дивной завистью глядел.

Это был мгновенный отклик,
«Гвоздь» на целых пять столбцов
С четким фото наших лодок
И с портретами гребцов.

В нем имел свое значенье
Каждый жест и поворот.
Он вставал, как обобщенье
Тысяч ловель и охот.

Но его большая тема
Выходила за столбцы,
И несла нас вдаль поэма,
В незнакомые концы,

Где забытые дороги
Нас вели к забытым снам
И неведомые боги
Открывали тайны нам.

И была в нем суть раскрыта,
Смысл искусства воплощен
От времен палеолита
Вплоть до нынешних времен.

*1959—1960
Чукотка — Москва*

153. АТЛАНТИДА

Толщи вод угрюмо сохранили
Память об исчезнувшей земле
В десятитысячелетнем иле,
В десятитысячелетней мгле.

Древний мир врасплох настигла гибель.
В письменах залитых лавой плит
Спит дофараоновский Египет,
Глухо дремлет доминойский Крит.

Тишина слепая и немая,
В ней сквозят теченья наугад
И, лениво тину поднимая,
Водоросли тихо шевелят.

Лишь слегка разрежены потемки,
Где поверхность сразу стала дном.
Там фосфоресцируют обломки
Синеватым, мертвенным огнем.

В гнев незапамятного года
Твердь разверзла огненную грудь,
И у человеческого рода
Оборвался начатый здесь путь.

Ничего земле не завещала
Бессловесная морская гладь.
Найденные ощупью начала
Приходилось заново искать,

Чтобы после множества исканий
Над людьми опять зажегся свет
Прочно позабытых сочетаний
Красок, звуков, чисел и планет.

Были ль наши тайны им известны —
То, что знаем нынче мы с тобой?
Бесполезно спрашивать у бездны,
Равнодушной, зыбкой и слепой.

Но века, между собою слиты,
Не на нас ли завершат свой счет?
Темное виденье Атлантиды
Перед миром сызнова встает.

Неуемный человеческий гений
Космоса услышал звездный гул.
За порог божественных свершений
Дерзкий человек перешагнул.

В животворной протоплазме клеток,
В нитях нуклеиновых кислот
Человек в дерзчайшей из разведок
Бытия разгадку узнает.

Может быть, из давней крутоверти
Выйдем мы к заветным берегам
И, прильнув к источнику бессмертья,
Вечным уподобимся богам?

Или же в каком-нибудь проклятом,
Нами не угаданном году
Вместе с нами расщепленный атом
Остановит землю на ходу?

Оборвутся торные дороги
У полуоткрытых берегов...
И людьми погибнут полубоги,
Не дождавшись участи богов?

Но в легенде о земле сожженной
Древний мир во тьме глухих времен,
Бедствием в пучину погруженный,
Был самой природой обречен.

Там иного не было решенья,
Не пойдешь противу естества.
Мы же сами силы разрушенья
Разбудили в недрах вещества.

Не лови ненужную подсказку,
Есть одна-единственная нить:
Раз уж мы придумали завязку,
То развязку сможем изменить.

1961

154. ПЕСНИ КОМИНТЕРНА

Анталу Гидашу

Забытой песней детство
Поднимется,
Когда
Попробую взглядеться
В примолкшие года.

И, разрезая зримо
Незримую черту,
Я вижу берег Крыма
В разреженном чаду.

Срываясь вдаль с откоса,
Колебля горизонт,
Звенит «Бандера росса»,
Гремит «Рот фронт».

Не стелются, не льются,
В них медный слышен гуд, —
Солдаты революции
Вершат над миром суд.

Живут как в зримом чуде,
И юны и седы,
Невиданные люди
Неслыханной судьбы.

В каких потом восстаниях
Они встречали дни,
В каких они Испаниях
Сожгли свои огни?

Пусть, встреченные смертью,
Погасли их глаза, —
Как прежде, в лад столетью
Звучат их голоса.

Уж то необоримо,
Что в счастье и в беду
Я вижу берег Крыма
В разреженном чаду,

Где море дышит мерно
И, накаляя зной,
Песни Коминтерна
Пылают надо мной.

1961

Мне всегда казалось слишком скушным
Применяться к дошлым или к ушлым.

С ними поравняться я не чаю,
Я свое с избытком получаю.

Неважнецкий для поэта выход
В приисканье каждодневных выгод.

Ведь от скольких я забот избавлен,
Сколькими заботами оставлен!

Не гадаю на кофейной гуще,
Где улов жирнее или гуще.

Для крючков червей не подбираю.
Кольчатые! Трону — обмираю!

Подсекать не стану на блесну я,
Лучше уж удачей не блесну я.

Не люблю обмана в этой штуке,
Черт бы с вами, окуни и щуки!

Завяжу жерлистую рубаху,
Золотую вытащу рыбеху!

Мне всегда казалось слишком скушным
Применяться к дошлым или к ушлым,

А в конечном счете-то едва ли
Лучшее они приобретали.

Всё из третьих рук им доставалось —
Даже бесполезная усталость.

Но зато в свечение отраженном
Хорошо жилось их мудрым женам.

Но зато упитанные кресла
Берегли их вдумчивые чресла.

Их вело не то, что освещало,
Их звало лишь то, что насыщало.

Не жар-птица — огненная дура,
Жареная птица — конъюнктура.

Жили — только жизнь загромождали,
Из навозной кучи грома ждали.

Всё у них бывало шито-крыто, —
А в конце — разбитое корыто.

3

Мне всегда казалось слишком скушным
Применяться к дошлым или к ушлым.

Мы живем в меняющемся мире,
Дважды два в нем не навек четыре.

Взгляд следит в пучине темно-синей
За схождением параллельных линий.

И в сквоженье междузвездных странствий
Годы ужимаются в пространстве.

Почему же в жизни до сих пор мы
Видим лишь сложившиеся формы?

Время плавит льдистые зазоры,
Время с наших глаз срывает шоры.

В мастерских Уверенной Надежды
Ткутся людям новые одежды.

Предлагай хоть четвертную плату,
Ты не заполучишь их по блату.

Не придутся тем они по мерке,
У кого сердца в груди померкли!

Мне всегда казалось слишком скушным
Применяться к дошлым или к ушлым.

1961

156. ЭЛЕГИЯ

Над прелью цветной и стоячей
С вечерних до утренних пор
Победно гремит лягушачий
Отменно откваканный хор.

А как исполняется соло!
Певица собой невидна,
Но в голосе слышится школа,
Исчерпанная до дна.

И трелью умеет залиться...
Но тут из кустов — цап-царап!
Не вырваться бедной певице
Из цепких заgreбистых лап.

У кошек — французские вкусы,
Ворчат, припадая к земле,
Урчат, полосатые гнусы,
Лягушье вкушая филе.

Под эти простые решенья,
Под эту жестокую явь
Поэтов не ставь голошенья
И критиков наших не ставь.

Не только что свету в окошке
Такой подтекстованный взгляд,
Ведь, право, реальные кошки
Реальных лягушек едят.

Их бог меж собою рассудит,
А стих и написан затем,
Что не было, нет и не будет
Запретных сюжетов и тем!

1962

157. БАЗАРНАЯ ГАЛАТЕЯ

Я русалку купил на рынке,
Все глазели, кому не лень,
Лишь во мнениях вышла заминка —
То ли рыба, то ли тюлень.

Вышла боком мне эта затея.
На рассвете, часу в шестом,
Вдруг с холста сползла Галатея,
Та, базарная, с рыбьим хвостом.

Навалилась мясистой глыбой,
Распластала ручищи свои.
И запахло протухшей рыбой
От просклизлой ее чешуи.

«Ты на Клязьме местечко вызнай,
Распрекрасно там заживем,
Обожаю червей и слизней,
Я их лопаю прямо живьем.

А какая в заводах тина,
Вот раздолье-то для меня...»
— «Ах ты, пакостная картина,
Безответственная мазня!

Брысь на стенку!» И, всхлипнув, русалка
Вновь залезла на грубый холст,
Мне на миг ее стало жалко,
Но вопрос был не так-то прост.

Средств ишу от нее надежных...
Сжечь? Изрезать? Как бы не так!
Тут звонит мне один художник
И зовет побывать в гостях.

Жил он плотно, а ел неплотно,
Он вкушал то, что бог послал,
И эпические полотна
В силу этого замышлял.

А характер — звезды и ветер!
А талант — Гогену под стать!
И вот в этот треклятый вечер
Я решил его испытать.

В чарку друга я дунул-плюнул
И, к полночи вконец spoив,
Ту русалку ему подсунул
Как изысканный примитив.

После долго его не видел...
В третий раз пожухла листва.
Посмотреть бы на новый выдел:
Всё ж талантище!.. Голова!..

Я на выставке взглядом мерю
Все полотна одно за другим,
Подошел — и глазам не верю,
Нет, не верю глазам своим.

Разве это картины? Картинки!
Он ли это, возьми его прах!..
Зажелтели вовсю кувшинки
На подернутых ряской прудах.

На мели у берега плоского
Мертвой щуки живой оскал...
Подмосковного Айвазовского
Еле-еле я разыскал.

Перекроена вся квартира!
Не под ясень, не под орех, —
Мебель цвета рыбьего жира
Выдает хозяинов грех.

Ну а центр всей квартиры — ванна.
Метров двадцать. Не ванна — пруд!
И четыре огромных крана
Прель зеленую в ванну льют.

Из шикарной рамы-обновки,
Повальяжнее став на вид,
Цепким взглядом базарной торговли
Мне русалка в глаза глядит.

Вот, оказывается, в чем дело!
Нраву бабьему подчинясь,
В инородное это тело
Парень влип, как пушкинский князь.

Я опомниться князю не дал,
Хвать русалку — и прочь бегом
Под осенним промозглым небом
И таким же промозглым дождем.

У меня есть друг композитор,
Некий Мусоргский средних сил.
Я с русалочьим реквизитом
По пути к нему заскочил.

Как увидел он мой холстище:
«Хо-хо-хо! — гремит. — Ха-ха-ха!
Ну, откуда, скажи, дружище,
Эта дикая чепуха?

Что же, в доме она не помеха,
Не соскучишься вместе с ней.
Дай возьму ее ради смеха
Веселить подруг и друзей».

За горячим стаканом чаю
Унимаю зябкую дрожь.
«Ладно, смейся! — ему отвечаю. —
Что-то после ты запоешь».

Через год, по такой же погоде, я
Захожу, поиграл мне чтоб...
И базарная взвыла мелодия,
И слышался рыночный треп.

Я — ругаться! А он: «Потише,
Разберемся, кто прав, кто не прав:
Набегает мне в месяц по тыще
В Управлении авторских прав».

От значительного молчания,
От лица твердогубых черт
Я примолк. И просто с отчаянья
Навязался к нему на концерт.

Думал: может, утешусь в горе я,
Вдруг нажмет на другую педаль.
Всё ж Московская консерватория,
Черный фрак и черный рояль!

Заиграл — и валом зловоние,
Даже клавиш померкнул блеск!
Не симфония. Ква-ква-кония!
А в финале — сазаний плеск.

В зале ржут музыкальные кони,
Кобылицы взвились на дыбы...
Он увидел меня на балконе
В роли зама надвечной судьбы.

В гулком гвалте гремящего зала
Слышу тихое слово: «Спасай!...»
Но ничто не спасет от провала,
Замсудьбы, я хватил через край.

Всё ж бегу что есть мочи на сцену.
Глядь, русалка! В глазищах испуг.
«Забирай-ка ты эту сирену», —
Говорит оскандаленный друг.

Здесь не к месту вопросы-расспросы,
И под публики воющий гул
Я схватил русалку за косы
И пинками в холст запихнул.

Чем же кончу стихотворенье?
Чем читателю удружу?
О последнем ее водворенье
Напоследок я расскажу.

Расхвалив красоты картины,
Я с завмагом, один на один,
За кило отварной осетрины
В рыбный отдал ее магазин.

Всё, казалось бы, честь по чести,
Тяжкий груз я сбросил с души,
И русалка вроде на месте,
Ну а дальше хоть не пиши.

Прослезится даже бумага,
Причитаньями зашуршит.
Ну и жизнь пошла у завмага:
В «Волге» ездит, коньяк глушит.

Он за месяц отстроил дачу,
Зятю с дочкой отгрохал дом...
Только в кассе нашли недостачу,
Дело, кажется, пахнет судом.

Защищаю завмага смело,
Он не сват мне, не брат, не друг.
Я-то знаю, чье это дело,
Мне известно, чьих оно рук!

1963

158. ТЕНЬ

Застыло солнце над тобой,
Оно взошло в зенит,
И жар, сухой и голубой,
Тугой струной звенит.

И белый свет, бессонный свет
Горит на дне зрачка.
И смерти нет, и страха нет,
И тени ни клочка.

Боится тень себя назвать,
Она, избави бог,
Не смеет носа показать
Из-под твоих сапог.

Но лишь за полдень ты пойдешь,
Шагам откроешь счет,
Как тень из-под слепых подошв
Неслышно прорастет.

Всю грязь дорог и пыль путей,
Всю дрянь, что лезет в рот,
Ошметки всех твоих затей
Она в себя вберет.

Шагать ты будешь дотемна,
Не повстречавшись с ней,
А забежит вперед она —
С ней справиться сумей.

И тень свою в конце пути,
Не отступая вспять,
Хоть и не сможешь перейти,
Но сможешь растоптать.

1963

Не станут на пустошах станы,
 Не встанут друзья из земли...
 Вчерашние капитаны
 В полковничий возраст вошли.

Еще далеко до отставки,
 И вроде мы служим не зря,
 Но загодя краткие справки
 Нам пишут уже писаря.

Ну что их, спокойных, встревожит?
 Каким беспокойным ни будь —
 В похожие строчки уложат
 Несхожий с похожими путь.

А дома бушует орава
 Драчливых и шумных детей...
 Неверная женщина — слава
 Не может прожить без затей.

Семейная тянется ссора,
 Живем без взаимной любви.
 Бросает она без призора
 Стихи и поэмы твои.

На тихое слово: «Отстаньте!» —
 Полковник гремит, раздражен:
 «Ну, что ты нашла в лейтенанте?
 Ведь всем же известно, что он...»

Но незачем спорить с супругой,
 Она, закусив удила,
 Уходит походкой упругой
 В чужие стихи и дела.

Пригубить звенящее слово
 С настоящим гусарской тоски
 И чокаться с зеркалом снова,
 Пока не расколешь в куски?

Но громче печалей условных
 Звучит безусловная медь:

«Не должен советский полковник
Такое и в мыслях иметь!

В семье забываешь про службу,
Читай уставные права! . . .»
Ну что же, не в службу, а в дружбу
Те медные примем слова.

Послужим в большом или в малом,
Уж в службе-то знаем мы толк.
Стоит у меня под началом
Умело обученный полк.

Выходят на горные склоны
В поэзии общем строю
Гвардейских стихов батальоны —
Ребята что надо в бою.

Я слышу приказ наступленья,
Опять выхожу я на стык,
Но фланг своего поколенья
Держать я на стыках привык.

1963

160. ВРЕМЕНА ГОДА

В лоснящейся саже весеннего луга,
В дымных чащобах мятущихся верб
Синим пожаром бесчинствует Луга,
Бьет и на цвет, и на слух, и на свет.

Река из весны прорывается в лето,
Лето в семь радуг с утра разогрето,
Вовсю семицветным пылают накалом,
И Луга под радуги входит накатом.

Луга из лета врывается в осень,
В осень огнистых размашистых сосен,
Пламенных ветел и жарких берез,
Ждущих — воды из ушата — мороз!

Луга из осени ринется в зиму,
Непогасима и непоразима, —
Горячая вьюга, палящая вьюга! —
И снова пожаром метелится Луга...

Мы с вами таким же горением живы,
И плавит текучее солнце нам жилы,
В крутых берегах не теряется след,
Слепит новизною приречный рассвет.

Летят времена безоглядного года,
По времени — небо, по небу — погода,
Но связью времен обжигает горенье
И зажигает стихотворенье.

1964

161. ВСТРЕЧА

Чертежная пристальность взгляда,
В канун сорок третьего взгляд...
Васильевский. Вьюга. Блокада.
Идет по сугробам солдат.

Он в город отпущен сегодня,
А завтра назад поутру...
Застывшая тень в подворотне
Качнулась на резком ветру.

Девчонке не плохо, а худо,
Но хуже, пожалуй, нельзя.
И все-таки жаркого чуда
Озябшие ждали глаза.

Всё древнее сызнава ново,
А чудо в обличье живом
Буханкою хлеба ржаного
Лежало в мешке вещевом.

Оно, как надземная милость,
В глагол превращая число,
В солдатских руках появилось
И в девичьи перешло.

Так долго звенело мгновенье,
Так накрепко взгляды слились,
Что вечности дуновенье
Коснулось обветренных лиц.

И всё было горько и просто,
И девочку обнял солдат,
И вместе им были по росту
Блокада, Война, Ленинград.

Потом поклонились друг другу,
И каждый дорогой своей
Пошел через зимнюю выюгу,
В морозную ночь без огней.

Пошли и пошли без оглядки,
И вот через годы вдвоем,
Взойдя по страницам тетрадки,
Встречаются в сердце моем.

1965

162. СОБАКИ НА КОМАНДОРАХ

Над тундрой разносится вой, нарастая,
По тундре летит полумесяцем стая.
В гон она гонит, пути перекрыв,
Стадо оленьё на голый обрыв.

Олени людскими кричат голосами,
Олени разумными плачут слезами,
Но древних погонь и новейших охот
Неясно начало, но ясен исход.

Давно голошение псов одичалых
Мне слышалось на командорских причалах.
Я взглядом следил среди топких саванн,
Как мчит под луной их кочующий стан,

Рабскую жизнь напоследок облаяв,
Сбежали они от постылых хозяев,
От плеток, от будок, от скудных харчей,
От будничных дней и унылых ночей.

Преданы новому вероученью —
Вперед к дособачью, к доприручению! —
Сбросив привычек невольничьих груз,
С нами они разорвали союз.

Своя у лохматых по жизни дорога,
Что им до кесаря, что им до бога?
В конце-то концов в незапамятный век
Сначала был пес, а потом человек.

Здравствует в диспутах, сварах и спорах
Собачья республика на Командорах.
И вправе бы ей позавидовать мы,
Когда б не случалось на свете зимы.

Зимой холодны командорские ночи,
И псы возвращаются поодиночке.
Их ждет у порога хозяйский пинок,
Но прочная кровля и миска у ног.

По человеческому нраву и праву
На псов, я считаю, нам нужно управу,
А самоуправство — неслыханный вздор,
Так издавна было, так есть до сих пор.

Но дремлет в душе неумное свойство,
Но где-то мне дорого их своеволие,
И давний сторонник беспривязных слов,
Я досажую на покорившихся псов.

1965
О. Беринга

163. НАЛОГ С ХОЛОСТЯКОВ

На острове Медном холодные ветра,
Но скинули ребята тугие свитера,
Довольны ребята удачливой судьбой,
Встречают ребята плановый забой.

Никто не поддастся жалостным словам,
До такой работы люди голодны:

Сходная работа — бей по головам,
Славная работа — платят с головы.

А котики плачут — слезы по усам,
Палками их лупят по горестным носам,
Точно оглушат — замертво падут,
Мимо промахнутся — опосля добьют.

Не торопитесь ругать наперебой,
Это не бойня, а плановый забой,
И в котичьей драме, где жертв не счесть,
Толика жестокого юмора есть.

Здесьний закон, ну чем не хорош,
Самок, детенышей, секачей — не трожь,
Хорошей шубы из них не сошьешь,
На шубу годится только холостежь.

Грузные, гривастые, седые секачи
Смотрят равнодушно на красные ручки,
И самочки глазают — мол, пара пустяков! —
Как бьют их обожателей, бьют холостяков.

Они проиграли брачные бои,
Шансы — балбесы! — проспали свои,
И, вчу же глядя на горький их плач,
«Так вам и надо!» — думает секач.

Были бы покрепче, позлей да поумней,
Нас бы одолели у острых камней,
И тот, что дубиной сейчас оглушен,
Нежился б сейчас среди ласковых жен.

А на победителях лежит табу,
Спокойны они за свою судьбу,
Год от году грубеет мех,
И люди дают им жить без помех.

Ценного промысла крепкий оплот,
Гарем берегут и множат приплод,
И в боях утверждают свои права
Населять неприютные острова.

Но если на гребне удачных атак
Поднимется к ним молодой холостяк,

Его как равного примут в круг,
Честь, мол, и место, милейший друг.

А проигравший битву старик
Уйдет, подавив недовольный рык,
Век доживать к другим старикам,
Драным шкурам, тупым клыкам.

Хватит, пошутили, кончать пора,
Крайне мне не нравится эта игра,
Оставить бы в покое котиков нам,
Дать им гулять по морям, по волнам.

Дать им миловаться и драться меж собой,
Дать им разбираться с собственной судьбой,
И на берегах привольных островов
Вовсе отменить налог с холостяков.

1966

О. Медный

164. ЗЕЛЕННЫЕ ДВОРЫ

На улицах Москвы разлук не видят встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в
Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.

Со всех сторон я слышал ровный шорох,
Угрюмый шум забвений и утрат.
И было им, как мне, давно за сорок,
И был я им давным-давно не рад.

Июльский день был жарок, бел и гулок,
Дышали тяжело окна и дворы.
На Пятницкой свернул я в переулок,
Толпу разлук оставив до поры.

Лишь тень моя составила мне пару.
Чуть наискось и впереди меня,
Шурша, бежала тень по тротуару,
Спасаясь от губительного дня.

Шаги пошли уже за третью сотню,
Мы миновали каменный забор,
Как вдруг она метнулась в подворотню,
И я за ней прошел в зеленый двор.

Шумели во дворе густые липы,
Старинный терем прятался в листве,
И тихие слышались мне всхлипы,
И кто-то молвил: «Тяжко на Москве...

Умчишь по государеву указу,
Намучили меня дурные сны.
В Орде не вспомнишь обо мне ни разу,
Мне ждать невмочь до будущей весны».

Ливмя лились любовные реченья,
Но был давно составлен приговор
Прообразам любви и приключенья,
И молча я прошел в соседний двор.

На том дворе опять шумели липы,
Дом с мезонином прятался в листве,
И ломкий голос: «Вы понять могли бы,
Без аматёра тяжело на Москве.

Сейчас вы снова скачете в Тавриду,
Меня томят затейливые сны.
Я не могу таить от вас обиду,
Мне ждать нельзя до будущей весны».

Нет, я не взял к развитию интригу,
Не возразил полслова на укор,
Как дверь, закрыл раскрывшуюся книгу
И медленно пошел на третий двор.

На нем опять всю шумели липы,
Знакомый флигель прятался в листве,
И ты сказала: «Как мы несчастливы,
В сороковые тяжело на Москве.

Вернулся с финской и опять в дорогу,
Меня тревожат тягостные сны.
Безбожница, начну молиться богу,
Вся изведусь до будущей весны».

А за тобой, как будто в зазеркалье,
Куда пройти пока еще нельзя,
Из окон мне смеялись и кивали
Давным-давно погибшие друзья.

Меня за опоздание ругали,
Пророчили веселье до утра...
Закрыв лицо тяжелыми руками,
Пошел я прочь с последнего двора.

Не потому ли шел я без оглядки,
Что самого себя узнал меж них,
Что были все разгаданы загадки,
Что узнал был слагающийся стих.

Не будет лип, склонившихся навстречу,
Ни теремов, ни флигелей в листве.
Никто не встанет с беспокойной речью,
Никто не скажет: «Тяжко на Москве».

Вы умерли, любовные реченья,
Нас на цветной встречавшие тропе.
В поступке не увидеть приключения,
Не прикоснуться, молодость, к тебе.

Бесчинная, ты грохотала градом,
Брала в полон сердца и города...
Как далека ты! Не достанешь взглядом...
Как Финский, как Таврида и Орда.

Захлопнулись ворот глухие вежды,
И я спросил у зноя и жары:
«Вы верите в зеленые надежды,
Вы верите в зеленые дворы?»

Но тут с небес спустился ангел божий
И, став юнцом сегодняшнего дня,
Прошел во двор — имущий власть
прохожий, —
Меня легко от входа отстраня.

Ему идти зелеными дворами,
Живой тропой земного бытия,
Не увидеть увиденного нами,
Увидеть то, что не увижу я.

На улицах Москвы разлук не видят встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.

1966

165. ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕФОН

Трубка подпрыгивает, звеня,
И снова я повторяю:
«Придется вам обойтись без меня,
Завтра я умираю.

Да, так сказать, покидаю свет.
Идут последние сборы.
У меня, понимаете, времени нет
На лишние разговоры.

Я б ради вас игнорировал смерть,
Раз ей подвержены все мы,
Но мне до завтра надо успеть
Окончить две-три поэмы.

Книжку стихов отправить в печать
И, постаравшись на совесть,
В прозе успеть еще написать
Средних размеров повесть.

В них до завтрашнего числа
Надо красиво и просто
Решить проблему добра и зла
И смежные с ней вопросы.

И снова стихи, стихи, стихи.
Книжка. Сборник. Тетрадка.
На эти праздные пустяки
Вся жизнь ушла без остатка.

А прежде чем в дверь толкнуться плечом
И неизбежное встретить,
Себя напоследок спрошу кой о чем
И вряд ли смогу ответить.

Меня с порога потом не вернут,
А до того порога
Осталась какая-то тыща минут,
А это не очень много.

Пожалуй, в дорогу с собой возьму,
Всё остальное брошу,
Свои зачем, отчего, почему —
Единственно ценную ношу».

Трубка подпрыгивает, звеня,
И снова я повторяю:
«Придется вам обойтись без меня,
Завтра я умираю».

И снова всем говорю в ответ:
«Идут последние сборы.
У меня, понимаете, времени нет
На лишние разговоры».

17 августа 1967

166. РУССКИЙ ПОСОЛ ВО ФЛОРЕНЦИИ

Пускай живет по-бесерменски,
Кто хочет в ад попасть живьем...
В латинском городе Флоренске
На свой обычай мы живем.

Соблазн чужого своевольтва
Не ввергнет нас в постыдный грех.
Стоит Великое посольство
На том, что мы превыше всех.

Что в древлей вере мы не шатки,
Что всё как было будет впредь...
В двух шубах и в горлатной шапке
В июльский полдень буду претть.

Осипну в споре с толмачами,
Сличая с нашим ихний слог,
Чтоб нужных строк не умолчали,
Не переврали б важных строк.

Нет, это дело не простое,
Терпя жару и маету,
Заставить Дука слушать стоя,
Пока я грамоту дочту.

В ней речь о том, что к пущей славе,
К приумножению красы
Нужны искусники Державе,
Нужны умельцы на Руси.

Зане мы в них имеем нужду,
То за ценой не постоим.
Пускай Москве сослужат службу,
Москва да будет третий Рим.

Во славу нашу бессермены
Помогут грешною рукой
Воздвигнуть башни, церкви, стены,
Твердыню над Москвой-рекой.

Тут не нужна, избави боже,
Ума лукавая игра, —
Нам мастера нужны построже,
Нужны потверже мастера.

А то и в немцах и в латинах
Одни разврат и баловство.
Везде на расписных холстинах
Нагое видишь естество.

В цветах диковинных поляны,
А вокруг полян, смущая взгляд,
Русалки, ведьмы и полканы
Бесстыжим мрамором блещут.

Но сколь прелестна эта скверна!
Я сам поддался сатане,
И баба голая Венерка
Мне стала чудиться во сне.

Вконец намучусь и намычусь,
Но всё ж до проку доберусь.
Лаврентий прозвищем Медичис
Пошлет искусников на Русь.

Наказ исполню государев
И успокоюсь без затей
Подальше от заморских марев
В тишайшей вотчине своей.

1966—1967
Флоренция — Коктебель

167

Две тыщи... Новой только эры!
Что не случилось с той поры?
Забылись нравы, страны, веры.
Земля стара, и мы стары.

Так что оставим мы в наследье
Векам, идущим нам вослед?
Ведь до конца тысячелетья
Осталось вовсе мало лет.

Оставим свары и угрозы,
А к ним, без счета и числа,
Неразрешенные вопросы,
Незавершенные дела.

Но за открытую дорогу
К другим, счастливым временам
Простится хоть не всё, но много
Тебе, и мне, и вместе нам.

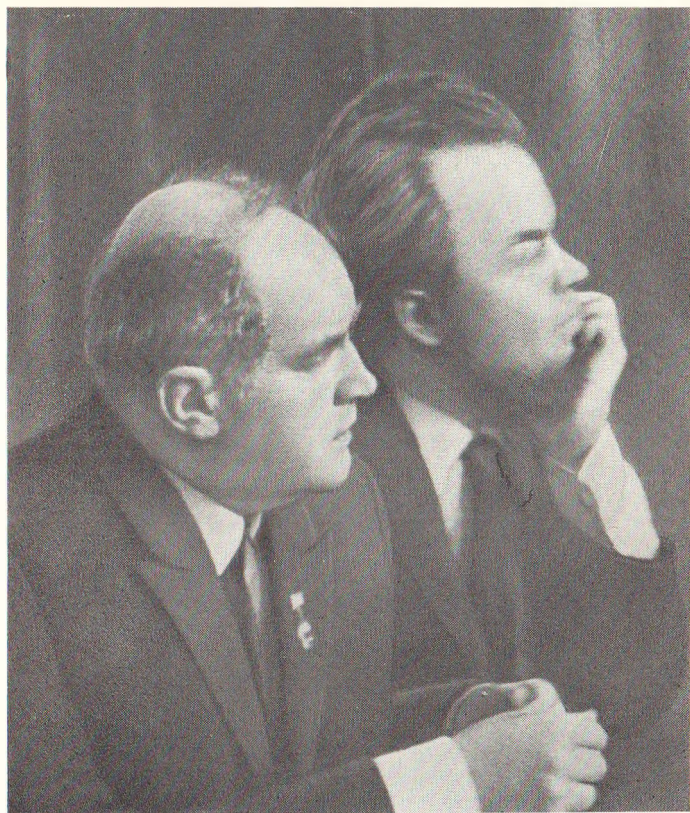
Грешим не главным и не славным,
Но в самом главном мы правы,
И знаем мы, что в этом главном
Земля нова и мы новы.

1967.

168. 1920

Нет, не своим... Но чутким, зорким взглядом,
Зорчайшим взглядом матери своей
Вгляжусь в тот год. И он возникнет рядом,
Живей живого, нового новей.





Застыл в сугробах городок уездный,
И чудится, что он со всех сторон
Холодной, вьюжной, непроглядной бездной
От остального мира отделен.

Но в закоулке свет желтит сквозь ставни.
И злой махоркой старый дом пропах.
К нам на постой солдаты нынче встали,
Все, как с плаката, — в звездах и ремнях.

Ни дать ни взять как во всемирном штабе,
Сидят они за кухонным столом
И спорят только в мировом масштабе,
Мирятся тоже только в мировом.

Доспорили. И, отодвинув кружку,
Тот, с глоткой что оркестровая медь,
Огромный, протолкнулся в боковушку,
Стараясь сапогами не греметь.

Ведом ему лишь ведомою целью,
Сажень косая — грозен и смешон,
Над детской наклонился колыбелью
И загудел торжественным шмелем:

«Ну, будет жизнь! Глядеть не наглядеться,
И — всё тебе. . . Для тела и души!»
— «Чего ты агитируешь младенца,
Цигарку лучше, дьявол, притуши. . .»

Он вышел. И как будто перед строем,
Но — шепотом! — товарищам своим
Сказал: «Мы наш, мы новый мир построим
И этому мальцу передадим!»

Глядят они, смеючись, друг на друга,
Хмельным-хмельны без браги и вина.
Стихает утомившаяся вьюга,
Идет к концу гражданская война!

1967.

Аминь, рассыпьте, горести и грусть!
Гляжу на женщин, кланяюсь знакомым,
От ветра шурю, в облака смотрю
И верю непридуманным законам.

Земля встает в извечной новизне,
На черных ветках лопаются почки,
Являя людям, птицам и весне
Прославленные клейкие листочки.

А на бульваре — легковейный дым,
Адамы те же и всё те же Евы.
Со всех сторон к избранникам своим
Спешат навстречу ласковые девы.

Тверда земля и тверд небесный кров,
Прозрачно небо и прозрачны души,
Но не уйти от неких странных слов,
Вгнездились в память, натрудили уши.

Нейтрон, протон, нейтрино, позитрон...
С усмешкой вспомнишь неделимый атом!
Не зная верха, низа и сторон,
Метут метелью в веществе разъятом.

Доверясь новонайденным словам,
Дробясь на бесконечные частицы,
Мой глупый мир всюду трещит по швам
И цельность сохранить уже не тщится.

С былых понятий сорвана узда,
И кажется, всё в мире стало дробно,
А надо мной вечерняя звезда
Сияет целомудренно и скромно.

К звезде опять стремятся сотни глаз,
И что им позитроны и нейтрино,
Раз на Тверском бульваре в этот час
Всё неделимо, цельно и едино.

Так пусть всё встанет на свои места,
Как прежде, воздух станет просто воздух,
Простой листвою останется листва,
Простое небо будет просто в звездах.

1967.

170. РОЖДЕНЬЕ

К концу подходило крещение
Горластых российских ребят,
И древние гасли реченья,
И гаснул старинный обряд.

Ударили в окна шрапнели,
А пуля икону прожгла,
И женщина в жесткой шинели
В уездную церковь вошла.

Смеркалось в приделах священных,
Но вспыхнул окладов металл.
Ребенка смущенный священник
Безропотно ей передал.

Тяжелые, властные руки
Легко подхватили меня
Во имя всеобщей поруки,
Во имя всеобщего дня.

Чуть двинула в ласке губами,
Услышав над крышей разрыв,
Свое огневое дыханье
С ребячьим дыханием слив.

Упали уездные стены,
Ни тени от них, ни угла...
По страшным просторам вселенной,
Спеша, Революция шла.

А в глуби бездонной России,
В глубины всемирной любви
Ее провожали пустые,
Святые глазенки мои.

Держа рукоятку нагана,
Как ангел, в грозе и грязи,
Куда она вдаль прошагала
По нашей жестокой Руси?

А может, она и жесточе,
А может, и мягче ее?
Всё дольше ей путь... Всё короче
Короткое время мое.

И я, на путях ее крестных
Не зная иного креста,
Влюблен, долгопамятный крестник,
В ее огневые уста.

На свежих путях поколений,
Обдумав житье и бытие,
Шепчу: «Революция, Ленин,
Россия —
Крещение мое!»

1967.

171. ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА

(РАЗГОВОР В ДАЛЕКОМ ВЕКЕ)

Белеет парус одинокий...

М. Ю. Лермонтов

На землю возвращается с Омеги
Людьми полузабытый звездолет.
Преодолев последние помехи,
Знакомым курсом следует пилот.

На дальнюю планетную систему
Землян послали давние века
За призраком, за маревом, за тенью,
Позвавшей из глухого далека.

С людьми сыграли звезды шутку злую,
Ведь в тех непостижимых временах
К ним люди шли почти напропалую,
Вслепую, наугад, вполупотьмах.

И финиш нерасчетливого бега
Встает без романтических прикрас.
Ты знаешь, в стороне лежит Омега
От наших главных и неглавных трасс.

Не нам с тобой — ребенку видно сразу:
Таких планет хватает за глаза.
Ее как перевалочную базу
И то никак использовать нельзя.

Конечно, тут другие были виды:
Мол, жизнь на ней, как на земле, течет,
Нас на Омеге встретят гоминиды, —
Таков был непродуманный расчет.

А оказалось, что она пустынна,
Простая глыба вздыбленных камней.
Ну, хоть бы протоплазма... Хоть бы тина
Первичной жизни зыбилась на ней.

Всё это, к сожалению, рисует
Застывшее от века бытие.
Но не Омега нас интересует,
А те, кто возвращается с нее.

Здесь шли века, а там тянулись годы,
И древний экипаж еще не стар.
Окончит зрелым звездные походы,
Кто юным выходил на звездный старт.

И мы сейчас вверяемся надежде,
Забрезжившей в рассветной полумгле:
Ведь звездолет ушел к Омеге прежде
Великой катастрофы на земле.

Когда земля прошла сквозь хвост кометы
Почти тысячелетие назад,
У вышедшей из пламени планеты
Неисчислим был перечень утрат.

Кометы не страшились механизмы,
Она была машинам не страшна,
Но летопись духовной нашей жизни
Была огнем холодным сожжена,

Зеленый газ повсюду съел бумагу,
С магнитных лент слова и звуки стер.
Века спустя мы видим, что ко благу,
В известной мере, был такой разор.

Исчезла память злобных заблуждений,
Исчезло бремя мертвых дней и лет;
Наветов, наговоров, наваждений,
Обид и ссор пропал остывший след.

Но вместе с этой ветошью исчезли,
Ушли с земных порогов и дорог
Печальные и праздничные песни,
Слова любви, исканий и тревог.

Освобожден от тяжкого наследства,
Но и от светлых мук освобожден,
Наш род живет, как человек без детства,
А юность понаслышке знает он.

Давно мы вышли в звездные пространства,
И к чуждым солнцам вышли мы давно,
Но нам вдогонку Муза дальних странствий
Не поднимает пряное вино.

Нам век бы с ней не расторгать союза,
Но как связать оборванную нить?
Ведь кто и что такое эта Муза,
Я лишь с трудом сумею объяснить.

Однажды мне она явилась зримо,
Я след ее в потемках отыскал,
На древнюю наткнувшись субмарину,
Застравшую среди подводных скал.

И там, на темном дне полярной бухты,
В глухой тысячетлетней тишине,
Сказали мне расплывшиеся буквы
О странствиях, о Музе, о вине.

И вздрогнул я от странного прозренья,
И понял я непонятый просчет.
О, Муза беспокойного горенья,
Как нам ее сейчас недостает!

Отбросив всё, что зыбко и случайно,
Сменили мы легенду на рассказ,
И потерялся терпкий привкус тайны
В открытиях неоткрытого для нас.

Нам приключенья — в тягость и обузу,
Постыли — необжитые края.
Как не позвать на помощь эту Музу,
Как не восстать ей из небытия!

Пускай она, расчеты наши спутав
И дав с дорог проторенных уйти,
Нас повернет с рассчитанных маршрутов
На самые случайные пути.

Быть может, там, где точные решения
Смолчат перед неточностью мечты,
Нас ждут совсем неожиданные свершенья
И брошенные в будущность мосты.

Живое пламя мертвого пространства,
Для вечных споров в вечность рождена,
Вся неустройство и непостоянство, —
Такой мне представляется она.

Какая же она на самом деле,
Нам не узнать, наверно, нипочем...
По счастью, мы к разгадке завладели
Надежным, хоть обломанным, ключом.

На той же — подчеркну — подводной лодке
Был найден нами скомканный листок,
И оказалось, нет цены находке —
Одиннадцати полустертых строк.

Двенадцатая грубо обрывалась
На двух соединительных словах.
Казалось бы, незначащая малость,
Но без нее блуждаем мы впотьмах.

Как ни смешно, мы вспомнили порядки
Наивных споров канувших времен,
И для решения вековой загадки
Всеобщий конкурс был провозглашен.

Но строй мышленья древнего поэта
В дали веков такая скрыла мгла,
Что многомиллиардная планета
Одну строку домыслить не смогла.

Тогда кибернетическим машинам
На старый текст вручили мы права,
Но даже и они не помогли нам
Восстановить исчезшие слова.

А если бы их всё же воскресили,
А если бы уверовали в них,
А если бы опять в красе и силе
Над миром воссиял бессмертный стих,

Тогда, быть может, прежнего союза
Сомкнулось бы разбитое кольцо
И нами не разгаданная Муза
Открыла нам забытое лицо.

Притихла в ожидании планета.
Сегодня всё решается... И пусть
На звездолете нет стихов поэта,
А вдруг их кто-то помнит наизусть?!

Седой рассвет встает над космодромом,
Разгадка брезжит нам издалека.
Смысл бытия откроется в искомом.
Мы ждем тебя, последняя строка!

Апрель 1968

172. ВНАЧАЛЕ

В центре парка, в позе неизменной
Бронзовый нагнулся дискобол.
В нем ваятель красоте мгновенной
Выраженье вечное нашел.

А на сердце весело и пусто:
Если б слитность двух враждебных сил

Жизнь переняла бы у искусства,
Где б нас черт вселенский не носил?!

Но не остановишь скоротечность
И нельзя, нагнувшись над рекой,
Объяснить мгновение, как вечность,
Совместить движение и покой.

И одним глотком тебя от жажды
Время, усмехаясь, наделит:
Счастье распрямится лишь однажды,
Диск однажды к солнцу полетит.

Всё поймешь ты сам в году не близком,
А пока в предутреннюю тишь
Ты еще с невыпущенным диском
У начала поприща стоишь.

1968

173. БОЛГАРСКАЯ ПОЭЗИЯ

Когда ходили по земле святые
И слову их внимали племена,
На Преславе поэзия впервые
В живые воплотилась письмена.

И праведным апостольским звучаньем
Насытился пергамент древних книг,
И звоном, то печальным, то венчальным,
В строках звенел торжественный язык.

Как образам, нам поклоняться книгам,
Они сумели, смелые, сберечь
В ночи кромешной под турецким игом
Свободную и праздничную речь.

Как хлебный дождь, даря щедротой царской,
Нисходит долу с горных облаков,
Поэзия святой земли болгарской
Звенит над ней одиннадцать веков.

Богата неиссечетною казною,
Верна своим пророкам и творцам,
Она идет апостольской тропой
По градам, весям, душам и сердцам.

1968

Болгария, Рильский монастырь

174. СНЕГОПАД

Ах, как он плещет, снегопад старинный,
Как блещет снег в сиянье фонарей!
Звенит метель Ириной и Мариной
Забывших январей и февралей.

Звенит метель счастливыми слезами,
По-девичьи, несведуще, звенит,
Мальчишескими крепнет голосами,
А те в зенит... Но где у них зенит?!

И вдруг оборвались на верхней ноте,
Пронзительной, тоскливой, горевой...
Смятенно и мятежно, на излете
Звучит она над призрачной Москвой.

А я иду моим седым Арбатом,
Твержу слова чужие невпопад...
По переулкам узким и горбатым
Опять старинный плещет снегопад.

1969

175. ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

(XVIII ВЕК)

Малаша, Груня или Устя,
Простой дворяночкой она
Была небось из захолустья
В Санкт-Петербург привезена.

И, терем девичий покинув,
Свалилась, словно с облаков,
В шум неохватных кринолинов,
В стучанье красных каблуков.

Арапы распахнули двери,
И ей большой открылся свет,
Веселый двор Петровой дщери,
Императрикс Елисавет.

Из тысяч барщин и оброков
Слагался тот предолгий бал,
Где пылкий Саша Сумароков
Вручал ей свежий мадригал.

И где, чужой и нашей веры,
Пускаясь с юной нимфой в пляс,
Теряли разум кавалеры
От блеска глупых круглых глаз.

Наверно, русское запечье
Дало ей силой колдовской
Нагие руки, грудь и плечи
С их нелюдской голубизной.

Теснился лиф, прямой и узкий,
Розан вздымая на груди,
Когда к ней шел посол французский,
Хромой маркиз де Шетарди.

И тут-то — пьяница из пьяниц,
Игрок, распутник и наглец —
Ну, прямо с балу, — лейб-кампанец
Спроворил деву под венец.

Он с нею жил, как жил в пехоте,
И водку пил, и карты гнул,
Пока с похмелья на охоте
Однажды шею не свернул.

С приданым дочек замуж выдать,
В гвардейцы вывести сынков,
Себя, вдовицу, не обидеть —
Тут сколько нужно медяков!

Таскала за бороды старост,
Лбы забривала у парней,
Сводила лес. . . И даже старость
Не исхитрилась сладить с ней.

И даже Стикс, и даже Лета,
И даже рек иных разлив
Не смыли черт ее портрета,
Нам навсегда их подарив.

В те дни, войдя во вдовьи нужды,
Осьмериковый выпив штоф,
Ее помиловал, вздохнувши,
Сентиментальный Пугачев.

1969 (?)

176. О ГЛАВНОМ

Не будет ничего тошнее —
Живи еще хоть сотню лет, —
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.

Стою в намокшей плащ-палатке,
Надвинув каску на глаза,
Ругая всласть и без оглядки
Всё то, что можно и нельзя.

Сегодня лопнуло терпенье,
Осточертел проклятый дождь, —
Пока поднимут в наступленье,
До ручки, кажется, дойдешь.

Ведь как-никак мы в сорок пятом,
Победа — вот она! Видна!
Выходит срок служить солдатам,
А лишь окончится война,

Тогда — то, главное, случится! . .
И мне, мальчишке, невдомек,
Что ничего не приключится,
Чего б я лучше делать смог.

Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.

1970

177. КОРОЛИ

Знакомства стали спортом, —
И за одним столом
Сижу с Тупо Четвертым,
Тонганским королем.

Он бодр и авантажен,
Виднейший из мужчин,
И только в меру важен,
Свой соблюдая чин.

Объемом, ростом, весом
Он схож с Гаргантюа
И ловит с интересом
Нездешние слова.

Пошла беседа с ходу, —
Ведь чем не шутит черт:
Как говорят, три года
Он посещал Оксфорд.

Божественное право
Хранит высокий кров,
Лежит его держава
На сотне островов.

А жителей сто тысяч —
Наш средний городок...
Но можно искру высечь,
Пусти лишь нужный ток.

И встанут размышленья
Уверенной стеной

О судьбах поколенья,
Стоящего за мной.

Судьба не далека нам —
Пройти на грань веков,
К последним могиканам
Семьи фронтовиков.

Мы назначали цены
Большим и сильным дням,
Сходить с огромной сцены
Пора приходит нам.

Для нас горело пламя,
И нам светил азарт,
Мы были королями
В любой колоде карт.

И громко с жизнью спорили,
Чтоб кончить веселей
Печальные истории
О смерти королей.

1978
Острова Тонга

178. СИДНЕЙ

Взгляд
на прощанье
радуя,
В дожде
цветных огней
Зажглась
ночная радуга —
Пылающий Сидней.
Здесь
под луною
долгой,
Над влагой
голубой

В нем
 новогодней
 елкой
Сверкал
 конец любой.
Стремительным
 движеньем
Взметнувшийся
 до звезд,
Их четким
 отраженьем
Застыл
 сиднейский мост.
За пестрыми
 огнями
Всей
 силой
 огневой
Вставал,
 не видим нами,
Разор
 души
 живой.
В строку
 стихотворенья
Вместишь
 не сразу
 ты
Банальные
 стремленья,
Банальные
 мечты.
В них
 чересчур
 наглядна
Причина
 всех
 причин,
Их куцость
 непонятна
Для тех,
 кто брал
 Берлин.

Взгляд
на прощанье
радуя,
В дожде
цветных
огней
Над морем
гасла
радуга —
Пылающий
Сидней.

1978
Австралия

ПОЭМЫ

179. ПРОЛИВ ЕКАТЕРИНЫ

ВСТУПЛЕНИЕ

Для печали не было причины,
Но когда рассеялся туман
И с зарей пролив Екатерины
Нам открыл дорогу в океан;

Но когда, мощны и первозданны,
Острия вершин вонзая ввысь,
Черные и желтые вулканы
По краям пролива поднялись;

Но когда по гребням волн отвесных
К пенным брызгам под прямым углом
Темноперый быстрый буревестник
Показал нам путь, взмахнув крылом, —

Память, не успевшая стереться,
Вновь тебя возьми да освети...
Как взметнулось, как рванулось сердце,
Никакой управы не найти!

Верно, так же, проходя впервые
Этот путь среди пустынных вод,
Женщину, забытую в России,
Вспоминал старинный мореход.

В те года и земли за морями,
И проливы между скал крутых
Милыми крестили именами
Катенек и Машенек своих.

Смелый внук мой в утреннюю роздымь,
В атомный взойдя ракетоплан,
Путь направит к еле видным звездам
Через межпланетный океан.

С быстротой, почти что равной свету,
Он к орбитам дальним подойдет
И новооткрытую планету
Именем любимой назовет.

До меня пути всех дальних странствий
На земле проплыли и прошли.
Через безвоздушные пространства
Вряд ли поведу я корабли.

Но любовь любовью остается...
Мне в веках ее сияет свет
Посильней, чем всем землепроходцам,
Послабей, чем людям звездных лет.

Всё в ней чисто — мысли и желанья,
Всё светло в ней — радости и грусть,
К ней я до последнего дыханья
Каждую кровинкою тянусь.

...Сердце снова рвется к милым нивам.
Но уж, верно, так тому и быть,
Мне не одарить тебя проливом
И звезды тебе не подарить.

Мне дарить тебе одно лишь слово,
Слово заповедное: «Люблю...»
Третий месяц без земного крова
Мы живем, доверясь кораблю.

Здесь одну бесхитростную повесть,
На которой времени печать,
Мне чужая рассказала совесть,
До конца решила рассказать.

Ввысь вонзались острые вершины,
Таял не спеша морской туман.
В этот день пролив Екатерины
Нам открыл дорогу в океан.

Ты долго терпела разлуку,
 Меня проводив в этот край,
 Так дай же сегодня мне руку
 И следом за мною ступай.
 Пусть сердце твое успокоится —
 В теплынь и звенящую тишь
 На прочном борту китобойца
 Ты вместе со мною стоишь.
 Над мачтами вьются бакланы,
 Касатки скользят у бортов,
 И к небу вздымают фонтаны
 Стада исполинских китов.
 А даль — без конца и без края,
 А глубь — то кипит, то журчит,
 И радуга, нас провожая,
 На брызгах блестящих горит.
 Как вдруг и легко и мгновенно,
 Взлетев по зеленым гребням,
 Морская веселая пена
 К твоим прикоснется губам.
 И с этой минуты бесценной
 Сольешься и ты, как и все,
 С величьем безмерной вселенной
 В ее непомерной красе.
 Нам легкого счастья не нужно,
 Раз доступ к великому дан,
 Коль нам открывает послушно
 Объяття свои океан.
 Что счастье! Мы мыслим о чуде!
 Я часто блуждаю впотьмах,
 А рядом такие же люди
 Его уже держат в руках.
 И в эту рассветную пору
 Сиянием радостных глаз
 Не близко ль оно к гарпунеру,
 Стоящему около нас?!
 Ведь нам в этот день обнаженный
 Сравненье не в пользу пойдет.
 Мы жизнью живем отраженной,
 А он настоящей живет.
 Мы с правдой не будем в раздоре,
 Ведь истинной правде под стать

Его настоящее горе
За горькое счастье считать.
Но разве ему породниться
С несчастьем приспела пора?
Мы взглядом должны обратиться
К тому, что случилось вчера...

2

В трех сотнях метров от борта,
Меж белыми гребнями,
Весь в пене брызг,
Плавник кита
Мелькает перед нами.
Он издали похож на киль
Потопленного судна,
Но хоть нам в час и двадцать миль
Пройти не так уж трудно,
Сбавляем ход узлов до двух,
Крадемся самым малым
Затем, что дарит чуткий слух
Природа-мать финвалам.
И лишь заслышит он в тиши
Машины мерный гул,
Уж ты его ищи-свищи,
Он вглубь давно нырнул.
Минут пятнадцать подождешь
У моря-океана,
Пока в бинокль его найдешь,
Разыщешь столб фонтана.
Но знает толк наш капитан
В его повадках.
Он исходил весь океан
В таких вот схватках.
Где не поверит верный глаз
Решению заглазному,
Где не придется раз на раз,
Где каждый раз по-разному...
Всё дальше мы идем вперед,
Всё ближе подбираемся,
Чем тише ход,
Чем глуше ход,
Тем мы сильней качаемся.
Дугу по воздуху чертит

Пушка гарпунера,
Но уж в полсотне метров кит,
Нагоним скоро!
Тут безучастным на борту
Никто не остается:
Наш боцман, трубку сжав во рту,
Глядит — не оторвется.
Поодаль — неприлично юн —
Разинул рот один из юнг,
И даже флегматичный кок,
Спокойнейший донельзя,
Всей тушей на перила лег
И шепчет: «Лучше целься!»
Выстрел!
И летит гарпун,
И трос за ним летит,
И кровью пенится бурун,
И пенит волны кит.
На полный ход,
На полный ход,
Узлов на двадцать в час,
Иначе зверь от нас уйдет
И скроется из глаз.
Гремящей шквальной волной
Помчал вперед финвал.
Гарпун с гранатой разрывной
Его не доконал.
На полный ход,
На полный ход,
Узлов на двадцать в час,
Иначе зверь от нас уйдет
И скроется из глаз.
Но вот ослабевает трос,
И, тяжело гремя,
Последний раз огромный хвост
По морю бьет плашмя.
Идем к убитому киту...
Сообща занявшись снова им,
Его мы к нашему борту
Прочно пришвартовываем.
И тут-то юнги взвился крик:
«Вот это так везенье!..
Опять!.. Да к нам... Да напрямик...
Не кит, а загляденье!»

Не бабка ль ворожила нам?
Дела идут не худо...
Ведь впрямь несется по волнам
Второе чудо-юдо.
Наш гарпунер уже опять
Решил себя прославить,
Как вдруг команда:
«Не стрелять... Отставить!»
Но тот и глазом не моргнул
На окрик капитана...
И снова выстрел.
Тяжкий гул...
И брызжет кровью рана.

3

Белыми искрами в синей тьме
Светится море в полночь.
Двое над морем стоят на корме,
Курят молча.
Едва докурив,
В углу рта
Цигарку сменят цигаркой...
На миг расступится темнота
От вспышки
Спички яркой.
Осветится — прядь русых волос,
Глаз синева густая,
Широкий, слегка приплюснутый нос,
Линия скул крутая.
Осветится — проседь редких висков,
Щеки в резких морщинах,
Пристальный взгляд из-под очков,
Желтоватость усов длинных.
Что их обоих свело во тьме,
Когда море уснуло даже?
Двое над морем стоят на корме —
Гарпунер и парторг экипажа.
Спичка гаснет. И гарпунер
Продолжает прерванный разговор:
«Я прямо всем гляжу в глаза.
Ну, хорошо! Вошел в азарт.
Ну, хорошо! Пусть капитан
Отдал команду до того,

Как был проклятый выстрел дан.
Я не зависим от него!
Когда на судне начата
Охота на кита,
Когда уже к стрельбе в упор
Прицел приспособляется,
То капитану гарпунер
Ни в чем не подчиняется.
Да я про всё забыть готов,
Когда — рукой подать — скользит
Среди взметнувшихся валов
Передо мной матерый кит.
Лишь ветра слышал я трезвон,
Лишь кровь мельтешила в висках,
Когда, забыв морской закон,
Я бил по матке в горячах.
Но в худшем из грехов моих
Я не забывчивей других:
Как не припомнил капитан,
Как мог запомнить он,
Что вот уже второй сезон,
Как мной лишь держится весь план,
Что я побольше ста китов
Своей рукой забил
У Командорских островов,
Камчатки и Курил.
Так что ж! Решил ошельмовать
И впрямь ошельмовал:
«Бугрова на берег списать,
Лишь бросит якорь „Шквал“»,
Поклон за милость от души!
А вы... Вы тоже хороши!»
Новая спичка вспугнула тьму,
Неспешно парторг отвечает ему:
«Твой норов и твои замашки встарь,
Пожалуй, что и делали погоду.
Но разве может в наши дни кустарь
Свои порядки навязать заводу?
Завод ли, нет ли китобоец наш,
Но от матроса и до капитана
В одно объединяет экипаж
Скупая сводка выполнения плана,
Где что ни цифра — труд полста людей,
Твоих друзей — день изо дня работа...

Расхваставшись особою своей,
Не их ли ты списал сейчас со счета?
Всегда ты занят лишь своей судьбой, —
Живешь или играешь — в одиночку.
Мы слишком долго нянчились с тобой,
Пришла пора на этом ставить точку».
— «А в чем еще я виноват?»
— «Скажу...»

4

Через окованный медью порог
Мы входим в Ленинский уголок.
Книги в шкафах — за рядом ряд,
Ровен ламп матовый свет...
Сегодня здесь за полночь люди сидят,
Уткнувшись в комплекты старых газет.
Порой над обитым жестью столом
Поднимется чья-нибудь голова,
И, разбив тишину, пойдут напролом
Привыкшие спорить и драться слова.
Одно и то же у всех на уме,
И вот уже комната ульем гудит...
— «А где парторг?»
— «Он па корме
С Бугровым говорит...»
— «Добро, конечно... Но, ей-ей,
Не жду я от Бугрова,
Чтоб из партторговых речей
Понял он хоть бы слово.
Между делами слышал я,
Как он сказал ребятам,
Что трудно счесть ему себя
Хоть каплю виноватым.
Когда вблизи, он говорит,
Замечен гарпунером кит,
Весь китобоец в этот час
Вплоть до последней снасти
И вплоть до первого из нас
Его послушен власти».
— «Он в этом прав! Но не сумел
Одно домыслить малый, —
Что всякой власти есть предел...
В другой бы раз он захотел

Нас повести на скалы,
А капитан не смей сказать,
Выходит, ни полслова,
Изволь, товарищ, выполнять
Любую блажь Бугрова!»
Слово на слово целит в упор,
И разговор переходит в спор.
«Вместе с ним почти в два раза
Перекрыт на «Шквале» план.
«Не знавал я зорче глаза», —
Сам хвалился капитан.
За работу много скинешь,
Обкорнаешь счет грехов! . . .»
— «Но зато уж в дисциплине,
Знаешь сам, как плох Бугров.
Перепалки, перекоры
Любит парень начинать,
Приказанья — сразу в споры,
На взысканья — наплевать!
Ну а выйдет ли стоянка
У знакомых берегов,
До конца стоянки — пьянка,
Пьян-пьяным Андрей Бугров.
Слово ль вымолвишь укора,
Он ответит с хохотком:
„Вам такого гарпунера
Не сыскать на дне морском“». —
«Что ж! Пора уже повадку
Не давать ему ни в чем,
И теперь, когда он матку
Загарпунил с сосунком. . .»
— «А всё ж хороший он моряк
И на работу хваток,
И мало ль бьют на всех морях
С детенышами маток!»
— «Лет пятьдесят тому назад
Киты стадами, говорят,
По всем морям ходили,
Пока их хищники подряд
Почти не истребили.
Мы так охоту не вели,
И китобойцы всей земли
Решили вслед за нами,
Чтоб ценный промысел спасти,

Законы строгие ввести
В охоте за китами.
Такой для судна гарпунер —
Позор!»
Голос гневный еще не смолк,
Дверь раскрывается, входит парторг.
— «„Позор“, — здесь кто-то, кажется,

сказал?

Самим себе подарим это слово.
В ЧП вчерашнем виноват весь «Шквал»,
Весь экипаж в ответе за Бугрова.
Себя от коллектива отделив,
Андрей шагал к беде, как по ступеням,
Мы видели, как он себялюбив,
Как себялюбье тешит самомнением.
Хватало времени вмешаться нам,
Но мы, о трезвом слове забывая,
От ругани кидались к похвалам,
А в похвалах совсем не знали края.
Сейчас ошибку поздно поправлять,
Болезнь вконец Андрея одолела,
Лекарство запоздали подыскать,
И нож хирурга завершает дело.
Я думаю, пойдет Бугрову впрок
Со «Шквалом» нежеланная разлука,
Но и для нас сегодняшний урок
На будущее горькая наука.
Мы вправе, человека обвинив,
Пройти по всем души его отсекам,
Но, требуя ответа, коллектив
Сам отвечает перед человеком».
Иллюминатор с тугих винтов
Сорвать попытался ветер...
«А на «Шквал» возвратится Андрей
Бугров?»
...На это парторг не ответил.

5

Слово медленной минуте!..
В эту ночь и в этот час
Я сидел в своей каюте,
Не сводя упрямых глаз
С беспрестанного сплетенья
Черных дней и светлых дней,

Ставших метами рожденья
Биографии моей.
Все ошибки и проступки,
Подсудимый и судья,
Выжимал я, как из губки,
Из вчерашнего себя,
Чтоб не стать на руку скорым,
Чтоб начать и кончить спор
С непутевым гарпунером,
В жизнь вошедшим с этих пор.
Мне ль спешить в сужденье строгом,
Если, черт меня возьми,
Сам повинен я во многом
Перед добрыми людьми,
Если дрянь родимых пятен
Мир давно отживших сил
Прямо к коже, а не к платью
Самому мне пристрочил.
В нравах давних поколений,
Волочивших мертвый груз
Ложных жизненных решений,
Ложных помыслов и чувств;
Среди горестей и хворей
Незапамятных веков
Затерялся цепкий корень
Тех живучих сорняков,
Что не пажити и нивы —
Сушат души и сердца,
Пока жизнь их терпеливо
Не прополет до конца.
Непрополотое поле —
Бесшабашный мой герой,
За него по доброй воле
Я встаю сейчас горой.
Всё хорошее в Бугрове
Не заглушено навек.
Плоть от плоти, кровь от крови
Он советский человек.
И в любой далекой дали
Он всегда в родном кругу.
То, что начато на «Шквале»,
Завершат на берегу.
Беды, горести и боли
Он узнает в свой черед,

Но из власти доброй воли
Никуда он не уйдет.
Ведь встает законом века,
Что, среду лишь изменив,
Поручает человека
Коллективу коллектив.
Чтобы тот навстречу свету,
На краю любых крутизн,
Дальше нес, как эстафету,
Человеческую жизнь.
Мне придется за Бугровым
С судна на берег сойти,
Быстрый счет под новым кровом
Суткам медленным вести.
Нелюбимую работу
Выполнять пойти сам-друг
И войти через охоту
В незнакомый прежде круг.
Ошибаться зло и грубо
И вставать, срываясь, вновь,
И на тропах Итурупа
Встретить первую любовь.
Ведь теперь при всем желанье
Не удастся повернуть
Мне свое повествованье
На другой, по сердцу, путь.
Что бы мне ни подсказали
Разум мой и опыт мой,
С их указкою едва ли
Примирится мой герой.
Слышишь, как гудит сирена?
Пристаем...

6

Прошло два месяца с тех пор,
Как был в последний раз
На «Шквале» горький разговор
С Бугровым глаз на глаз.
Где ж я теперь найти смогу
Его блажную юность?
На каменистом берегу
Сидит он, пригорюнясь.
Ему прибой в подмогу шлет

Брызги вместо слез,
Из-под фуражки ветер рвет
Густую прядь волос.
Над ним заката красный чад,
И сам он как в чаду,
И чайки жалобно кричат
С его тоской в ладу.
Чего б сейчас он ни отдал,
Чтоб хоть глазком взглянуть,
Каков сейчас родимый «Шквал»,
Куда он держит путь?
Наедине с тоской своей
Сидит он, сам не свой...
Да что ты? Оглянись, Андрей!
Ведь за твоей спиной
Сияют светлые огни
Хорошей, новой жизни.
Недавно зажжены они
Здесь, на краю отчизны.
Мы погасить их не дадим,
Мы ярче разожжем их...
Ты, горем мучаясь своим,
Не сделай снова промах!
Гляди! Долина среди скал
Цветущая встает,
И на краю долины встал
Большой китозавод,
А от него невядалеке,
В его огнях веселых,
Вдоль по извилистой реке
Раскинулся поселок.
Здесь Родины передний край,
Советские Курилы...
Так что ж, Андрей Бугров, вставай,
Так собери ж все силы!
Ты нужен здесь!...
И вижу: вот
Андрей Бугров уже встает,
Как после сна,
Рукой по лбу
Медленно проводит
И вновь искать свою судьбу
Своей тропой уходит.

На Курилах погожая осень,
 Краше нашего лета, встает.
 Меж седых и приземистых сосен
 Здесь магнолия буйно цветет.
 Выше пояса душистые травы,
 Лопухи — в человеческий рост,
 А шиповник у окон заставы —
 Хоть невестам дари вместо роз.
 Возле самого китозавода
 Белопенный чуть плещет прибой...
 В это время счастливое года
 Еле дышит во сне непогода
 В колыбели своей островной.
 Этот праздник недолго продлится,
 Встанет солнце из-за стола,
 И окутает снова границу
 Непроглядная серая мгла.
 Но в свинцовые эти туманы,
 В беспокойные эти ветра
 Всё равно поведут капитаны
 Боевые свои катера.
 И в прибрежные скалы и горы,
 Где подъем и заснежен и крут,
 Пограничные наши дозоры,
 Как и раньше, по тропам уйдут.
 И в то зданье, что сотням знакомо,
 Вновь услышав приказ и призыв,
 На ответственный пленум райкома
 Соберется опять партактив.
 Быстро скинув усталые лыжи
 И усталых распрягши коней,
 Будут спорить друг с другом, как ближе
 Путь вести им до цели своей,
 Как скорей подойти к нашей чистой,
 Вековой мечте на земле,
 Непреклонной мечте коммунистов
 В красноезвездном высоком Кремле.
 ...Но рассказ мой пойдет постепенно,
 И сейчас мы придем на завод:
 Вот выходит усталая смена
 Не спеша из широких ворот.
 Сторонясь от других, по дороге

Наш приятель шагает в пыли.
Кто же встретит его на пороге,
Кто приветит его издали?
Что ж! Пора горевая настала —
И прорыв, и разрыв, и простой...
Гарпунер знаменитого «Шквала»,
Ты теперь флейшеровщик простой.
Флейшеровщик? Бывало ли хуже?
Ты, Бугров? Не хватает и слов...
Ты-то режешь зловонные туши
Загарпуненных кем-то китов!
Здесь Андрей даже сплюнул с досады...
Но как в жизни бывает подчас,
Руки легкие высшей отрады
В миг горчайший касаются нас.
Вдруг с собою почувствовал рядом
Чью-то душу живую Андрей.
Оглянулся... И встретился взглядом
С долгожданной и первой своей.
Он всем сердцем, кровинкою каждой
К ней рванулся... Такое с любим
Может быть на веку лишь однажды,
И до смерти в душе мы храним
Неизбывное воспоминанье
О единственном в жизни свиданье.
Я вот тоже. Досада? Награда!
Верил в счастье лишь с первого взгляда...

8

Люблю простые имена!
Ну, чем плохое имя — Маша?
С ним дружит вся моя страна,
Вся русская деревня наша.
Кто не влюблялся среди нас
И кто не назначал свиданий
В свой ранний или поздний час
С Наташей, Лидой или Таней?
Невесту друга Шурой звать,
Сестру — Варюшей величать,
А я внушал курносой Оле
Учиться на пятерки в школе.
Все ль перечислил без изъятья?
Одно запомнил — Катя.

Так что, коли счастливым днем
Свою простую героиню
Мы тут же Катей назовем?
Плохое имя? Прелесть имя!
Здесь, узнавая про нее,
В минуту светлую одну
Вы счастье вспомните свое,
Свою невесту ли, жену;
Припомните тот день и час,
Когда вы в самый первый раз
Влюбленных не сводили глаз
С ее сиявшего лица;
Припомните всё до конца,
Всё до последних мелочей:
И как легко вам было с ней,
И почему ее сочли
Вы лучшей женщиной земли.
Ведь на земле красавиц нет,
Не ими славен белый свет,
Кого мы любим, только те
К земной причастны красоте...
«Но ты-то? — спросите вы меня. —
Ты тоже ведь счастье знал.
Ты первый бы здесь, словами звеня,
Нам о нем рассказал».
Так что ж! Написал бы один я портрет,
Но сердце не выдержит... Нет!
Не выдержит сердце и хрустнет вдруг...
Ведь, мой милый читатель и друг,
Сколько светлых, хороших, доверчивых лет
Я верил — скорее ослепнет свет,
Скорее оглохнет звук,
Скорее рухнет вниз небосвод,
Чем она от меня уйдет.
Я верил вслепую и наугад,
Разуму вопреки,
Как кладоискатели верят в клад,
Как в свет маяка — моряки;
Я верил так, как река течет,
Как время сквозит в новизну,
Как верит заждавшийся звездочет
В открытую им звезду.
Моя обида! Моя звезда!
Мой раздаренный клад!...

Я верил, к тебе себя пригвоздя,
Не в исполнение клятв,
Но потому, что ни разу впрок
Души своей не берег,
Потому что иначе б дышать не смог,
Иначе б и жить не смог.
Ни в прошлых, ни в нынешних временах,
Мосты за собой сгубя,
Наверно, никто не верил так,
Как веровал я в тебя.
Теперь посудите — я прав или нет.
Могу ль рисовать я с нее портрет?
Быть может, позже, утишив грусть,
Сердце свое не жалея,
О далеких чертах я проговорюсь,
Приписав их любимой Андрея.
Но, кстати, где же герои мои,
Где же они в самом деле?
Ведь возраст Андреевой первой любви
Шагнул уже за две недели...

9

В звездных плаваниях спутник дорожный
Нашей древней и мудрой земли
Льет на море свой свет осторожный
На причалившие корабли.
Бросил пригоршню золота месяц
В двух хороших и славных ребят,
Что над морем притихшим вместе
На скале обомшелой сидят.
О любви им сейчас говорить бы,
И тогда — далеко ль до женитьбы?
Но какой там! Я слышу снова
Баритон раздраженный Бугрова:
«Так что ж! Решил ошельмовать
И впрямь ошельмовал!
„Бугрова на берег списать,
Лишь бросит якорь «Шквал»“
И вот я здесь, чего я здесь?!
Подумаешь, большая честь
Гарпун на флейшер променять...»
— «Молчи, Андрей...»
— «Дай досказать,

Со мной ты спорить будешь зря.
Я здесь, по правде говоря,
Дня оставаться бы не стал,
Когда б не верил, что зайдет
Сюда к концу сезона «Шквал»,
И пусть неверен мой расчет,
И пусть я в жизни на поклон
Не шлялся ни к кому,
Но здесь...»

— «А здесь пойдешь?»

— «Влюблен

Навек я в «Шквал»... Пойми, ему
Я только верен. Напрямик
Скажу я всё, что думаю,
Пусть согласится наш «старик»
С правдою угрюмою.
Пускай поймут ребята,
Что тоже виноваты».

— «Но ты не прав! Ведь коллектив
Всё сделал для того,
Чтоб не пошел ты на разрыв...»

— «Всё сделал? Ничего!»

— «Как ничего? Да и потом,
Себя по правде оценив,
Как можешь лезть ты напролом
И с ним не соглашаться?»

— «Ты думаешь, что коллектив
Не может ошибаться?»

...Вспылила Катя:

«Если б я

Вдруг от тебя узнала,
Что списан был ты с корабля
За то, что рейсы «Шквала»
Могли б добычливее быть,
И ты боролся, чтоб изжить
Рутину в экипаже,
И что вмешательство твое,
Нарушив ровное житье,
Всех отпугнуло даже
И встретило отпор... Тогда
Сказала б я, что не беда
Такое поражение,
Что правду ты еще найдешь,
Что ты свое еще возьмешь

Друзьям на удивленье.
Но тут? В чем можешь ты винить
Своих друзей? Мешали пить?
Бахвалиться мешали?
Мешали с ходу маток бить?
Еще-то в чем?..»
— «Едва ли
Права ты здесь. Любой почин
У нас всегда подхватят.
В работе никаких рутин
У нас не терпят, Катя.
Но ты одно лишь в толк возьми,
Что ведь любое дело
Живыми движется людьми,
Сплоченными умело.
На «Шквале» до недавних пор
Об этом забывали.
Да! Я хороший гарпунер.
Про это всё узнали.
Но до последнего дня,
До этого несчастья,
Они не верили в меня,
Как в человека, Катя.
На «Шквале» так: ошибся раз —
С кем это не бывает! —
Тебя потом, как напоказ,
Повсюду выставляют.
Уже в общественных делах
Тебе не будет веры.
Потом еще, возьми их прах,
К тебе применяют меры,
Чтоб вышел ты на правый путь.
И — «прикрепят» кого-нибудь...
Пример? Был у меня один
Товарищ. Васька Бороздин.
Как парень вроде ничего,
Мы с ним согласно жили,
Пока в злосчастный день его
Ко мне не «прикрепили».
Положим, быстрого быстрей
Кончаем мы обратный рейс.
Так он, приняв унылый вид,
Одно бубнит, бубнит, бубнит:
«Мы в порт идем. Так ты, Андрей,

Смотри с пути не сбеи́ся,
Веди себя там поскромней.
Держись. . . И не напейся».
А у меня-то на уме
Того и не бывало.
Я б уберечься сам сумел
От глупого провала.
Но так вдолбит вихрастый черт
Свои правоученья,
Что лишь придем в знакомый порт,
Меня, как наважденье,
Его преследуют слова,
Дурацкие погудки,
Одним забита голова,
И ступишь на берег едва —
Приткнешься к первой будке».
— «Смешно и глупо. . .»
— «Ты постой,
Не будь святошею со мной,
Коль пить стакан, так пить до дна,
Ты, верно, тоже, — бог с тобой! —
Ко мне «прикреплена»?!»
. . . Спокойный прозвучал ответ:
«Ты можешь верить или нет, —
Я видела, что ты всегда
И хмур был и ненастлив,
И захотелось мне тогда,
Чтоб просто был ты счастлив. . .»
Невыносимо яркий свет
Вдруг ослепил Андрея.
Исход всех зол, конец всех бед
К нему пришел скорее,
Чем ожидал он. . . И готов
Заплакать был от счастья
Беспутный гарпунер Бугров
У девичьего платья,
У Катенькиных милых рук,
Под Катенькиным взглядом.
«Так вот куда ушла ты?!» —
Вдруг
Раздалось где-то рядом.
Он оглянулся. Перед ним
Стоял другой.
«Так ты с другим?»

Ты с этим пограничником?!»
...Рывком он на ноги вскочил,
Хотел ударить что есть сил,
Расправиться с обидчиком,
Но в этот миг, но в этот миг
Скользнул рассвета первый блик,
Меж ними Катя встала,
И, на нее взглянув, Андрей
Узнал, что горше и сильней
Находят беды на людей,
Чем недоверие друзей
И чем уход со «Шквала».
Силой верной любви увенчана,
Горделивою красотой,
Нет, не Катя — другая женщина
На скале стояла крутой.
И волшебными будто нитками
Были — радостны и чисты —
Из рассвета и ветра вытканы
Ослепительные черты.
«Прощайте! . .» — сказал Андрей.

10

К любви, по совести говоря,
Разум редко идет в лекаря:
Мало толку в его совете. . .
Ведь разумом знаешь,
Что мечешься зря,
Что ни ты, ни она не в ответе,
Ну, просто не любит тебя человек,
Уходящий к чужому порогу,
И тебе остается проститься навек
Да шапкой махнуть в дорогу. . .
Так нет! . . Три пачки выдымишь в ночь
И, себя обругав стократно,
Сто раз ее в мыслях прогонишь прочь
И сто раз возвратишь обратно.
А после, гордость спрятав в карман,
Ищешь напрасной встречи,
Мол, пан ли, пропал ли. . . Конечно, не пан,
Об этом не будет и речи.
Бывает? Бывает. И бедный Андрей,
От боли невзвидев света,

Когда распрощался с Катюшей своей,
Тоже прошел через это.
Но, свое унижение желая смягчить,
К миру стремясь, а не к ссоре,
Он выбрал одну путеводную нить
В решающем разговоре.
Себя и Катю хуля и кляня,
Не к своей и не к Катиной чести,
Он снова свиданье спустя три дня
Назначил чужой невесте.
Как ждал ее он! И всё же со зла
Навстречу ей бросил:
«Ты всё же пришла?!
Так объясни сегодня мне,
Чтоб знать наверняка,
По чьей или ничьей вине
Свалял я дурака?
Мне скоро стукнет двадцать пять,
А я — под стать мальчишке —
В орла и решку стал играть,
Забыв про кошки-мышки.
Ведь, ненадежная моя,
В твое я верил слово...
Скажи мне, правды не тая,
При чем здесь я, зачем здесь я,
Раз любишь ты другого?
Пускай я сам нагромоздил
Бессчетные ошибки...»
Бугрова месяц отдалил
От Катиной улыбки:
«Сейчас ты скажешь, что с огнем
Шутить небезопасно...
Оставь, Андрей! Мы все втроем,
Как говорится, ни при чем,
И мне самой неясно,
И больше всех мне невдогад,
Кто прав из нас, кто виноват!
Одно ты должен твердо знать,
Что вовсе мне не сладко...
Всё попытаюсь рассказать
Тебе я по порядку.
Когда здесь выслужил года
Радист на китобазе,
Была я прислана сюда

Из техникума связи.
Сквозь романтический туман
Мне виделись Курилы...
Прошел смешной самообман,
Но мне хватило силы,
Не называя зло добром,
Искать хорошее в дурном.
Меня превратно не пойми,
С дурным я не смирилась,
Но по-людскому жить с людьми
Я исподволь училась.
А сколько здесь грозило бед
Девчонке в девятнадцать лет!
Зайдешь в бараки для ребят,
Дымит-чадит «буржуйка»,
В чаду повис нещадный мат.
«Приперлась, чистоплюйка?
Коль хочешь пособить парням,
Садись и выпей двести грамм,
Бери сигарку, поучись
Сажать на кольца кольца...»
Нет, это уж не жизнь, а «жисть»,
Но где же комсомольцы?
Их, верно, вовсе не сыскать,
А с меркой средней школы
Ребят нельзя здесь подпускать
На выстрел к комсомолу.
Но так ли это? Сколько зла
Нам эта мерка принесла!
Ведь жизнь сама свои грехи
Им силой навязала...
Очисти зерно от шелухи —
И люди уж не так плохи,
Как кажутся сначала.
А чтоб добраться до зерна,
Я рада сдвинуть гору...
Как хорошо, что Ильина
Я встретила в ту пору!
Когда б ты знал, как он помог
Мне в жизни разобраться,
От скольких спас меня тревог,
От скольких бед меня сберег,
Отвел меня от тех дорог,
Где я могла б сорваться!

Таких людей, как Николай,
Нигде я не встречала,
Да он лишь только пожелай,
Давным-давно, ты так и знай,
Его б женой я стала!
Да нет! Куда как горд Ильин,
Ищи и не найдешь причин,
Но рвется там, где тонко,
Один идет на ум ответ,
Что Ильину за тридцать лет,
А я — совсем девчонка.
Он здесь три года прослужил
Начальником заставы.
А ведь до этого он был
Во всех концах державы.
Ему я вправду неровня,
Полжизни между нами,
Но как он дорог для меня,
Не рассказать словами.
Теперь подумай: Николай
И ты...»
— «Молчи! Не объясняй!
Останемся друзьями,
Друзьями по пристрастью,
Друзьями по несчастью».
— «Будем встречаться», — сказала Катя.

11

Припомнив тревоги и боли свои,
Я на Катю гляжу лишь глазами любви.
Но этот хмурый и грубый старик,
Знакомый с Катюшей близко,
К ней хорошо относиться привык
Лишь как к своей радистке.
Ни разу она его не подвела
В этом тяжелом сезоне...
И лениво глядячи из-за стола
На девушку в комбинезоне,
Он просто подумает иногда:
«А ведь хороша, курносая!
Верно, пришли и ее года,
Вишь, смотрит-то как, желтокосая,
Глазищи словно каленый орех,

А губы кого не введут во грех...»
Досадно за Катю. Досадно, ей-ей,
Но не всем же думать, как я и Андрей.
Узнаем лучше, про что и о чем
Она разговаривает с бородачом.
«Сейчас «Муссон» мне передал
По радию сигнал,
Что через час к нам приведет
В бухту кашалота.
На метров сорок будет кит,
И всем сегодня предстоит
Хорошая работа».
Завпроизводством трубку снял:
«У телефона капитан?
Радистка приняла сигнал,
Готовь к приемке катер...»
«Вот и к концу подходит план», —
Подумалось здесь Кате...
Она вздохнула. Перед ней
Прошли десятки страдных дней
Родимого завода...
Как бурно начался сезон!
Два раза налетал циклон,
Сплошь закрывала небосклон
Над бухтой непогода.
В такую хмарь, в такой туман
Как скупой дарит океан
Добычей китобойца.
Немало всем тогда за план
Пришлось побеспокоиться...
Соль запоздали завезти,
Чуть не сорвав посылку, —
Попробуй день здесь упусти! —
Пришлось до треста путь найти,
Чтобы добиться толку.
Сезонники... Ведь среди них
Немало было и таких,
Кому сам черт был нипочем,
Кто гнался только за рублем...
Людей такого рода
В кулак зажать пришлось... Добро,
Что было крепкое ядро
Кадровиков завода...
«О чем задумалась?... О чем?»

— «Да так... Пора ловить прием,
«Тайфун» и «Шторм» сегодня ждем...»
И вот проходит ровно час.
Мы с рейда не спускаем глаз.
И видно каждому из нас,
Как, заходя в кильватер,
Спешит к «Муссону» катер.
Нагнал. Тот бросил якорь... Кит
Взят на буксир... Теперь спешит
«Жучок» уже обратно к нам...
«По местам!...»
Кит доставлен. Всё в порядке,
Вверх тянуть его пора.
На разделочной площадке
Ждут добычу флейшера.
Начинается работа,
Режет слух сирены вой...
Вот втянули кашалота
К нам лебедкой паровой.
Лишь успел он приземлиться,
Как с оружием своим
Принялись всюду трудиться
Флейшеровщики над ним,
Темп всё четче и быстрее...
Погляди сюда скорей:
Всех напористей и злее
Наш орудует Андрей.
На работе он без робы,
Словно бог полунагой...
Сколько в нем веселой злобы,
Сколько удали лихой!
Быстрый флейшер, как секира,
Замелькавши над китом,
Драгоценнейшего жира
Пласт срезает за пластом.
Он с китом в последнем споре,
И расправа коротка...
И течет навстречу морю
Крови буйная река.
Потрудились мы на славу,
Восемь жилистых ребят...
Бойлера и автоклавы
Наше дело завершат.
...Давно окончена страда,

Давно из душевой
Парней веселая орда
Ушла к себе домой.
Но почему же наш Андрей
От новых приотстал друзей?
Спросите про Бугрова
У сторожа ночного.
С истерпывающей полнотой
Он вам ответит:
«Не впервой,
Опять в радиорубке, —
Пришило парня к юбке!»

12

Покрыл бамбук пологий склон
Непроходимой чащей.
Весь горный склон
Заполонен
Его листвою звенящей.
Когда в сверканье первых гроз
Земля сжимала складки
И подняла над морем мост
От тропиков к Камчатке,
Здесь с севером смешался юг,
И, солнцем напоенный,
Сюда пришел тогда бамбук
Тропой вечнозеленой.
Когда же новых катастроф
Забушевали силы,
Дробя на сотни островов
Скалистые Курилы,
И в свете первозданных звезд
Опять распался древний мост,
Бамбук прижился навсегда
В лесах чужого края,
Тысячелетья, как года,
Спокойно провожая.
Он не боится зимних вьюг,
С коротким свыкся летом,
Согрел его навеки юг
Своим теплом и светом.
Новопрорубленной тропой
На солнечном закате

Сюда субботнею порой
Придут Ильин и Катя.
Пусть будет трижды хороша
Любимая работа,
Но, против правды не греша,
Как хороша суббота!
Субботний день других красней
Тем, что с концом недели
Шагнул ты ближе на шесть дней
К большой ли, к малой цели.
А если жизнь, наоборот,
Попятиться заставила,
Ты скажешь, заглянув вперед,
Что это, мол, не правило.
И пусть корят, кому не лень,
Тебя надежд крушением,
Недаром следующий день
Зовется воскресением!
... Тропа, минуя трудный склон,
Вбежала вверх на взгорье.
На взгорье воздух напоен
Соленым ветром взморья.
Устав скучать и ждать один,
Давно Катюшу ждет Ильин,
Поляну мерит взад-вперед
Неспешными шагами,
То сердце руганью сорвет,
То скрежетнет зубами,
Зачем-то сняв, помял в руках
И вновь надел фуражку.
И вдруг пробормотал в сердцах:
«Черт побери, как тяжело!
Но коли так и быть должно,
То так и будет! Решено!
Уже тогда на берегу,
При встрече на рассвете,
Я перед Катей был в долгу,
Да и сейчас в ответе.
Она по складу человек
Отдачливого счастья.
Заложен на бугровский век
В ней целый клад участья.
Она найдет в его судьбе,
В ее перерешенье,

Что нужно ей в самой себе
Как самоутверждение.
Пускай с наивною,
До слез
Смешной ортодоксальностью
Она поборется всерьез
С бугровской безначальностью.
Взглянуть, так у ребят моих,
У Кати и Андрюши,
Поступки и метанья их
Как родственные души.
Катюше он во всем ровня,
А я — далекая родня.
Лишь дать возможность им двоим
Решать и жить вольнее,
Она себя в сравнение с ним
Почувствует сильнее.
И он свое житье-бытье
Легко ей сдаст на милость,
Узнав в больших глазах ее,
Что и во сне не снилось.
А что ей мне передавать,
Что выйдет из попыток,
Ей будет некуда девать
Душевный свой избыток?
Живя — тут буду я виной —
Как круглая отличница,
Она поблизости со мной
Невольно обезличится.
Как истине ни прекословь,
Идет к концу история...
В ней дремлет новая любовь,
А старая — в подспорье.
Но с нею, новой,
Как мне быть:
В раздоре ли, в союзе ль?
Смогу я сразу разрубить
Ненужный этот узел.
Чтоб Катя въявь, а не во сне
Нашла свою дорогу...
Была в подмогу правда мне,
Пусть будет ложь в подмогу.
Иначе будет год еще
Нахлынувшее сдерживать,

Ведь я-то знаю хорошо
Ее самоотверженность.
Пусть будет всё рассечено
Жестокой небылицей.
Оставив ей из двух одно,
Я ей не дам двоиться,
И на себя, вот этим днем,
Я лжи возьму постылость,
Солгу, чтоб ей самой потом
Лгать не приходилось».
Тут издали донесся шум,
Ильин собрался разом,
И вновь — расчетлив и угрюм —
В права вступает разум.
Со лба согнав следы морщин,
Себя одоблив вчуже,
Спокойно, как всегда, Ильин
Руку жмет Катюше.
Свиданьем в неурочный час
Девушка встревожена.
Она с него не сводит глаз,
Смотрит настороженно,
Как будто бы
Со стороны
Свои догадки взвешивая...
Чуть — показалось ей — грустны
Его глаза усмешливые.
Он чем-то, кажется, смущен,
Всё тот же и не тот же он.
«Так Расскажи по совести,
Что у тебя за новости?!»
...И голый смысл ответных слов
Был до нелепости жесток.
«Из новостей всего одна
Для нас с тобой важна:
Письмо прислала мне жена,
Людмила Ильина.
Тебе не раз я говорил
О нашей давней ссоре.
Я думал на краю Курил
Свое размыкать горе.
Ан, горе вслед за мной бежит,
И камень на сердце лежит.
Я помню месяц и число,

Ее уход к другому.
Все путь-дороги замело
К покинутому дому.
Но след обид успел простыть,
И я сумел ее простить.
Я помню чуть не наизусть
Ее письма страницы.
Такая в них, Катюша, грусть,
И так она стыдится
Того, что с ней произошло,
Что, право, грех мне помнить зло.
Так вот! Обдумал я ответ.
Ты, верно, догадалась?..
Ну, как здесь выговоришь «нет»,
Да сыну скоро десять лет...»
...Смертельную усталость
Почувствовала Катя... Еле слышный
К ней доносился голос издали...
Мешались краски неба и земли
В ее глазах пустынных... И никчемно
лишней

Сама себе она казалась в этот миг...
Всё рушилось... Но исподволь возник
В ней ясный и спокойный гнев,
Спасительное самоутверждение,
И, вчуже Николая разглядев,
Откинула она, как наважденье,
Всё прошлое...
«Подожди!» — крикнул Ильин.
«Ну, как дела?» — спросил Бугров Катюшу.

13

Миновало две недели,
Для рассказа — только час...
Так неужто к быстрой цели
Впрямь
К концу идет рассказ?!
И неужто, всё устроив,
Разочтя вперед года,
Участь всех своих героев
Впрямь решу я навсегда?
И, сомненьями измучась,
Брошу их, себя кляня?..
Нет! Давно чужая участь

Не зависит от меня!
Почему ж Ильин Катюшу
Вдруг решился оттолкнуть?..
Попытаемся-ка в душу
Ильину мы заглянуть...
За стаканом с крепким чаем
В предрассветной тишине
День рожденья он встречает
Сам с собой наедине.
Он к столу прикинул грудью,
Лоб в тугих ладонях сжат.
Меж локтями в пыльной груди
Фотокарточки лежат.
Обвиты табачным чадом, —
В дымке времени, точь-в-точь...
Так окинь пытливым взглядом
И припомни в эту ночь
Все удачи и невзгоды,
Кем ты был и кем ты стал
И кого за эти годы
На пути своем встречал.
Вот у праздничного флага,
Буйно рвущегося ввысь,
Перед зданием рейхстага
Три товарища снялись.
С ними шел ты в зной и холод,
Не знавал пути назад...
Как ты, брат, еще здесь молод,
Как еще здесь счастлив, брат.
Вновь глядят глаза живые,
Их вовек забыть нельзя —
Фронтовые, боевые,
Незабвенные друзья!
Вдруг, глаза их заслоняя,
Лег рядами ровных строк
Ненавистный Николаю
Полустершийся листок,
Тот клочок из переписки,
Что тянулась целый год...
Как далеки и как близки
Ощущения невзгод!
Постепенно оживая,
Вновь холодным жжет огнем
Боль упрямая, чужая,

Притаившаяся в нем:
«Я пришла домой в четыре,
На исходе лета, в среду...
Снова письма? Нет отбоя!
Разорвала — и в окно!
Походила по квартире,
Где от снятого портрета
На ободранных обоях
Стыло белое пятно.
Не скажу, что было просто,
Но скажу, что было сложно.
На семь радужных оттенков
Распадалась белизна,
И опять казалась плоской
Жизнь, что стала непреложной
Вот без этого — с простенка —
Непокорного пятна.
Вновь оно слепило морем,
Буйством песен и скитаний,
Синевой далеких странствий,
Необычностью путей.
И — прости-прощай — измором
Горемычных расставаний,
Ожиданья из пространства
Штемпелеванных страстей!..»
...Локти и скулы косым углом,
Ильин встает над квадратным столом:
«Что я сделал нынче дурного,
Или год, или пять назад,
Что рассвет прокуренный снова
Насыляет твои глаза,
Неподвижные, как у куклы,
Словно бусы... И с блеском бус,
Брови тонкие, губы пухлые,
Затверженные наизусть.
Что я сделал нынче дурного,
В чем, когда и чем виноват,
Что рассвет прокуренный снова
Насыляет твои слова,
Все бесстрастные,
Словно на смех,
Все пристрастные,
Как на грех,
Все ненастные из ненастных,

Все напрасные изо всех.
Что я сделал нынче дурного?..»
Воздух дымен, воздух чаден,
Словно память давних дней...
Будь же нынче беспощаден
До конца к себе и к ней.
Ты поймешь в далекой дали,
Сбросив груз давнишний с плеч, —
Чтоб тебя оберегали,
Должен ты других беречь.
И, богатство доброй воли
Не меняя на гроши,
Чутким быть к малейшей боли
Рядом дышащей души!
Осуждающее слово
Для себя побереги,
Не спеши покинуть крова
В ночь, не видящую зги,
Чтобы в радость, а не в пытку
Стало милое лицо...
Нет! Опять шинель внакидку,
Снова волглое крыльцо,
Снова гордость и угрюмье
Резкой складкой среди лба,
Снова горькие раздумья...
Где ж она, твоя судьба?!
В бухте влажными огнями
Переплескивает рябь.
Чуть колышимый волнами,
Встал на якоре корабль.
В предрассветной смутной дымке
По песку, вперед-назад,
Словно в шапке-невидимке
Тени легкие скользят.
Вновь у берега крутого
Бросил якорь быстрый «Шквал»...
Вновь Катюшу и Бугрова
В легких тенях ты узнал.
Недомолвки их послушай,
Беспокойный человек,
И не бойся за Катюшу —
У нее ведь долгий век.
Ведь она в боренье новом,
Вновь живя иной борьбой,

Будет счастлива с Бугровым
И несчастлива с тобой.
Горя первое крещение
От тебя приняв, как хлеб,
Станет медленней в решении
Вкруг мятущихся судеб.

Погляди на них со взгорья...

эпилог

Конец тринадцатой главы
На слове обрывается...
Ведь жизнь в привычные графы
Никак не умещается.
Как в сердце ни молись своим
Придуманным иконам,
Она пойдет своим путем
И по своим законам.
Поверх всех болей и обид,
Любовно и сурово,
По-матерински поглядит
На Катю и Бугрова
И, на себя приняв вину,
Смеючись над безделицами,
С укором скажет Ильину:
«Связался черт с младенцами!»
Тебя сейчас им не понять,
А ты понять их сможешь...
Не поворишь годы вспять,
Лишь душу растревожишь.
Твоя давнишняя беда
Сильна давнишней силой.
Пускай навек и навсегда
Чужие вы с Людмилой,
Но до сих пор в тебе живет
Она пытливой памятью,
Порой неожиданно обожжет
Метельной жгучей заметью.
И в мыслей яростной гоньбе,
Вдогон забытым чаяньям,
Она напомнит о себе
Сравнением нечаянным.

Напомнит и заявит власть
На молодость и зрелость.
Она навек с тобой сжилась
И к сердцу приболелась.
Пускай Катюше невдомек,
Что ты почел не вправе
Стать с будним грузом поперек
Ее воскресной яви.
И пусть Андрей Бугров сочтет
В неведение счастливым,
Что только он подводит счет
Разладам и разрывам.
С твоей свою смешавши грусть,
На честность и на совесть,
Я от его лица берусь
Окончить эту повесть.
Тропа Бугрова — далека,
Там места нет печали...
Моя последняя строка
Опять звенит на «Шквале».
...На «полный ход» приказ нам дан,
И под тремя винтами
Мы оставляем океан
За нашими плечами.
И снова на борту своем,
На прежнем месте снова,
Мы в гарпунере узнаем
И признаем Бугрова.
Как жадно смотрит он вперед,
Где рвутся ввысь вершины,
Где над смятеньем бурных вод
В скалистой красоте встает
Пролив Екатерины!

1956

180. ПЕСНЯ ПРО АТАМАНА СЕМЕНА ДЕЖНЕВА,
СЛАВНЫЙ ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
И РУСЬ ЗАМОРСКУЮ

1

Как на Юге-реке, при устье ли,
Было дело в Великом Устюге,
Поднимался с утра воевода,
Покидал он палаты сводчатые,
Выезжал верхом за ворота,
Городские ворота решетчатые.
А за ним, воеводой, следом
Проходили стрельцы по городу,
Каждый в ратном искусстве сведом,
Задирали, дерзкие, бороды.
Пробирались следом подьячие,
Писаря — приказные строки,
Очи волчьи, души собачьи,
Мастера наводить мороки.
На дома свои пятистенные
Понавесив замки пудовые,
Поспешали купцы степенные,
Торопились люди торговые.
Бросив речи свои дурацкие
И забавы свои бесовские,
Выползали голи кабацкие,
Те ярыжники запьянцовские.
Косы длинные — красны девицы,
Косы забранные — молодницы,
Хоть глазком взглянуть, что там делается,
За порог пошли подивиться.
Выбегали люди на улицу,
Положились соседи и смежники,
То не бунтом народ бунтуется,
На мятеж не кричат мятежники.
Не о нуждах своих беспокоясь,

Затолпились толпой устюжане —
Нынче денежный ждут они поезд,
Смотрят, едут ли поезжане.
Пригляделся с прищуркой строгой
Воевода князь Прозоровский:
Что там светится над дорогой,
Над большой дорогой московской?
Осветило ровное пламя
Многоцветный широкий пояс,
Солнце летнее над холмами
За версту показало поезд.
Так вот в лавке ловкий сиделец
Дорогие сбывает ткани,
Чтобы ярче они завиднелись,
На свету их держит руками.
Он их так повернет и эдак,
Между пальцев пустит умело,
И — глядишь — в глазах у соседок
Залазорело и заалело.
Облюбует парчу цветную,
Все до нитки проверишь взглядом...
Подъезжает поезд вплотную,
Вот уж люди и кони рядом.
Трубачи в одеждах нарядных
Перед строем едут казачьим,
Возле них веселый урядник
На коне гарцует горячем.
То его на дыбы поднимает,
То вьюном заставляет виться...
У девиц аж дух занимает,
Усмехаются молодницы.
Подмигнул одной круглолицей,
Показал молодые зубы,
Вдруг наотмашь взмахнул рукавицей —
И запели медные трубы!
Медью яростной колокольной
Им откликнулось звонкое слово.
Словно праздник первопрестольный,
Атамана встречают Дежнева.
Трижды залп смешав с перезвоном,
Расступилась стрелецкая рота.
Воеводе ответив поклоном,
Он въезжает первым в ворота.
Озирается — тихий и властный,

Усмехается — чудно и дивно...
Полыхает кафтан атласный,
И блестит золотая гривна.
Из-под шапки глаза темнеют,
Огневые грозят зеницы,
Поглядит — мужики сробеют,
Начинают бабы креститься.
Борода — по серебру чернью,
По расшитому сыплет вороту...
Привечаем знатью и чернью,
Он неспешно едет по городу.
Борзый конь тяжело ступает,
Знать подпал под твердую руку
И уж воли, видно, не чаёт,
Атаманову помнит науку.
Возле, чуть приотстав, воевода
На кобыле трусит чагравой,
Величаясь среди народа
И чужой выхваляясь славой.
Слух растет в толпе устюжанок:
«Атаман здесь, бабоньки, вырос.
В эту церковь, встав спозаранок,
Петь с мальцами бегал на клирос.
И теперь в слободе стрелецкой
Дом стоит старика Дежнева,
Сын с ватагою молодецкой
Улетел из-под отчего крова.
Ох, не встретит единокровных:
Четверть века как на погосте,
Не дождавшись молитв сыновних,
Отца с матерью тлеют кости...»
Атаману тот говор не слышен,
Он нахлынувшей думой утишен,
Смотрит мимо он
Взглядом влажным,
Смотрит поверх он взором странным,
Не всегда он был гостем важным,
Не всегда он был атаманом.
Не с казаками за добычей,
Не за славой громких походов —
Здесь ходил он с оравой мальчишьей
Огурцы таскать с огородов.
Не под свист одичалой вьюги
В зимнем море он правил кочи —

Здесь в затишье легкие струги
Выводил он в летние ночи.
На корме не Гришка Безносый
Здесь торчал с непотребной мордой...
Насказал тогда русокозой,
Что вернусь, мол, живой или мертвый.
И, о давней вспомнив утехе,
О своей светлоглазой ладе,
Губы сжатые тронул в смехе
И опять закусил в досаде.
Нынче полон собор многоглавый.
Двери настезь открыты в сени.
Отягчен почетом и славой,
Спешась, всходит Дежнев на ступени.
Злат ковчежец пречудного виду
Протопопу вручает с поклоном,
Чтобы вечную панихиду
Тут служили по убиенным,
По замерзшим и по утоплым,
По погибшим от мора и глада.
Помянуть просит словом добрым
Всех взыскавших вышнего града.
И, главу опустивши книзу,
Во души своей грешной спасенье,
Дарит он, по обету, ризу
И оклад в драгоценном каменье.
Мол-де, знает святая сила,
Богородице дал он слово,
Когда буря его носила
По волнам в день ее покрова.
И на сушу, с гребня на гребень,
Вышли утлые кочи с ходу...
Отстояв до конца молебн,
Атаман выходит к народу.
И, сойдя с щербатых ступенек,
Где столпилась нищая братья,
Тремя мерами медных денег
Оделяет всех без изъятья.
Тут же миру без проволочки
С зеленым вином ставит бочки.
Сам же, взяв казаков в подспорье,
Гостевать идет на подворье.
Притомились люди с похода —
Привечай гостей, воевода!

Многоустен Великий Устюг,
 Хвалит он на улицах людных
 Тех, кто в щедрых сибирских устьях
 Не забыл об истоках скудных.
 Возглашает он славу Дежневу,
 Рад тому, что Семен Иваныч,
 Честь воздав родимому крову,
 Гостевать остается на ночь.
 Вновь он, царскою ласкою взыскан
 И дорогою наказною,
 Из Москвы к острогам сибирским
 С государевой едет казною.
 Миновать ли свой город-отчину,
 Раз дороги на Камень вышли
 Через Вятчину и Вологодчину
 По Сухоне, Вычегде, Вишере?
 По увалам и по отрогам,
 По дорогам и перекатам
 Атаман к обедневшим острогам
 Едет с жалованьем богатым.
 Он его на Москве истребовал,
 Он по всем приказам стучался,
 И поклонами-то не гребовал,
 И посулами-то не стеснялся.
 Десять лет прослужил он
 В некорыстном походе и поиске
 И теперь сутягам и жилам
 О голодном напомнил войске.
 Говорили: мол, брось стараться,
 Деньги сгибли, возьми-ка в разум!
 Но в Москве за все девятнадцать
 Получил он единым разом.
 Знал — не даром челом ударю.
 Есть-де чем царю поклониться.
 Поклонился он государю
 Анадырской щедрой землицей.
 Нет, не зря он узнал удачей:
 Тверже камня и мягче воска
 Правит вольницею казачьей,
 Крепко держит буйное войско.
 Атаманство ему добывали
 Пули метки — родные детки,
 Замирялись дальние дали,

Покорялись с первой разведки.
Добывали ему атаманство
Сабли востры — родные сестры,
И прострились его пространства,
Разверставшись на долгие версты.
Шел тропой он землепроходской
В дни слепые и зрячие ночи,
С Колымы вокруг земли Чукотской
Он провел пытливые кочи.
Встав у края всего в изголовье,
Привязав челны у причала,
Анадырь с низов по верховье
Под свое он привел начало.
Путь прискорбен, страшен и долог,
Но Дежнев его тем прославил,
Что лишь за год чрез Ленский волок
Сорок тыщ соболей доставил.
Те, кто даром баклуши били,
Поговаривали оторопело:
«Без лихих устюжан в Сибири
Никакое не сладится дело».
Сколько рек на веку он вывершил,
Сколько стран исходил незнаемых,
Сколько дел порешил и вырешил,
Дел неслыханных и нечаемых!
Отступили пред ним границы,
Преклонили пред ним колена
Три девицы сибирской землицы —
Колыма, Индигирка, Лена.
Он рубил городки и остроги,
Строил струги, лады и кочи,
Через тундру торил дороги,
Службу нес до последней мочи.
Был он в службе пешей и конной,
В службе санной, лыжной и стружной.
Вел лады по хляби бездонной,
Шел он пустошью снежной и व्यюжной.
Ни пред кем не склонясь головою,
Он прошел по нездешним странам
И над ними встал с булавою
Верховым войсковым атаманом.
Ведь концы разгадав до срока
И в концах начала кончая,
Стал Дежнев в голове потока;

Тот поток — вся Русь кочевая.
Кто видал, как из озера вешнего
Бьет поток, берега вскрывая,
Убегая от места прежнего,
Достигая нездешнего края?
Он сперва без навиду рыщет,
Роет землю и днем и ночью,
И дороги вслепую ищет,
И пути находит воочью.
Те пути далеки-далёки,
Очеса их во тьме теряют...
Забирает поток притоки,
А притоки ручьи вбирают.
Сколько токов, ручьев и речек
В реках смешиваются человеческих?
Сколько частей, сколько судеб,
Кто их между собой рассудит?
Вот одна — глядит исподлобья,
Пятернею в затылке чешет...
Горевая судьба холопья,
Кто над нею душу не тешит?!
Расскажи-ка, судьба, по чести,
Ты поведай, рабская сила,
Из каких бежала поместий,
От каких господ уходила?
Знать, порядки-то были сладки,
Велика была барская милость,
Коли ты от них без оглядки
Во все тяжкие припустилась.
Здесь тебя приветят по-свойски,
На бешмет обменят сермягу.
Поверставшись в казачьем войске,
Поступай в любую ватагу.
Вот другая — девицей красной
Застыдобился парень пригожий.
Ум лукавый, к злату пристрастный,
Под смазливой прячется рожей.
Из приказчиков вологодских
Он сбежал с хозяйским товаром,
На распутьях землепроходских
Объявился, хитрец, недаром.
Он дела обделает чисто,
Торг соболий с Москвою наладит,
Наживется в двести и в триста,

Навсегда в Сибири осядет.
Ну а ты — из людей служивых,
Как зашла в гулевые оравы?
Кровь упрямая хлещет в жилах,
Громко требует чести и славы.
Душу завистью зря не мучай,
Раз по-волчьи сжимаешь скулы,
Значит, вырвешь зубами случай,
Прогрызешься, судьба, в есаулы.
Здесь каких только судеб нету.
Со всего пособрались свету,
Были розны, стали едины,
Словно капли одной стремнины.
Той стремнине мы грянем славу,
Сдвинув чаши свои наливные, —
С ней страна возрастает в Державу.
С нею Русь вырастает в Россию!

3

Будто гром в кирпичных палатах
С расписного ударил свода,
То в хоромы своих богатых
Пир гостям дает воевода.
Он хлопочет, как старый кочет,
И, чужой в поднебесном стане,
В грязь лицом ударить не хочет,
Угождая орлиной стае.
Ярым воском сытое пламя
До углов заливает светлицы.
Вдоволь вольнице за столами
Нынче выпало повеселиться...
Есть с чего глазам загореться,
Если в чарку-непереводку,
Коли фряжское не по сердцу,
Лей в охотку двойную водку.
На подмогу веселой силе
Вместе с горькой, сладкой и пенной
Целый вечер яства носили,
Перемену за переменной.
Гости за полночь засиделись,
До единого на ночь остались.
Песню спеть бы, да все припелись,
В пляс пойти бы, да приплясались.
И сказал тут казак седатый

С золоченой серьгою в ухе:
«Как мы шли за добычей богатой,
Нынче песня была на слухе.
За одной ли быстрой добычей,
За одной ли деньгой бегучей?
Дай-ка песню подправлю притчей
О судьбе своей неминучей...
На охоту пойдешь за векшей,
Понесет напрямик кустами,
Выйдешь к лесу, того не легче,
Сам пристал, глаза не устали.
Лес густым раскинулся станом,
Шумно дышит жаркой листвою,
Дуб матерым стоит атаманом,
Смотр ведет зеленому строю.
Он тебе кивнет над поляной,
Прошуршит навстречу ветвями.
И пойдешь словно гость желанный
Меж раскидистыми шатрами.
Но пройдешь лишь самую малость,
Глядь — кругом бурелом да сучья,
Войско стройное перемешалось,
Нет шатров, только лес дремучий.
Тут судьба посылает милость:
Невзначай на стежку наткнешься.
Ты куда, тропа, устремилась,
Ты куда, проказница, выешься?
До меня по тебе ходили
Чьи-то радости и печали,
Ишь как мох меж корней прибили,
Всю кору на них обтоптали.
Дай пойду тобой полегоньку.
Став на месте, немного выведаешь,
Полегоньку да потихоньку
Ты куда-нибудь, а выведешь.
И тропа, потворствуя взгляду,
Вдруг подарит тебя подарком,
К несказанному выйдешь граду,
Осиянному светом ярким.
Тут и кончишь свое хождение,
Отдохнешь под привольным небом...
Может, это одно виденье,
Может, марево, может, небыль?
Но хоть издали насмотреться

На красу его сможешь вволю...
Говорят, не прикажешь сердцу,
Вот такую и взял я долю». —
Кончил речь седой казачина,
Усмехаясь виновато:
«Знаю сам, мол, что не по чину
То мечтание мне, ребята...»
Но казаки молчат сурово,
Не слышать ни ругни, ни глуму,
Атаману казачье слово
Развязало давнюю думу.
Пламена всколебали свечи.
«Глянь! — он крикнул, весел и страшен. —
Рыбий зуб рукой человеческой
Сверху донизу изукрашен.
Посредине солнце и месяц
Вместе встали, хоть в небе розны,
А от них, в две стороны свесясь,
Коромыслом качаются звезды.
Ниже звездного полукруга
Улеглись плашмя по укусу
Два медведя против друг друга,
Мордой к морде и носом к носу.
Между тех мордатых медведей
Чудно нитка тонкая вьется...»
Атаман взглянул на соседей,
А глаза его — два колодца,
Два колодца — нагнись да охни! —
Глубоки темноты земные,
Но глядят через черные окна,
Ярко светят звезды дневные.
«Рыбий зуб у каменной кручи
Мне дарили в подарок чукчи.
Край чукотский — сужу по расспросу —
Здесь в медведя переиначен,
Ну а ниткой по самому носу,
То мой путь в волнах обозначен.
Как же дальше идти до смыслу,
Что гадать под другим медведем?
Мы по звездному коромыслу
Прямо в край незнакомый въедем.
Не туда ли в кромешные ночи
Унесло пропащие кочи?
По чукчанским живет разговорам

В той земле народ меднолицый,
Вместо бога там черный ворон,
Колдовская волчица царицей.
Не спознался б я с незадачей,
Побывал бы там с силой казачьей.
А приди я туда хоть с горсткой,
Сразу клич по Руси будет кинут,
Вслед за мною к земле заморской
Гулевые ватаги хлынут.
Всех привечу я добрым словом:
Исполать! Благодарствуй и здравствуй!
Вольной жизнью под новым кровом
Вечно жить казацкому царству!
Мы разыщем новые устья,
В глубь страны пройдем по протокам,
Нарекут Заморскою Русью
Нашу вольницу в мире широком.
Надоело быть под началом,
Дерзкий жребий охота вынуть,
Не пора ли к дальним причалам
Бунчуки казацкие двинуть? —
Атаман потянулся к чаше:
— Выпьем, что ли, за дело наше?»
Воевода глаза таращит,
Воевода слов не обрящет,
Еле выговорил оторопело:
«Что, мол, дело? Тут Слово и Дело!»
Атаман усмехающийся глянул,
Атаман надсмехающийся грянул:
«Не гляди исподлобья волком,
Ничего ты не понял толком.
Мы сегодня с друзьями своими
Громко славим царское имя,
И тебе быть с нами согласну,
И тебе б не брехать понапрасну».
Ох, не кончилось дело б худом,
Загудели казаки гудом:
«Что ты, старый охальник, спьяну
Войсковому дерзишь атаману!
Наши руки еще не ослабли,
Враз возьмем крамольника в сабли!»
Заморгал воевода чаше,
Впрямь пригрезились речи смелые,
Поднимают казаки чаши

За Великие, Малые, Белые.
Дружно шапки оземь ударя,
Пьют за здравье царя-государя:
«Славься, крепкая наша держава!
Алексею Михалычу слава!»
Как тут мерой верной измерить
Все ухмылки и речи лукавые?
Лучше на слово будет верить,
Что во всем они люди правые.
А Дежнева и впрямь не трожь...
Его голой рукой не возьмешь,
Где бы черти его ни носили,
На Москве он пока что в силе.
Воевода с чашей во здравье
Возглашает царю многославье,
А потом уж сидит молчком,
А потом уж и к двери бочком.
У казаков, как с плеч гора,
Пир горой пошел до утра.
...А наутро денежный поезд
Покидает Великий Устюг,
Словно яркий и пестрый пояс
Вьется он на улицах узких.
Всем его поглядеть охота,
Он на солнце играет и светит;
Трубачи въезжают в ворота,
Атаман вслед за ними едет.
Едет — жестким, прямым, надменным,
Из-под шапки смотрит угрюмо,
Но в груди, как в ларце драгоценном,
Запечатана тайная дума.
Меч Державы — он мощен и страшен.
И, чужой вздымаему волей,
Вместе узником, вместе стражем
Быть ему среди диких раздолий.
Но в спокойствии неразличимом
Не равнять никого с атаманом:
За хлеб-соль он с вежеством чинным
Благодарствует устюжанам.
И, прощаясь с кровным и близким,
Путь-дорогою наказною
Далеко к острогам сибирским
С государевой едет казною.

181. ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Напополам раздвоится
Хрустальная скала,
Звонит над Русью звонница,
Звенят колокола.

Новгород и Киев,
Ростов и Суздаль
Соизволяют
Тешиться всласть.
Молодости — буйство,
10 Молодости — удаль,
Молодости — воля.
Старости — власть.

Чернигов и Галич,
Смоленск и Любеч —
Разному возрасту
Разную страсть.
Молодость мятется,
Тоскует и любит,
Целует и плачет.
20 Старости — власть.

Владимир и Полоцк,
Рязань и Муром
Давний обычай
Не станут клясть.
Глупая юность
Дерзким утром
Небу грозитя.
Старости — власть.

Путивль и Звенигород,
30 Псков и Ладога
Корням и ветвям
Не дадут пропасть.
Молодости — брага,
Молодости — радуга,
Молодости — радость.
Старости — власть.

Посадничий дом — собор над собором,
Крыльцо — паперть, покои — алтарь.
Встал он над гомоном, шумом и спором —
40 Пастырь, владыка и государь.

Город над городом, ряд над рядами,
Стены в сажень — тараном тарань,
А в стенах дары завалили дарами
Киев, Суздаль, Тмутаракань.

Вся Русь от Корчева до Онеги,
От Волги до Ильменя, от Югры до Карпат
Раскинулась в праздности, холе и неге
Среди посадничьих крепких палат.

Заморские доли, леса и недра
60 Прислали сюда гостинцы свои:
Лари, столы и ложа из кедра,
Из кипариса резные скамьи.

По стенам сирины и алконосты
На мягкой коже свивают узор,
Мимо них подвигаются гости
Неслышным ковром под хозяйский взор.

Являя конец земных устремлений
И к вечной жизни последний шаг,
На том ковре голубых оленей
60 Златыми стрелами бьет падишах.

И впрямь падишах под посадничью кровлю
Прислал дары из полуденных мест,
Скрепляя гостинцем союз и торговлю,
Над коими светит софийский крест.

Меч в полтора человеческих роста,
Воюющий веси и города,
С хмурым гонцом прислал Барбаросса,
Кесарь Рыжая Борода.

И с настороженным принят вниманьем,
70 В угол поставлен кесарев меч
Первых угроз напоминаям,
Первой зарницей грядущих сеч.

Но озабочен инакой судьбою,
Доставил умный ганзейский купец
Покрытый диковинною резьбою
Мирный трехъярусный поставец.

Он изготовлен из красного клена,
А клен взрастило в далекой дали,
В теплом Винланде, щедрое лоно
80 Счастливым Лейфом открытой земли.

Ту землю через протяжные годы,
До коих ничей не достигнет взгляд,
Забыв прапращуровы походы,
Люди в Америку перекрестят.

С винландским кленом морская дева
Направила в Скандию темный вал,
Опытным оком взглянув на древо,
Вольный Любек его сторговал.

Потом нюрнбергские мастеровые
90 Год мастерили сей поставец,
Своим усердьем добыв впервые
Столярному цеху почетный венец.

А в поставце по полкам стеклянным,
Привезенный из-за Небесных гор,
Рисунком затейливым, чудным, странным
Взгляд забирает синский фарфор.

С великим он послан был береженьем
Через Великий шелковый путь
Скрытым и злобным предупреждением,
100 В чью не сразу проникнешь суть.

Ибо в рисунке на тонких чашках
С настойчивым тщанием изображен
В стремлениях трудных, в усилиях тяжких
Глотающий солнце желтый дракон.

А в красном углу золотые оклады
Зовут отдать смиренный поклон
Пред ровным сияньем вечной лампы,
Пред строгими ликами черных икон.

Посреди родни своей многоликой,
110 Под защиту взявший посадничий кров,
Высится сам Василий Великий,
Сокрушитель отступников и еретиков.

И ограждающая от преисподней
В трех перстях праха святая земля,
А в ней частица гроба господня,
Дар крестоносного короля.

Чуть поодаль на полках плотных
Собрание чудес, удивляющих мир, —
Книги в пергаментных переплетах,
120 Библия, Аристотель, Омир.

Пииты, философы и богословы,
Говорящие на семи языках,
Срывающие покровы, одевающие покровы,
Стоящие от истины в двух шагах.

А посреди просторной палаты
Два старца в креслах просторных сидят,
Мудры и властны, сильны и богаты,
Обоим далеко за шестьдесят.

Надежда черни, опора хозяев,
130 Православной церкви жесткий оплот —
Новгородский посадник Василий Буслаев
И архиепископ владыка Петр.

Оба горластым избраны вечем,
Друзьям в оберёг, врагам на страх.
Ими блюдется, нов и вечен,
Порядок в городе и в волостях.

Блюдется порядок трудный и славный,
Где в тяжкий кулак сжаты персты,
Утвержденный вольницей своенравной
140 От Невы до Мезени, от Шелони до Мсты.

Перед вечем за всё и про всё отвечая,
Власть встает, крута и строга.
Кипит и бурлит река вечевая,
Посадник с владыкой — ее берега.

Василий Буслаев грузен и кряжист,
Но каждым жестом к деянью готов.
Ему легка непомерная тяжесть
Долгих дум и долгих годов.

Владыка Петр медлен в движеньях,
150 Ломотой простудною занемог.
В неторопливых его вопрошеньях
Видный посаднику светит намек.

Возносят наверх, свергают наземь
Посадник с владыкой в вечерний час.
«Что будем делать с ненужным князем?»
— «Бездельника взáшей гнать от нас».

«Немцы роятся в Двинском устье,
Ливов крестит латинский поп».
— «Потолковать с приграничной Русью,
160 Густые заставы поставили чтоб...»

«Дряхлая старость вступила в колени.
Грехи молодые отмолим ли мы?»
— «Юной продерзости во искупленье
Заложим храм Уверенья Фомы.

На нас ли чудо теперь не явлено,
В какой мы, отче, с тобой чести...
Смолоду много бито-граблено,
Надо на старости душу спасти».

«А в нынешней юности силы-отваги
170 Опять переполнено через край...»
— «Давно пора сколотить ватаги,
Соколов вольных в полет выпускай».

Вперед за Камень
Уходят струги,
Ушкуйным ветром
Несет челны.
В погоню вышли
За счастьем други,
Авось у крайней
180 Найдут черты.

К богатой Ганзе
Ладьи уходят,
Разбег их девам
Следить во сне.
Ведь снова юность
Там верховодит,
Удачу ищет
В чужой волне.

Да смотрит старость
190 Недремным оком
За грубой дружбой
Пяти концов,
Чтоб возвращенье
В краю далеком
Сулило радость
Гурьбе юнцов.

Дерзанье внуков
И мудрость дедов
Сумеет старость
200 Соткать и спрясть.
Всё испытав,
Всё исповедав,
Старость над городом
Правит
Власть.

Буслаев трижды хлопнул в ладони,
Делу время, потехе час.
Зашелестело в посадничьем доме,
И входят в палату, стыдясь и дичась,

210 Красные девицы —
Пирожные мастерицы,

Блинные пагубницы,
Сметанные лакомицы.

Красавицы пригожие
На самый строгий суд...
Калики перехожие
За ними вслед идут.

Путь слова только начат.
Пройдет за веком век —
220 Калик переиначат
И превратят в калек.

Но в том забытом веке,
В исчезшие года,
Калики — не калеки,
А парни хоть куда.

Оставив за плечами
Заботу и нужду,
Они следят ночами
Бездомную звезду.

230 Уходят в путь, бросая
Богатство и почет,
Зовет их синь морская,
Степная ширь влечет.

В паломники уходят
Княжата и купцы,
Над ними верховодят
Лихие молодцы...

Поклон на красный угол,
На тихие огни.
240 Широим полукругом
Становятся они.

Взлетает быстрый сокол,
Заводит речь старшой:
«В твоём доме высоком
Не покривим душой.

Про солнце в поднебесье,
Про Хорсову ладью
Споем, посадник, песню
Про молодость твою.

250 Народ с тобой в расчете
И в былях не забыл,
Не в славе и в почете
Тебя он возлюбил.

В безвластье и в безбожье,
В отбив от зримых вех,
Стоял на раздорожье
Упрямый человек.

Под ним тогда раздался
Из преисподней гул.
260 Он в полный рост поднялся,
Дерзнул и посягнул.

В своем посягновенье
Из самых крайних сил
Не только дерзновенье —
Себя он преломил.

Что с ним поделать песне?
Молчание и тишь...
А ты сегодня в кресле
Посадничьем сидишь.

270 И только юность брезжит
Среди седых ночей,
Ты снова слышишь скрежет
Наточенных мечей.

Те битвы, сечи, схватки
Теперь не перечесть...
Ах, удадь без оглядки,
Ах, воинская честь!

А вечером ватага
Зажжет степной костер.
280 Разымчивая брага,
Бессонный разговор.

И юное веселье
Живым горит огнем.
Далекое, весеннее
Осенним вспомнишь днем.

Припомнишь ночь купальную,
Июньскую грозу
И девичью печальную
Прощальную слезу.

290 Пусть на твои дороги
В забытый вертоград
Языческие боги
С улыбкой поглядят».

Нахмурился посадник:
«Язык твой — острый нож,
От слов твоих досадных
Оскомину набьешь.

Вся речь твоя неистова,
Хулу на нас творишь,
300 И правда та не истинна,
И ложь ты говоришь.

С чужою знаться славой
Не будешь вдругорядь,
Тебя с твоей оравой
Велю с крыльца прогнать».

Но тут архиепископ
Смирил хозяйский гнев:
«Ты сам в речах неистов,
Яришься, аки лев.

310 О молодой отваге
Послушал бы и я.
Ушкуйники в ватаге
Была одна семья.

В миру тогда я звался
Не Петр, а Питирим.
О людях, с кем я знался,
Молитву сотворим.

Но грешных не осудим,
Зане и мы грешны.
320 Взаправду старым судьям
Младые снятся сны.

Я был, как вы, отчаян,
Класть не любил поклон...
Отходчив наш хозяин,
Смеется, вижу, он.

Гостеприимство крова
Хранит, беспутных, вас.
Мы выслушаем слово,
Послушаем рассказ

330 Про счастье и злосчастье,
Про давний непокой...»
Посадник в знак согласия
Легко махнул рукой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Кто кого? Чья взяла?
Чей почин? Чьи дела?
Господин Великий Новгород
Бьет во все колокола...

Хоть бы голь одна,
Что пьяным-пьяна,
340 Хоть бы сотни две удальцов-молодцов,
Хоть бы два конца, но все пять концов,
Но от бражников до степенных купцов
Все на улице,
Все лютуются —
Кто с кольем,
Кто с дубьем,
Кто с орясиной,
Кто с бревном, кто с доской,
Кто с хвалой,
350 Кто с хулой,
С наговоркою и напраслиной,

Поминают сегодня весь день-деньской
Имя звонкое *Васьки Буслаева!*..

Он с ватагой своей пришел с пятины
Из-под Заволочья, залешанской страны,
Непроезженной, непрохоженной,
Где он с совестью своей жил один на один,
Сам себе холоп, сам себе господин,
Новгородской молвой не встревоженный.
360 Ну, а Новгороду что до Васькиных дел?
Был бы смел, да умел, да во всем успел,
Лишь бы, рухлядью мягкой полным-полны,
Посылал бы Василий на Волхов челны;
Дорогая казна, соболиный мех
Поприкроют вину, позолотят грех.
А коль нет греха? А коль нет вины?
...Перед богом и Новгородом все грешны!
В чем же Васька повинен? В чем грешен он?
В том, что старцам градским из далеких сторон
370 Дорогих даров не сылал в поклон,
Божьей церкви не слал он десятую часть,
И земную забыл он и вышнюю власть!..

Ветер стяги взметнул над раздольем речным,
Над привольем речной своевольной волны,
И один за одним и один за другим
Чалки к прочным причалам бросают челны,
Быстрокрылые, острогрудые,
Где от верха до самого дна
Соболя лежат черной грудью,
380 Золотая под ними тускнеет казна.
Растекалась молва во все пять концов,
Доходила молва до седых купцов,
Ухмылялись купцы себе в бороду:
«Ой, скупенек сын у вдовы честной,
Видно, пил, да кутил, да тряс мошной
Он лишь с зеленоу, с буйну-молоду.
Он ни старцам честным,
Ни церквам святым
Ничего не шлет,
390 Всё себе гребет.
Что же, Васенька, сын посадничий,
Больше скряжничай, больше жадничай,

Не играй в кабаках ни в зерно, ни в кость,
Ты на возрасте, ты богатый гость!»

В день сентябрьский, в день новогодний
Красный бархат брошен у сходней,
И тяжелая всходит на сходни стопа,
И вступает Буслаев на берег крутой,
Где густая его ожидает толпа,
400 Где он девушкой будет привечен простой.

Ах, девушка-черनावушка,
Печальница моя,
Пришла лихая славушка,
Пришла в твои края!

Ты стон легчайший выстони,
Всех тише и грустней. . .
Лады подплыли к пристани,
Стоят у пристаней.

Ушкуйник? Нет, побасенки!
410 Разбойник? Как не так!
Давно зовется Васенькой
Он в девичьих мечтах.

Для всех он лихо. . . Лишенько!
Его ты назовешь. . .
Под вишней? Нет, под вишенкой
Ты Васю обоймешь.

И весело и гневно
Приняв поклон земной,
Мамелфа Тимофевна
420 Вас впустит в дом родной.

И, наградив смирение,
Подарит вам двоим
Свое благословение
Пред образом святым.

И громом грянет гридница,
И пир пойдет горой. . .
Свое лицо, бесстыдница,
Хоть рукавом закрой!

Ах, эти муки пыточные,
430 Желания несбыточные! ..

Зачем ты принесла его,
Гульливая волна,
Зачем ты не снесла его,
Не сбросила с челна,
Ты почему Буслаева,
Взметнувшись у весла,
К себе не унесла?

Ведь ты, волна изменчивая,
Неверная волна,
440 Одна ему невенчанная,
Но милая жена.

Ах, девушка-чернавушка,
Красавица моя,
Пришла лихая славушка,
Пришла в твои края!

2

Туча низко над бором нависла,
На ветру заметалась волглom.
Не расцвеченное коромысло —
Радуга черпала Волхов.

И под радугой многоцветовой
450 Прямо в небо крестами вколот,
Старовечный и вечно новый
Над рекой поднимается город.

Словно волны, толпятся кровли,
И, как птиц красноперых стаи,
Цвета яркой и буйной крови
Рвутся в небо червлёные стяги.

А по стенам ходит дозором
Больше сотни сильных и рослых.
460 Иноземец пытливым взором
Не сочтет их кафтанов пестрых.

Не ветра овевают, но ветры.
Не снега заносят, но снега
Этот город, грозный и светлый,
На высоком срубленный берегу.

А вокруг яснеют озера,
Темный бор переходит в рощи.
Нету в мире такого узора,
Нет красивей и нету проще.

470 Иглы сосен зимой полыхают,
А когда зеленеть березе,
Парни суженым посылают
Письма, писанные на бересте.

Тяжко дышат в престольный праздник
Деревянные мостовые,
Всех встречает — дельных и праздных —
Белокаменная София.

Горд Софией город могучий,
Красотой ее несказанной,
480 Тем, что здесь вот стоял над кручей
Сам апостол Андрей Первозванный.

Горд он колоколом недремным,
Медь гремит его гулко и веще,
Часто скопищем светлым и темным
Вкруг него собирается вече.

Здесь порой прощенья у голи
Просит набольший и богатый.
Вековой новгородской воли
Грозный колокол громкий глашатай.

490 Горд торговыми город рядами.
Ой богато живут новгородцы!
Завалили лавки дарами
Иноверцы да инородцы.

Толпа любому рада —
Всё веселит толпу! —
Ходже ли из Багдада,
Афонскому ль попу.

От холода заиндевел,
В декабрь, в солнцеворот,
500 Здесь зябкий гость из Индии
С ганзейцем торг ведет.

Склонив с досадой голову,
Надменный Альбион
Бруски меняет олова
На наш смиренный лен.

Здесь все моря и реки,
Здесь вся земная суть,
Путь из варяг во греки,
В грехи открытый путь.

510 Никто здесь зря не носится
С непокупным добром,
Торгуют крестоносцы
Святейшим серебром.

А честные арабы —
Возьмись кто покупать! —
И камень из Каабы
Решились бы продать.

И, как во время оно,
В убогости своей
520 Богатства Соломона
Здесь множит иудей.

Забыв о муке крестной,
Забыв господень гроб,
Здесь продает наперсный
Свой крест наш грешный поп.

Обычаям старинным
Переменяя лик,
Сиделец к фряжским винам
И к пряностям привык.

530 А женам их обновы
Носить сам черт велит,
Везут им из Кордовы
И шелк, и аксамит.

Недешево обходится
Мужьям заморский лоск,
За семь морей увозятся
Пушнина, мед и воск.

И сосны корабельные,
И крепкая пенька. . .
540 Ах, тридевятьземельные
Блага издалека!

Коли в поясе есть чем славиться,
В дом чужой, в дом любой без чинов
приходи.
На пороге тебя встретит здравица,
Все исполнятся твои прихоти.

А коль денег нет — не прогневайся
И с бедой своей сам разделявайся.

Гордый Новгород преславен,
Превелик и пребогат. . .
550 Почему ж болты у ставен?
Почему ж гремит набат
Беспокойными ночами
С беспокойными речами?
Почему ж гремит набат?
И у каменных палат
Псы хозяйские скулят?
А за крепкими замками
Их хозяева не спят
И дрожащими руками
560 Мелко крестят малых чад
У спасительных лампад?

По одному, по одному,
На кистень сменив суму,
Прямо в темь, прямо в темь
Неизвестно отколь,
Из каких таких щелей,
Чем позднее, тем смелей,
Тем отчаянней и злей
Выползает голь.

570 Прячьтесь за стены, обидчики,
Лихоимцы и повытчики,

Разорители, погубители:
Больно многих вы днем обидели.
Ну а ночью, незрячей ночью
Зрячий страх узрите воочью.
Он с ножом в руке, с кистенем в руке,
С Васькиным именем на языке.

Сам-то Вася в том не повинен,
Да язык-то молвы как длинен,
580 Ох, как сладок язык надежды,
Не смыкает надежда вежды!
Говорят о Буслаеве многое:
Что идет он своей дорогою,
Ни пред кем он не хочет склоняться ниц,
Обращает недолю в долю,
Осушает слезы сирот и вдовиц,
Смердам дарит вольную волю.

Вот каким бы стал он в стоустой молве,
Вот каким бы он стал у людей во главе,
590 А ведь это-то дело поболее
Дела бранного в ратном поле.
Для него оно самое славное,
Да для нас-то не самое главное.

Как ушкуйника знал его город,
Васька вовсе тогда был молод,
Все мы в молодости славолюбьем грешны,
А каким же сейчас он пришел с пятины?

3

Вот Буслаев стоит на широком дворе,
По колено стоит в злате-серебре,
600 А поверх меха, шубы новые,
Соболиные и бобровые.
Все не трачены, все не ношены,
Как рогожи, лежат, поразброшены.
Скатный жемчуг и бисер, как сор дрянной,
По углам сметены под дубовой стеной.
С одного плеча он спустил кафтан,
Шапку козырем заломил набекрень,
Не хмельным вином — он весельем пьян,
Он таким не бывал и в загульный день.

610 Хоть он вежеству с малых лет учен,
Видно, всё забыл в буйной вольнице,
Людям добрым он не кладет поклон,
На святую Софью не молится.
Без почета-зачина он держит речь,
За такую речь только б голову с плеч!

«Вот стою я, Василий Буслаев сын,
Сам себе холоп, сам себе господин,
На край света ходил я, и в том далеке
Искупался я, Васька, в Иордань-реке,
620 Где допрежь меня, так же наг и бос,
Окунался лишь Спас Иисус Христос.
Полземли исходил я и впрямь и вкось,
На пути мне легла человечья кость,
Обходить я не стал мертву голову,
А ногою пнул по лбу голому.
Посулил мне череп и мытарств и зол.
Только сплюнул в ответ я да прочь пошел.
По себе я хорош, по себе и плох,
И не верю я, Васька, ни в сон, ни в чох,
630 Ни в змеинный шип, ни в вороний грай,
Ни в кромешный ад, ни в господень рай».

Тут Василий вздохнул и на миг умолк,
Посмотрел вокруг, речь пошла ли в толк:
Люди тише воды, люди ниже травы,
От предрезостных слов ни живы ни мертвы.

«Я не ангел, не аггел, я живой человек,
Как хочу, так живу, так и кончу свой век.
Тридцать лет и три года я жил как хотел,
На чужих людей не оглядывался,
640 Только мало я, Васька, пожить успел,
Мало в жизни своей я порадовался.
Мало попил вина, мало девок любил,
Мало дрянных голов кистенем поразбил.
Но и то сказать, не моя вина,
Что всего вина не испить до дна,
Девки красные как грибы растут,
А суд кистенем — больно милостив суд.
Насобрал я богатства со всей земли,
Я на трех морях разбивал корабли,
650 Брал я пошлину у богатых гостей,

У высоких господ, у могучих князей,
И во всем-то мне, Ваське, всегда везло,
Только рано ли, поздно взяло меня зло,
Стал я, молодец, призадумываться. . .
И раскинул умом я да решил без затей:
Поделюсь-ка с людьми я удачей своей,
Ведь на вас поглядишь — просто сплунешь

с тоски.

Не умеете вы, люди, жить по-людски,
И в глазах-то страх, и в сердцах-то страх,
660 Перед властью вы как подножный прах.
Голодны, как псы, и трусливы, как псы.
Поразмыслишь — одно сокрушение. . .
Человек — венец поднебесной красоты,
Нашей светлой земли украшение.
Вы недаром на двор мой ко мне пришли,
Здесь сегодня не ждет вас ни кнут, ни плеть,
Насобрал я богатства со всей земли,
Не запрячу я их ни в подвал, ни в клеть.
Всё берите! Распоряжайтесь!
670 В платья царские наряжайтесь,
На весь век набирайте добра про запас.
Разбивайте бочки заморских вин,
С сего часа да будет любой из вас
Сам себе холоп, сам себе господин!»

Вновь Василий вздохнул и на миг замолк,
Поглядел вокруг, речь пошла ли в толк:
Люди тише воды, люди ниже травы,
От неслыханных слов ни живы ни мертвы.

«Неужели вы, люди, боитесь меня?
680 Разве хворост сухой пострашится огня?
Ярким пламенем вместе гореть им,
Всё на свете и сметь и посметь им.
Верно, речь не доходит сегодня моя
В ваши головы бестолковые. . .
Попонятливей вас ватага моя.
Вы ушкуйники — братья крестовые!
Вы слышали речь, что держал я к ним?
Всё дарите-раздайте гостям дорогим.
Всё и всем раздарите у всех на виду.
690 А покуда я, Васька, спать пойду!»

4
Перед господом не склоняй головы,
Перед кесарем не роняй головы,
А с врагами речь: «Я иду на вы!»
А с друзьями речь: «Только я да вы!»

Василий спит без просыпу,
И снится Ваське сон,
Что к самой звездной россыпи
Во сне он унесен.

700 Пылают выси звездные,
И среди тех высот
Смирненные и грозные
Он лики узнает.

Крестом сложивши рученьки,
Вкусив небесный хлеб,
На Ваську смотрят мученики
Борис и Глеб.

По тверди, ровно посланной,
Идет к нему, светясь,
Грядет равноапостольный
710 Владимир — стольный князь.

Бросает голос в дрожь его:
«Василий, гой еси!
Мы у престола божьего
Заступники Руси.

Устои вековые
Ты подопри плечом,
Ты должен стать России
Щитом или мечом.

720 Но щит и меч народа,
Народа своего,
Познай: глагол «Свобода» —
Погибель для него».

Безверен взгляд был синих,
С безуминкою глаз:
«Я щит и меч России,
Но вы мне не указ,

Да и Христос не вечен
В своих словах навек,
Он — богочеловечен,
730 Пусть бог, но — человек.

Я смысл его ученья
Отбросил, возлюбя,
Не нужно мне спасенья
От самого себя.

Хочу сейчас по чину
С открытым встать лицом
Не в поклоненье сыну,
А в рост с его отцом».

Распались выси звездные,
740 И опустились ниц
Смиренные и грозные
Сиянья вышних лиц.

И Васька в грешной оторопи
Рукой по лбу провел:
«Неужто правда, господи,
Ты въявь ко мне пришел?!

Нет, я тебя не вижу,
Твоя не ясна плоть,
С рожденья ненавижу
750 Бесплотность я, господь.

Ведь на твоём бы месте —
Ох, звездное крыльцо! —
Земле бы, как невесте,
Я подарил кольцо.

Кольцо безгрешных брашен,
Кольцо людских сердец,
Без тюрем, войск и башен,
Церквей твоих, творец!»

... Услышалось молчанье
760 Незримого лица,
Послышалось звучанье:
«Тебе не дам кольца!»

Перед господом не склоняй головы,
Перед кесарем не роняй головы,
А с врагами речь: «Я иду на вы!»
А с друзьями речь: «Только я да вы!»

Василий спит без просыпу,
И снится Ваське сон,
Что он под звездной россыпью
770 На землю унесен.

Дол встает в соловьиных гимнах,
Предстает перед Ваською схимник.
В темнооком буслаевском сне
Он стоит прислонившись к сосне.

Он стоит в домотканой одежде,
Рядом ласковый дремлет медведь.
Знает схимник, что было прежде,
Знает он, что случится впредь.

Тихо дышат робкие травы,
780 А деревья склоняются ниц,
Грозным отсверком бранной славы
Блещет свет далеких зарниц.

Земля в рассветных росах,
Цветы горят во мхах,
В руках у старца посох
И книга книг в руках.

«Я огненным прозрением
Пишу свою строку:
Да станет откровением
790 «Слово о полку»! . .

Грядут века глухие,
Грядет и глад и мор,
Повергнется Россия
В неслыханный разор.

Неумолимо грозно
Взглянул нам в очи век.
Пока еще не поздно,
Опомнись, человек!

Так подними же вежды,
800 Раскрой их ввысь и вширь,
Последняя надежда,
Последний богатырь!»

Песня б неприкаянная выгорела
Одинокой рощей на юру,
Но в его лишь слове «Слово Игорево»
Заревом взметнется на ветру.

А в Ваське колобродит
Хмельное озорство,
В нем выход свой находит
810 Земное естество.

«Грустна твоя прибаска,
Но веселее Русь...
Пожалуй-ка я, Васька,
Возьму да и проснусь!»

Перед господом не склоняй головы,
Перед кесарем не роняй головы,
А с врагами речь: «Я иду на вы!»
А с друзьями речь: «Только я да вы!»

5

Василий просыпается
820 Средь дома своего,
Стоит над ним красавица,
Печальница его.
Ох, оченьки несчастные!
Прекрасна и чиста,
Она лобзает страстные,
Прегрешные уста,
Глядит не наглядится,
Себя не устыдится,
Покорна и проста.

830 А Ваське давно всё равным-равно,
У него с похмелья в глазах темно.

Говорит ему девушка-чернавушка:
«Велика твоя, Вася, славушка,

Но я уж сегодня язык развяжу
И тебе, господину, всё скажу.
Не ищи царевен за морем!
Вот стою я перед тобою
Светлой радостью, светлым горем,
Неизбывной твоей судьбою.
840 Я навек у тебя невольница,
Ты и крепость моя, ты и вольница.
Перед миром и богом жив и един,
Сам себе холоп, сам себе господин.
Но, душу живую твою сторожа,
Я твоя раба и твоя госпожа».

Похмелье злое осилив,
На локтях приподнялся Василий.

«Как рана ножевая,
Смысл твоих речей.
850 Моя душа живая
Живет без сторожей.

А вокруг живые души
Боятся встать с колен,
Петля на них всё туже,
Всё уже тесный плен.

Тащись, надежда, волоком,
Входи со злости в раж,
Наш новгородский колокол,
Наш первый страж.

860 Да тут еще грозится —
Живи, мол, не греша —
Столикая божница,
Святые сторожа.

Среди трудов и брашен
Всегда мне мил и люб,
Но всё же грозным стражем
Встал новгородский люд.

Уж, кажется, как брага,
В ватаге жизнь бежит,
870 Но ведь сама ватага
Ту брагу сторожит.

А тут еще, разгневанно
Маня к себе в покой,
Мамелфа Тимофевна
В дверях стоит с клюкой.

Да таково начало,
Да и конец таков,
Тебя лишь не хватало
С ключами у замков».

880 Девушка-черनावушка бледным-бледна,
Ваське кланяется в пояс она:

«Хоть и речи мои развязаны,
Но пути мне отсюда заказаны,
Твоя матушка — наша жизнь и смерть —
Приказала мне тебя запереть.

Ах, не веришь ты, Вася, в слезы ничьи,
На тебе, Вася, вот эти ключи.
Отпирай! Отпирай! Отпирай!
Дверь открыта! Иди в свой край,
890 Ненавистный мне, злой и буйный
Край ватаги твоей ушкуйной».

Закрывает она от стыда лицо,
А Василий выходит без стыда на крыльцо.
В нем кровь колобродит, как брага,
Ожидает его вся ватага.

Пришли, как званые гости,
И Буслаеву молвит Костя
По прозвищу Новоторжанин,
По званию княжий крестьянин:

900 «Мы не хвастаем, что нам всё нипочем,
Но затронут нас, так толкнем плечом,
Что весь Новгород закачается,
Волхов с Волгою повстречается».

Такого привета не чаяв,
Рассмеялся в ответ Буслаев:
«Вы свободно силой богаты,
Я набата слышу раскаты,

Колокол звонит среди белого дня,
Медь гремит и грохочет.

910 Кто хочет сегодня хвалит меня,
Бранит и хулит как хочет.

Питирим-трубач, протруби трубой
Колоколам городским вперебой:
Великий Новгород кличу на бой!
Испытать судьбу, тряхануть судьбой!
Вызываю, Василий Буслаев сын,
Сам себе холоп, сам себе господин.
Всю, Новеграде, силу твою,
Друг против друга встанем в строю.

920 Твой строй — порядок, а мой — без,
За тебя господь, за меня бес,
А впрочем, и беса не нужно мне,
Пускай в бою торчит в стороне.

Твой строй — да, а мой — нет,
За мной вопрос, за тобой ответ,
И даже ответа не нужно мне,
Ответа ни набело, ни вчерне.

Твой строй — середка, а мой — края,
У тебя — стрежень, у меня — струя,
930 А даже струей плыть не по мне,
Режу саженками встречу волне.

Твой строй — века, а мой — день,
У тебя луч, у меня тень,
И даже в тени не вольготно мне,
Свежему пламени в жарком огне.

Твой строй — камень, а мой — прыжок,
Ты, Новеграде, мне душу возжег,
Твою вековую тишь да гладь
Хочу я, Васенька, перемешать.

940 Перемешать да раскатать.
Против отцов поднимается чадь.
Против отмеренных скушных слов.
Против устоев, против основ,

Против бояр восстанет голь,
Отымет у знатных хлеб да соль,
Выгонит знатных из крепких палат,
Единою бедностью каждый богат.

Встанет безверье против Христа,
Станет душа пуста и чиста,
950 Безвестная правда на ней одна
Напишет незнаемые письма.

Не хочу пред тобою склонить чело,
Противлюсь тебе силою сил».
— «Ради чего? Ради чего?» —
Колокол яростно спросил.

«С тобой, Новеграде, выбора несть.
Идти за тобой — великая честь,
Другим по нраву дорога твоя,
Куда, мол, ты, туда, мол, и я.

960 А мне охота легко вздохнуть,
Легко вздохнуть да пуститься в путь,
Пуститься в смех да пуститься в грех
Мимо твоих означенных вех.

Ты ведь земной, а не вышний град,
А каждый тобою поставлен в ряд,
Вершишь раньше времени Страшный суд,
Ан люди себя без тебя спасут».

Колокол рявкает с высоты:
«Разбив у нас от таких, как ты.
970 Пора кончать разбив-разброд,
А ну, удалец, выходи вперед!»

Выходит Буслаев на средину моста,
Вверху красота, внизу красота,
Над синей рекой синий покой,
Синий покой над синей рекой.

Впереди толпа толпится,
Каждый сват, каждый друг,
Начинай с родными биться,
Не жалея плеч и рук.

980 Как с роднею разобраться,
Прежде чем покажет тыл?
И двоюродного братца
Васька за ноги схватил.

Был дубиной, стал дубиной.
И, крутя вопящим им,
Вася грохает детиной
По знакомым и родным.

Дядя, что ли, смотрит волком,
Но схлестнулся с молодцом —
990 И ныряет дядя в Волхов
Старым псом, мокрым псом.

Шапка сбита, порван ворот,
Сброшен походя кафтан.
Он с моста прорвался в город,
Забубенный атаман.

Взяв орясины и колья,
Вместе с ним, рядом с ним
Всё веселое застолье —
Костя, Фомка, Питирим.

6

1000 В глазах у Василия темным-темно,
В руках у Василия не меч, а бревно.
Как рукой махнет — станет улица,
Двинет пальцем одним — переулочек.

По острастке жестокой знают его,
Разбегаются все от Буслаева:
Ноги в руки, а плечи сутулятся,
Хоть купец, хоть сапожник, хоть булочник.

А Буслаев вслух похваляется:
«Не помог мне, Ваське, ни дьявол, ни бог,
1010 Я без них весь город сам перевозмог.
Это в жизни не с каждым случается.

Никакой мне не нужно иной судьбы,
С деревянными лбами стукнул я лбы,
Лбы не только что деревянные,
А железные и оловянные».

Рано Васька хвалился! Пятьсот удалцов
Валом валят с городских концов,
А к ним на подмогу, злостью горя,
Вся братия Юрьева монастыря.

1020 Причитает девичья красота:
«Такого страху не видали доднесь,
Зашатри, батюшка, шатром ворота,
Терем камкою, матушка, занавесь».

А сами из-под камки, сами из-под шатра,
Простодушные глазоньки округлив,
Смотрят, как сшиблась с горою гора,
Глядят, как с разливом схлестнулся разлив.

Голов проломленных не сосчитать,
Вышибленных плеч не перечесть.
1030 Тузят друг друга деверь и зять,
Колотят друг друга свекор и тесть.

Две силы сошлись... Да полно, две ли?
Бурлит на улице сила одна,
Одна она в деле, одна в безделье,
Нет этой силе ни края, ни дна.

Сам с собой схлестнулся Буслаев,
Плотью пошел на свою же плоть,
Свой образ в толпе нещадно излаяв,
Не может себя он преобороть.

1040 Две половины, две равные части
Столкнулись здесь на позор и срам,
В обеих со счастьем смешалось несчастье,
Радость и горе в них пополам.

Искать обиду не на ком —
Одна и та же рать,
Некому и не над кем
Верх
Брать.

Напрасное горенье,
1050 Напрасное боренье.

Раздается голос с кремлевских круч,
Сходит к бойцам веселый бирюч —
Новая шуба, шелковый кушак,
Широкая грудь и широкий шаг.

«Смири гордыню, коли упрям,
Охлади обиду, коли горяча,
Правый и виноватый,
Разойдись по домам.
Ничья!»

1060 Ваську этот исход не устраивает,
Он принять ничью не удостаивает,
На бирюча он глядит в упор,
Не так, так эдак решится спор.

Со бровей его соболю бежит,
Со очей его сокол летит,
Говорит он так, осердясь, бирючу:
«Твою ничью я принять не хочу.
Ты неправду сказываешь, всё ложь говоришь,
Свое сердце тешишь, а мое гневишь.

1070 Я всю жизнь, бирюч, хожу
Всё по острому ножу,
А теперь мое житье,
Знать, взошло на острие.

Говорить с вами нечего! Вот мой сказ:
Вы к Софье святой пойдете сейчас,
В день конечный и в день начальный.
В день печальный послепасхальный.

Или мало сегодня бил я всех
Со своею верной ватагою,
1080 Мне ведь эти побои не в смех и не в грех.
Я своей не хвалюсь отвагою.

Нет, на паперти сам собой похваляюсь,
Хоть уж знаю, что будет со мной, наизусть.

Потому что не стерпит родная Русь
Мою злую печаль, безысходную грусть.

Идите со мной на вече,
Где слово звучит человечесь,
К святой приходите Софье,
Где слова написаны кровью
1090 Над резной многовечной дверью,
В которую я, Васька, не верю».

Пошли!

Только звон колокольный идет издали,
Еле внятен пока, еле слышен,
То ли с неба звон, то ли с земли,
Всё равно этот звон всевышен.

Дорога у Буслаева — как по скатерти,
Вот стоит он сейчас на паперти.

Против церкви его приходской —
1100 Тяжкий колокол новгородский,
С серебром в нем слита гулкая медь,
Не устанет она на всю Русь греметь.

А красуется колокол между белых столбов,
Речи выучен он человечесьей,
Перед ним сотней тысяч упрямых голов
Городское склоняется вече.

В первый раз Василий смутился,
Он смутился, поколебался,
Тут-то колокол раззвонился,
1110 В сто пудов своих раскачался.
«Я-то, колокол, здесь важнее всех,
Я-то, колокол, вам не в грусть и не в смех.
Я не девица, не родная мать,
Попробуй со мной, колоколом, ты совладать! . . .»

Злое Васька принял решение
В это светлое воскресение:
«Что ты, колокол, болтаешь, гремя и звеня,
Неужели ты, колокол, испугаешь меня?

Буду делать я только то, что хочу,
1120 Я сейчас через тебя при всех перескачу!»

Даже у колокола отнялся язык,
К речам этим колокол не привык.
А Василий Буслаев со зла, сгоряча
Срывает кафтан с крутого плеча,
Он к разбегу своему примеривается,
Он в себя еще крепче уверивается.

В глазах у Буслаева смертная тьма,
Тут-то выходит вперед толстый Фома:

«Мы, разбойники и погромники,
1130 Греховодники и скоромники,
Мы тебе при всех низко кланяемся,
От тебя при всех отрекаемся.

Не разлучала нас твоя удаль,
Ни Новгород, ни Киев, ни Суздаль,
Ни синее море, ни темный лес,
Ни светлое небо, ни бог, ни бес.
Много нам с тобой было дадено —
Два столба, а меж них перекладина.
За тобой мы пошли б хоть на виселицу.
1140 Но ведь колокол над нами висится.
Есть у чарки дно, есть у моря край,
Спасибо за всё и прости-прощай!»

Он поклон до пояса отдал
И с ватагою встал поодаль.

Колокол! Колокол! Колокол!
Молчит новгородское вече,
Но в громе слово звучит человечье
Горькой правдою, гордой речью.

Гром перекрывает простые слова,
1150 Мамелфа Тимофевна во всем права.
Поднимает Вася черно-голубые
Глаза живые и уже неживые:
Пред ним не мать, а сама Россия!

«На кого же ты руку решил поднять?
На Русь, что ли? На родимую мать?
Нет, не колокол — я тебе вещаю,
Страшный конец я тебе обещаю,
От себя отлучаю!»

Колокола зазвучал язык,
1160 Колокол к этим речам не привык.
А Василий еще разминается,
Он расстегивается и разбегается.

Вся душа его нараспашку. . .
Вдруг хватают его за рубашку,
Дорогую рубашку, шелковую,
От портняжки, почти что новую.

А Васе до колокола лишь один скачок,
Кричит он девчонке-чернавушке:
«Ты смотри сукна не вырви кусок,
1170 Не мешай моей буйной славушке!»

Колени целует ему Ксения
Ради светлого воскресения,
Буслаев ее швыряет прочь,
В глазах у него темная почь,
Свою смерть он хочет настигнуть,
Через колокол перепрыгнуть.
Разбегается он с каменных плит,
В ответ ему колокол чуть слышно звенит.
Набрался Буслаев последних сил
1180 И впрямь через колокол перескочил.

Да жаль — не остался Вася живой,
Расшибся о землю он головой.
Кровью он облился густой,
Поцеловался с зеленой травой,
С зеленой травой на камнях мостовой. . .
Всё случилось в одно мгновение
В светлое воскресение.

И тут-то Буслаеву конец пришел.

Только колокол не звенит, а гремит
1190 У соломенных крыш, у каменных плит.

Вечерний Хорс за рекой погас,
Песня пропета. Окончен сказ.

Посадник седой встряхнул головой:
«Тянется юность за трын-травой,
А она обернется разрыв-травой».

Ввечеру владыка на речи скуп,
Сошел приговор с подсохших губ:
«Людам не старостью стал ты люб».

Выступает вперед старшой из калик:
1200 «Посадник грозен, посадник велик,
Но дорог песне грешный ушкуйник
В мечтаньях, делах и продерзостях буйных.

В нем всё естество и мечтание наше,
Нету для нас его лучше и краше.

Ночи темные, не месячные,
Реки быстрые, перевозу нет,
Леса частые, караулов нет.

В пору такую Василия имя
Бубенцом звенит над краями глухими.
1210 Я по ним хожу, без опаски гляжу,
Васино имя, как божье, твержу.

Мы ходим, калики, по подоконью,
Собираем, бедные, куски ломаные,
Куски ломаные, ломти резаные.

Но мало покажется тихим днем,
Мы громкое имя произнесем —
И в нашу суму пироги полетят,
А те пироги вином подсластят.
У каждого здесь родня да семья,
1220 Матушка моя, ты — нега моя,
А сестрица моя — трубчатая коса,
Трубчатая коса, суровые глаза.
А жена — дом, жена — стан,
Жена в дому — наказной атаман.

Все хороши, а из-под них смотреть —
Молодцу гибель, молодцу смерть.
Как нам прекрасный плен превозмочь?
А Ваську помянешь да из дому прочь.

Раскрепоститель Васенька наш,
1230 Спаситель наш, украститель наш.
А кого только Васи́на сила
На конь не садила?!
Один — в пояс, другой — ниц,
Все мы кланяемся у божниц,
А Вася не верил ни в сон, ни в чох,
Сам себе бог, сам себе черт.

Славим Ваську!
За Василия Буслаева положим живот,
Ведь Васькина слава нас переживет.
1240 Ивашки, Петьки, Митрохи,
Калики, бездомники, скоморохи,
Ну а под конец как нам Ваську расчесть,
Васькину доблесть, Васькину честь?
Загубил буйну голову Васенька —
Вот о том-то наша побасенка.

В скоморошьих наших дудках грусть-печаль,
Ох как жалко Ваську! Очень Ваську жаль!
Он же наш верховодец, наш крестовый брат,
Но ведь он же сам во всем виноват.

1250 Слишком многое ему было дадено,
Два столба, а меж них перекладина.
Нет, не виселица, а по смерти около,
Вечевой новгородский колокол.

Нельзя через колокол перескакивать,
Отзвонит он тебе погребальный звон,
Не будем мы Ваську оплакивать,
Пожалеем Васькин посмертный сон.

Славим Ваську!
Во славу его споем и спляшем,
1260 Но что за беда головушкам нашим!»

Колокол! Колокол! Колокол!
Гремит новгородское вече,
В нем слово звенит человечье
Гордой совестью, гордой речью
На славянском нашем наречье.
— Кто кого? Чья взяла?
Чей почин? Чьи дела?
Господин Великий Новгород
Бьет во все колокола.

1270 Посадник себя, молодого, прощает,
Каликам милость обещает,
Колоколу поклон отдает.

1957—1972

182. ФРОНТОВАЯ РАДУГА

Свой добрый век мы прожили, как люди —
И для людей.

Георгий Суворов

1

В недостижимом дымном зазеркалье
Под времени знобящий перегуд
Мгновенья, что когда-то отсверкали,
В десятом измерении текут.

Освещены далекими огнями,
Придя из нестареющей нови,
Там в гимнастерках с крепкими ремнями
Стоят друзья — товарищи твои.

Смеются одногодки и погодки,
Года рожденья после Октября,
Заломлены фуражки и пилотки,
В петлицах по два, по три кубаря.

А у кого на праздничные плечи
Легло по паре звездчатых погон. . .
Смеются легендарные предтечи
Теперешних незнаемых времен.

Стоят они в одном кругу прощальном,
Содружеству солдатскому верны.
С начальным днем и с месяцем начальным
Смешался в них последний год войны.

А в кобурах привычные наганы, —
На приступ с ними к Н-ской высоте!
Не вышли лейтенанты в капитаны,
Но вышли к той невидимой черте,

Где все равны в своей посмертной славе,
Где им черед бессмертия настал,

В литую бронзу воплотиться вправе, —
Для них Россия — общий пьедестал.

Над ними молодое светит небо,
Привстань — до облаков подать рукой,
И белая клубящаяся нега
Тебя обнимет медленной рекой.

Но им сейчас не до прекрасных далей, —
Того гляди, как с яростных небес
Последним знаком всех земных печалей
Сгрохочет «юнкерс» на окрестный лес.

С треклятой «рамы» частое движенье
Внизу установив, наверняка
Фашисты засекли расположение,
Параметры стрелкового полка.

Тут, наскоро одернув гимнастерку,
В порыве быстром неопередим,
Прочь зашагал с полынного пригорка
Лихой разведчик Колька Бородин.

Расхохотавшись, поглядел на небо,
Ведь он недодышал и недожил,
Недолюбил — и сотни разных «недо»
Звенят в крови его веселых жил.

За сорок лет до наших разговоров,
Сковав одно из песенных колец,
Сказал об этом Николай Майоров,
Вблизи увидев смертный свой конец.

2

С пригорка
 под сапогами
 легка,
Вдоль
 знакомого
 лога
Ведет
 напрямую
 к тылам полка
Проселочная
 дорога.

В ближнем селе пресловутый тыл,
И не нужно особой сметки
Догадаться, зачем туда зачастил
Командир полковой разведки.

Остановился накрепко взгляд,
Где, на счастье
или несчастье,
В просторной избе месяц назад
Гражданские
встали власти.

Тогда, плотную дверь отворя,
Глотая слова привета,
Лейтенант увидел секретаря
Местного сельсовета.

Не был парень еще на веку
Таким охвачен смятеньем.
Показалась девушка фронтовику
Мирной жизни виденьем.

Но всё, что раньше случалось с ним,
В годы мальчишьяго пыла,
Дымом

вдруг
поднялось
цветным,

Поблекло
и отступило.

Смолкли пластинкой недавних времен,
Шумны, раскатисты, гулки,
Ночным освещенные фонарем
Довоенные переулки.

Раскрылась ему сельсоветская дверь,
Будто вышняя милость,
И всё здесь сошлось

навсегда теперь,
Всё
сюда
устремилось.

И всё тотчас же приобрело
Добавочное значенье.
Невидимое
 подписало
 перо
Невидимые
 реченья.

Он был опален жгучей звездой,
Упавшей невесть откуда.
Впрямь гимнастерки его простой
Дуновенье коснулось чуда.

Половицы вовсю заходили под ним,
Часы зазвонили стенные.
Еще немного —
 небесный нимб
Черты б
 окружил земные.

Нимба вокруг девичьего лица
Не было
 и не встало,
Но радость без края и без конца
В просторных глазах сияла.

Наш лейтенант увиделся ей
Совсем по другим замерам —
В молодцеватой форме своей
Ослепительным офицером.

И пусть ослепительным были в нем
Только его годы,
Мы с первого взгляда любовь узнаем
В погоды и непогоды.

Почти без слов,
 без речей почти
Первое узнаванье,
Но, раз уж двоих
 скрестились пути,
Можно сказать заранее:

Еще закружится голова,
Сдвинутся близкие плечи

И тогда придут другие слова
В другие свиданья и встречи.

Вместе с юношеской похвальбой
Правда наполнила фразу.
Каждое слово и жест любой
Ловила девушка сразу.

Такие рассказы вечерней порой
Гнали вперед события.
Необходим не храбрец,
а герой
В неромантическом быте.

А был лейтенант романтичен,
хоть плачь,
В нем геройская чуялась складка.
Шуршала,
как мушкетерский плащ,
Зеленая плащ-палатка.

Счастье и горе ему пополам
Свою отделили долю,
Кидало его по госпиталям,
Как говорится, вволю.

Ему хватило бы орденов
Для будущего парада,
Но отставала в чашах тылов
Очередная награда.

Путь его по Большой войне —
Был путем поколенья.
Он принял обдуманное вдвойне,
Но, по сути, простое решение.

3

Трудное дело начато,
Так его и держись!
Жизнь
не пишется
начерно,
Набело
пишут
жизнь.

Судьба нам определилась,
И вышло по этой смете —
Возможная
 необходимость
Собственной
 смерти.

Идет в атаку пехота,
Танки идут на таран.
Кому умирать охота?
Лучше десятков ран.

Лучше любые увечья,
Чем личное и твое
Провальное нечеловечье
Полное небытие.

Как лампу выключат разум,
Захлопнут резко тетрадь.
Жизнь
по второму разу
Не
переиграть.

Слыхали, как раненный тяжко —
До смерти подать рукой, —
Вдрызг раздирая рубашку,
Ругается с медсестрой:

«Рано записывать в мертвые,
Еще увижу жену.
Не надо, — твердит, — морфия,
Мучаюсь, значит, живу».

И всё же, всё же, всё же
Не ты дороже всего —
Есть то, что еще дороже,
Дороже тебя самого.

Что Колька изведаль в жизни иной
Перед тем, как попасть в разведку?
Ну, прежде всего, перед самой войной
Он кончил десятилетку.

Недавнюю память лишь раззадорь —
И всё пролистает детство.
Оно на улице Красных Зорь
Дарило ему в наследство

Добро без начала и без конца
Под кровлею дома отчего,
Матери ласку и взгляд отца,
Питерского рабочего.

Но тучи заволокли горизонт,
И в страдные дни отступленья
Отец,
добровольцем уйдя на фронт,
Погиб
партбойцом ополченья.

Упал он в траву к врагу лицом.
Вы так же прожить сумеете! ..
Хочу,
чтоб меня
партийным бойцом
Считали
до самой
смерти.

И пусть ненадолго,
но после нее,
Забвеньё
пока не приспело,
Стихами
продлится
мое бытие,
Мое
партийное
дело.

Хочу
свою любовь
к Ильичу

Всему
переведать
миру.

Давно позабылся мой ранний стих,
Но в детское то мгновенье
Я малышом пятилетним постиг
Первое вдохновенье.

5

С давнего часа, с далекого дня,
Где бы судьба ни носила,
К лучшим делам
направляла меня

Та
ильичевская сила.

Когда обозначился мой черед
В глаза поглядеть Отчизне,
Я слово
на ближние годы вперед
Давал
в три возраста жизни.

В тот год мартеновской печью зажглась
Первая пятилетка.
Жизнь меня оценила на глаз,
Началась характера лепка.

Мы юную представляли страну,
Ее новизны заметы,
Когда в пионерском клялись ряду
Выполнять Ильича заветы.

Второй пятилетки горели огни,
И вспышками их освещало
Шагавшие вдаль комсомольские дни,
Крутой дороги начало.

Едва сравнялось пятнадцать лет,
В пятерках и драках школа, —

Мне с ленинским профилем
новый билет
Вручил райком комсомола.

Просьбу мою нашел секретарь
В куче других заявлений:
«Во все лопатки к знаниям шпарь,
Учись, как советовал Ленин».

Хороший день другой нагонял,
Таким же хорошим обрадованный.
Я строил Большой Ферганский канал,
Сиявший цветными радугами.

Цветными радугами труда,
Песней дехканской воспетого.
На ноте высокой звенела струна
Всенародного праздника этого.

Родных, друзей и знакомых окрест
Оповестив заранее,
Сюда сошлись из тысячи мест
Всей Ферганы дехкане.

И мы, москвичи, пришли туда,
Русской ведомые речью.
Навстречу рабочая встала страда,
Товарищи встали навстречу,

Чтоб сообща в этот край провести —
Да не будет ей переводу,
А хлопку расти и садам цвести —
Желанную светлую воду.

В сухую землю вгрызался кетмень,
Еще солнце желтело низко,
И каждый с песнями вставший день
Зеленел ростком коммунизма.

О ферганской я вспоминал мечте
В звоне недельной бессонницы,
Когда в осколков и пуль решете
Морозное встретил солнце.

Была у молодости начата
Только лишь первая строчка,
А с жизнью короткой кончил счета
Мой друг Михаил Молочко.

А с ним в невозвратное далеко,
К лугам безмолвного края
Ушел навсегда Георгий Стружко,
По финским снегам шагая.

За белой снежной пеленой
Глухие захлопнулись двери.
Означены были первой войной
Первые наши потери.

В жарынь Ферганы и финский мороз,
Как поколенья заклатья,
Встают во весь нескгибаемый рост
Большие слова и понятия.

На Юге и Севере
Мир и Война
Свое нам лицо показали.
Мы Счастье и Горе
узнали сполна
И Жизнь со Смертью
узнали.

Своим рассветным я кланяюсь дням,
Жестоким своим рассветам.
Ребачиться некогда было нам,
Бойцам с комсомольским билетом.

Под вражеским хутором Хйлики-два
Впервые я подал в партию,
Но выбил финский февраль едва
Не всю нашу ротную братию.

Не вышел из этого дела толк,
Но причины были простительны:
Погиб

на озерном льду
парторг,
Погибли
мои поручители.

По срывистым тропам обрывистых лет
С отрога и до отрога
Вот так меня вел

До партийного комсомольский билет,
вел
порога.

вел

порога.

Прицельный на Невский ложился снаряд,
И в орудийном дыме
Ледяной и голодный вставал Ленинград
Октября непокорной твердыней.

Мое поколение мужало в борьбе,
И не было выше награды —
Назвать себя членом ВКП(б)
После прорыва блокады.

Назвать себя членом ВКП(б)

После прорыва блокады.

По всем континентам круглой земли,
Куда бы ни шел по свету я,
В десятилетия годы текли,
Партийному слову следуя.

В десятилетия годы текли,

Партийному слову следуя.

И я до конца бороться готов
За бесконечное дело,
Где стажа

Где стажа

тридцать с гаком годов
Как тридцать дней
пролетело.

пролетело.

6

Писали мы юности общий дневник,
Коли, Павки, Сережи,
Все мы в точках своих отправных
Товарищ с товарищем схожи.

Все мы в точках своих отправных

Товарищ с товарищем схожи.

То, что я здесь рассказал о себе,
Памятью стих накаляя,
Пускай теперь в сельсоветской избе
Станет судьбой Николая.

Пускай теперь в сельсо

Станет судьбой Николая.

Случались у нас, естественно, с ним
Значительные разночтения,
Сначала начисто разъединим
Сердечные наши влечения.

Сначала начисто разъедини

Сердечные наши влечения.

Держа при себе порывы свои,
Ожидая другого начала,
Не знал Николай довоенной любви,
Что меня на пути встречала.

Короб несет счастья
Каждый встреченный день,
Ты с этим днем в соучастье,
Только кепку надень.

Только скатись по лестнице
В утреннюю Москву
К милой своей прелестнице,
Ждущей тебя на мосту.

В библиотеку вместе,
Но что вам теперь до книг —
Лучшие для вас вести
Не вычитаны из них.

В осеннем лесу прочтете
Рдеющую листву,
На самом трудном зачете
Не срежетесь в том лесу.

Себя через годы спросим
О юности лучшем дне,
И первокурсная осень
В кленовом вспыхнет огне.

Затем Николаю остались чужды
Науки давней уроки.

Он никогда
от звезды до звезды
Не твердил
стихотворные строки.

Помню, в залегшей роте,
Пока на плечах голова,
При вражеском арналете
По звукам сближал слова.

Со смертью в тесном обручье
Поэзию я постиг,

Звуки лились в созвучья,
Созвучья сливались в стих.

Над нами стояло столетье,
За шиворот тербя,
И запахи, звуки, соцветья
Мы брали вокруг себя.

Передавали стихами,
Слово ставя ребром,
Быстрых «катюш» полыханье,
Артиллерийский гром.

Мешался запах сирени
С запахом мертвых тел.
Соловья оборвались трели —
Снялся и улетел.

А мы, пичуге в замену,
Армейские соловьи,
В стихах поднимали цену
Радости и любви.

Самой революции младше,
Юностью
 голубой
Походной ротой на марше
Навязанный
 приняли бой.

В такой обстановке позицию
Некогда выбирать.
Любой пригорок сгодится
Укрыть неумелую рать.

Наспех отрыта ячейка,
Силы —
 один к трем.
Щелкает трехлинейка,
До отказа
 дослан патрон.

Недружно грохнули залпы,
Теперь обойму смени.

Горестны
и внезапны
Войны
первые дни.

Незыблемой встанут правдой
Слова
забытых речей,
И назовется Непрядвой
Рябой
от осколков
ручей.

Мертвенно светит ракета,
И под ее огнем
Здание
сельсовета
Московским
встанет
Кремлем.

И с самого беглого взгляда
Будет видно окрест —
Крышами
Ленинграда
Ближний
поднимется
лес.

Малое станет великим,
Час возвысится в век,
Героем тысячеликим
Засветится человек.

7

Вспомнить пора об оставленном дне,
Застрял на опасной грани я.
Стал говорить о Бородине,
А пошла моя биография.

Путь поколения каменист,
Но его возрастные звания:

Пионер,
комсомолец
и коммунист —
Девизом
блещут
на знамени.

Эти ступени прошел Николай,
Идя по годам, как все мы,
Каким характером ни наделяй
Героя своей поэмы.

Но если ты эту минуешь суть,
Во второстепенном затерян,
Скажут ровесники —
не обессудь,
Характер
не
характерен.

Совсем неожиданно в здешнем краю,
Узнав по встречному слову,
Николай подругу сыскал свою,
Наташу
нашел
Одинцову.

В молодежный актив отвоєванных сел —
Среди кандидаток первая —
Ее направил сюда комсомол
Из областного резерва.

Была она родом из этих мест,
Но в город ушли родители.
Глаза ее
речку, поле и лес
Ни разу
с тех пор не видели.

Отец и мать, уйдя навсегда,
В родные края не вернулись,
Но девчонку всё время тянуло сюда
С городских надоевших улиц.

Не стала Наташа глядеть в облака,
В земную шагнула действительность,
Когда, приехав издалека,
С памятью ранней свиделась.

То, что с селом случилось теперь,
То, что война сокрушила, —
Любим аршином
 беду отмерь,
Всё равно
 не хватит аршина.

Но добрые люди
 простую избу
Для счастья ее разыскали.
Женскую долю,
 девичью судьбу
Увидала она в Николае.

Ни книги, прочитанные за столом,
Ни концерты в притихшем зале —
Поединки воздушные над селом
Их развлечением стали.

Жизнь создавала быт фронтовой,
И в годы прямые и гневные
В каждой землянке на передовой
Ворошились дела каждодневные.

Быт создавался в ближних тылах,
В штабах,
 на почте,
 в санчасти,
Где были улыбка и взгляд второпях
Скромным
 набором
 счастья.

А у связисток шумит патефон,
Ставят без лишних вопросов,
Пластинки невозвратимых времен —
Шульженко, Козин, Утесов.

И ты сантиментам чужим не перечь,
Сойди с обусловленных точек,
Чтоб снова с опущенных падал плеч
Синенький скромный платочек.

Давнишнего неба он станет синей,
Взмахнув над праздником старым
Наивной мелодией
 праведных дней
Навстречу
 обнявшимся парам.

Круженье вдвоем,
 и всё нипочем, —
На Неве воюя,
 на Волге ли,
Ребята
 всю жизнь
 вспоминали потом
Минуты
 эти
 недолгие.

А жизнь тогда —
 полдня иногда,
Хорошо,
 коли полнедели.
Не знал никто,
 не гадал никогда
Целым
 дойти до цели.

О моем поколенье
 спросите меня, —
В списке
 жестоком и строгом
Погибших поэтов
 встают имена:
Майоров,
 Суворов,
 Коган.

Светлую тризну справляя по ним,
Не дав омертветь печали,
Своим дыханьем и словом своим
Мы их стихи продолжали.

На век человеческий верность отмерь,
И в строящейся поэме
Я распахнул сельсоветскую дверь
Своей постоянной теме.

8

Мы в ближний опять возвратимся тыл,
Где Николаю навстречу
С охапкой радости выходил
Каждый свободный вечер.

К счастью влюбленной нашей четы,
На фронте стояло затишье,
И в этой тиши рождались мечты
Девчоночьи и мальчишьи.

Вот так, вблизи тропы полевой,
Недель не достигнув полных,
Вертя доверчивой головой,
Беспризорный растет подсолнух.

В солнца брызгах и каплях дождя,
Желтизной купаясь пригожей,
Цветет,
пока, с тропы не сойдя,
Не сорвет
случайный прохожий.

А то — не век расти прямиком,
Красуясь под небом светлым, —
Оземь ударит его швырком,
Ударит внезапным ветром.

Но бедный подсолнух еще и пока
Вселенной встает средоточьем,
И солнце глядит на него свысока
Усмешливо и озабоченно.

Давно перейдя с «вы» на «ты»,
Ребята летними днями,
В стремленья преображая мечты,
Их вместе соединяли.

Сердцами накрепко сведены,
Глядясь в незнакомые дали,
О том, что будет после войны,
Не раз они рассуждали.

В стремленье
каждому розный край,
Своя
у каждого мера.
С питерских дней хотел Николай
Учиться на инженера.

Наташа была в селе рождена
И в мечте
домашнего выдела
В послевоенные времена
Себя
агрономом видела.

Могла порваться общая нить
На будущих раздорожьях.
Ну, как им вместе объединить
Профессии две несхожих?

Они гадали о месте таком,
Где жить бы единым ладом,
Чтоб инженер и агроном
Дружно работали рядом.

Север позвал их в край золотой —
Мол, будете жить, как дома,
Бороться с вечною мерзлотой —
Перспектива для агронома.

И тут же, только сил не жалей,
Трудись до седьмого пота —
В доброй дюжине отраслей
Для инженеров работа.

Наверно, коли прикинуть еще,
Поразмыслить более-менее,
Нашли бы куда развернуть плечо,
Направить свои стремления.

Меня справедливо спросите вы,
Прояснить события желая,
Куда же девались слова любви
У Наташи и Николая?

Заменяли признанья в растерянный миг,
Порой непривычно счастливой,
Взглядов
 красноречивый язык,
Объятий
 язык молчаливый.

Когда же кругом пошла голова
И глаза запылали бессонно,
Пришли удивительные слова
Из древнего лексикона.

В долгие ночи
 и быстрые дни
Ни звучали слова
 где бы —
То же везде
 значат они
Со времен
 Адама и Евы.

Неразмennomу в силе равны рублю,
Не бесценней его нисколько:
«Наташенька, как я тебя люблю!»
— «Как я люблю тебя, Коленька!»

В своих неприятях тверда и резка,
Молодость наша решительная
Напрочь
 выкидывала из языка
Ласкательные
 и уменьшительныс.

Но, легки и пугливы, как беглая тень,
Опасаясь насмешек стужи,
Они проникали в жаркую темь
И обжигали души.

Природу метлой гони за порог —
Влезет в окно природа,
Но мы
 бесхитростный жизни урок
Не принимали
 с хода.

И, ночью любимой до дна излив
Все святые банальности,
Мы утром
 свой костерили порыв,
Презирая
 сентиментальности.

А тех, случайных в рядах своих,
Ребяческое малосилье,
Не признавая ровнями их,
Сопляками, озлясь, крестили.

Я помню — на самолетном крыле,
В ладони кольцо парашюта —
Парню перед прыжком к земле
Погрозилась в глаза минута.

Бедняга опять в кабину залез,
Но на дороге обратной
Он из компании нашей исчез,
Лишь раз пойдя на попятный.

Как памятен мне
 парашютный прыжок
Молодостью упрямой.
Тогда он с налету
 мне душу обжег
Перед войною самой.

Такими мы были в те времена,
И, верша планеты делами,

Наивно, но четко, к звену от звена,
Событий цепь разделяли.

На лыжах скользя, целясь в мишень,
Прыгая с парашютом,
Мы расчисляли мирный день
Уже по военным минутам.

И азбуку воинского ремесла
Как тревожный вдыхали воздух.
Она по-сестрински нам помогла
На войны обугленных верстах.

Опять нас окутал разымчивый дым
Лирического отступления.
Вернемся снова к своим молодым,
Посмотрим на них с отдаленья.

9

Перед тем как поставить последний крест,
Начальство хмурило брови
На фронтовых
женихов и невест,
На военные
наши любви.

В другой обстановке бы наплевать
На взгляды, смотрящие косо,
Но, того гляди, покатится вспять
И рухнет с крутого откоса

Влюбленных душ потаенная речь,
Твое недолгое счастье...
Ну, как его сберечь-оберечь
От начальственной этой напасти?

На тебя одного ложилась вина
За дела для войны излишние.
Ко всем чертям послала война
Наши вопросы личные.

Солдатское дело — бить врага,
Это твой долг и право,

И если затопит в бою берега
Гнева и злости орава —

Тебе простится такой переклест,
Нарушенная граница,
Но мирный взгляд
девичьих звезд

Войной
ни за что не простится;

Тот взгляд, единственный и родной,
Ласкавший тебя в изголовье.
Любовь

всегда во вражде с войной,
Война
на ножах с любовью.

Но той поножовщине
наперекор
Веселое шло отомщенье.
Решили ребята
с недавних пор
Затвердить свои отношения.

Смешавшись с военной бедой пополам,
Им в руки валило счастье:
Наташа по сельсоветским делам
В райцентре бывала часто.

Когда пробиралась в который раз
В кирпичном крошечке улиц,
С искореженной вывескою «Райзагс»
Глаза ее переглянулись.

«Р» в названье осыпалось впрах,
И «айзагс» подмигивал весело
Всем, как он, побывавшим в боях,
Прошедшим военное месиво.

Дóма, смеясь, рассказала она,
Как названье войной прочитано.
«А если Айзагсу сдается война?» —
Спросил Николай неожиданно.

Наташа в глаза посмотрела ему:

«Что значит такая фраза?»

Но незачем были

и ни к чему

Объяснения

с этого раза.

Если судьба заседляет коней,

О скорости не печалься:

Был Николай через несколько дней

К старшему вызван начальству.

Он пробыл едва ли не три часа

В дивизионной разведке,

Разбирая привычные чудеса

Находчивости и сметки.

Наташа всю ночь не смыкала глаз

И, вскочив еще на рассвете,

Боясь пропустить назначенный час,

Ждала его в райсовете.

Но встретил жених спокойный взгляд,

Когда пришел с опозданием,

И вот уже вместе они стоят

Перед загса разбитым зданием.

Ничего им не дал первый этаж,

На второй привела их лестница.

Там начинала служебный стаж

Наташи прямая ровесница.

Она взглянула из-под ресниц

На жениха и невесту.

Себя, как водится у девиц,

Примеряя к Наташину месту.

Военный плакат, суровый портрет,

Пожелтевшая пальма в кадке

Напоминали недавних лет

Торжественные порядки.

«У лейтенанта паспорта нет, —

Рассудила ровесница здраво. —

Ставить печать на другой документ
Вряд ли дано мне право.

Впрочем, — смягчилась девушка вдруг, —
Должно же быть исключенье.
Давайте,

ради друзей и подруг,
Ваше
удостоверенье».

Ребят опасной шуткой смутив —
Мол, всё сорвалось сначала, —
Она, мурлыча случайный мотив,
По-новому их повенчала.

Напоследок сказала, по-детски важна,
Расширив глаза большие:

«Я вас поздравляю,
муж и жена,
От имени
всей России».

Николай
отцепил фляжку с ремня,
Продлевая
минуты светлые:
«Поднимем втроем
в честь этого дня
«Наркомовские»
заветные!»

Радостным пламенем обожжены,
Дети
грозной вселенной
Из мирной загговской тишины
В мир
шагнули военный.

Мир, где из тьмы жестоких веков,
Сквозь дым проступая чадный,
Все пять полыхали материков
Огнем войны беспощадной.

Судьбе шагнули наперерез,
Влекущей муку-разлуку. . .
Николай в грузовик первым залез
И подал Наташе руку.

10

Мчал грузовик к тылам полка,
С ним счастье быстрое мчалось.
Была дорога недалеко,
Но далека оказалась.

Дорога шла через древний бор
Вдоль красно-желтых сосен.
Праздника ради в лучший убор
Нарядилась русская осень.

На спуске у иссиня-черной реки
Навстречу молодоженам
Заполыхали березняки
Угольем разожженным.

Село показалось под редким дождем,
И соцветье радуги яркой
Самым счастливым в жизни днем
Стремительной выгнулось аркой.

Одним концом она в черной реке
За обрывистой падала кручей.
Терялся другой конец вдалеке,
В туче канув летучей.

Руками держась за кабины верх,
В жизни
 общем начале
Новобрачные мимо последних вех,
Самых последних
 мчали.

Колодец. Воронка. Развилка углом.
К сельской площади прямо.

Но не зря
с утра
над ранним селом
Упрямо
кружилась
«рама».

Словно предвидел черный пилот
Счастье пары влюбленной.
Был скорректирован артналет
С точностью неуклонной.

Пристально вглядываясь в живых,
Гибель ходила рядом —
Летающий
по улице
грузовик
Тяжелым
накрыло
снарядом.

Юность,
мчавшую через село,
Разнесло,
как с прямой наводки.
«Ничего существенного. . .»
Произошло
Вопреки ежедневной сводке!

Произошел конец естества,
Конец бытия человеческого,
Исчезли прекрасные существа,
Носители пламени вечного.

Война, обновляя разведвзвод,
К личностям непримирима.
Вряд ли память о них донесет
До сдавшегося Берлина.

Но сами они не оставят пост,
Совсем неприметный с виду,

И, поднимаясь
над гибелью в рост,
Себя
не дадут в обиду.

Сквозь черноту непроглядного зла
По следу
прямому и горькому
Николай возвращается из села
К покинутому
пригорку.

К своим друзьям ведет за собой
Упирающуюся Наташу.
Гремит внизу нестихающий бой,
Пьют люди смертную чашу.

Там, при свете багряных звезд,
В радости и печали,
Держали юнцы неприметный пост,
Насмерть его держали.

Пост неприметный своей любви,
Своего недолгого счастья.
Не для того ли в недавней нови
Случилось им повстречаться?

В дружеский круг двое ребят
Встают на полынный пригорок.
У Николая нацеленный взгляд
По-разведчицки точен и зорок.

Наташе он показал сперва,
Потом товарищам верным
Огни, что виднелись едва-едва
На расстояние безмерном.

Огромного города вдалеке
Увиделись очертанья.
За лесом, сбегавшим к черной реке,
Возникли странные зданья.

По ним,
увеличась в тысячу крат,
Как на экране,
наплывом,
Засквозили
упрямые лица подряд
В стремленье
нетерпеливом.

С губ
срывался яростный зов,
Глаза
призывали и звали,
Едва доносились обрывки слов
Из отчаянной дали.

Но вспыхнула огненная полоса
По черте фронтового края,
И вырвались
мощные голоса,
Столетий
шум покрывая.

Подписала
последний счет
Времени
бесконечность.
«Неужто
нас Будущее
зовет?»
— «Да», —
ответила
Вечность.

ИЗ ПЕРЕВОДОВ

С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

Зейнал Халил

183. ЗВЕЗДЫ

Роман в стихах

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

О Гюльнар! Звонкоголосый соловей!
Отвечай мне, почему тебя не слышно?
Почему ты от моих бежишь дверей?
Или снова сердце рвется на куски,
Думы горькие опять тебе близки
И беда чертит круги над головою?
Не скрывай, Гюльнар, живой своей тоски.
Вдохновила на стихи меня не ты ль?
Не забыл я ни тебя, ни Гаранфиль.
Вот и осень на дворе... Поля покрыла
Золотистая, сияющая пыль.
Пожелтило и листву седых чинар,
А в садах пустынных птичий смолк базар.
Холодны как лед покинутые пашни.
Что с тобой произошло, моя Гюльнар?
Пусть тебе удел счастливый будет дан,
Пусть тебя минует боль душевных ран,
Наша долгая продолжится беседа,
Я ведь только-только начал свой дастан.
И не знаю, что в конце его найду —
То ли счастье, то ли горькую беду...
Если даже ты свиданья не назначишь,
Всё равно к тебе сегодня я приду.

Дни короче, подступили холода,
Раньше с пастбищ возвращаются стада,
И в селе, как прежде, жизнь не закипает...
Только конь порой заржет, А иногда

Криком селезня нарушится покой,
Если ищет он подругу над рекой...
Ждать недолго... Скоро землю подморозит,
А из труб домов взовьется дым седой.

И Гюльнар, едва сошла на землю мгла,
Возле зеркальца присела небольшого
И совсем в мечты далекие ушла.
Ближе, ближе! Поглядите на нее!
Вот взглянула она в зеркало свое,
Словно маков цвет горят румянцем щеки,
Словно в соке ягод алый рот ее.
Край плеча закрыт каштановой косой,
На себя она любитесь невольно
И сама своей гордится красотой.
Почему ж она тревожно привстает?
Что-то ей сейчас покоя не дает...
Расскажи мне, чем душа твоя полна?
Ты не слышишь?

Мне ясна уже причина:
Чей-то парень появился у окна.
Опоясана шинель ремнем тугим.
Увидав его, стремглав Гюльнар вскочила,
Безотчетно дверь раскрыла перед ним.

Г ю л ь н а р

Ты ли это, мой любимый и родной?

К а р а

Это я, Гюльнар! Я жив тобой одной.
Без тебя мне нет ни дня теперь, ни ночи...

Г ю л ь н а р

Рана как твоя? Дает тебе покой?

К а р а

Зажила уже... Лишь левая рука
Мне мешает при движении слегка.
Ничего на свете нет войны страшней.
Каждый миг приносит тысячи смертей.

Г ю л ь н а р

Так поэтому ты стал теперь грустней,
Чем в тот день, когда вернулся ты домой?
Но скажи мне, нет причины ли иной?
Третий день я жду тебя, тоскуя горько,
А тебя всё нет...

К а р а

Да что ты, цветик мой!
Слезы пусть твоей не губят красоты,
Лишь в тебе заключены мои мечты.

Г ю л ь н а р

До тебя ведь никого я не любила,
Как я счастлива, что первый — это ты!

В сердце ранили Кара ее слова.

К а р а

Ну, а как же Хасполад? Свои права
Не заявит он?

Гюльнар оцепенела,
От волненья ни жива и ни мертва.

К а р а

До конца, Гюльнар, я правду должен знать,
Чтоб сомненьями свой разум не терзать,
Говорят, что Хасполад в тебя влюблен был, —
Этот узел я хотел бы развязать.

Г ю л ь н а р

Я сама тебе сказать хотела... Пусть!
Я с тобою вместе в прошлом разберусь.
Только не в чем нам, пожалуй, разбираться,
Ты шутя сейчас свою развеешь грусть.
Мы соседили — два дома, два крыльца.
Только наши не соседили сердца,

Не здороваясь, на улице встречались,
Расходились без единого словца.
Лишь потом, перед отъездом дней за пять
(Вот судьба! Не отпускает ни на пядь!)
Наконец меня отметил он вниманьем
И два слова о любви успел сказать.
В тот же день забыл об этом Хасполад,
А быть может, на другую кинул взгляд...
Есть хорошая в народе поговорка:
«Быстро вспыхнет — быстро гаснет», говорят.

К а р а

Значит, вот как было...

Г ю л ь н а р

Да! Конечно, да!
Не любил меня всерьез он никогда.
Или ты моим словам не хочешь верить?
До чего же я несчастлива тогда!

К а р а

Я разбил теперь свои сомненья в прах,
Солнца вечный жар горит в твоих словах.
Парень к девушке склонился с поцелуем,
Как тростинку, сжав ее в своих руках.

2

«Гаранфиль!»

— «Что, мать?»

— «Иди сюда скорей».

Гаранфиль вся подалась навстречу ей,
Позабыла вмиг про все свои дела.
«Что случилось, мать? .. Тебя как подменили,
Ты такой еще ни разу не была».
— «Что случилось? Да зашла я в сельсовет.
«А, Телли-хала, — кричат мне, — вам

привет!»

— «От кого же? Это шутка или нет?»

— «Вам письмо от Шахрияра». — «В добрый

час».

Вот и весь тебе нехитрый мой рассказ.
Вот оно! Скорей бери его! Читай!»

Радость снова в сердце плещет через край.

ПИСЬМО ШАХРИЯРА

«Гаранфиль моя! Прости меня, прости!
Мог бы я тебя молчаньем извести,
Но поверь — не забывал ни на минуту
Я твой взгляд на неизведанном пути.
И в вопросе прозвучит твоим укор:
Где же был и что увидел я с тех пор,
Почему о вас не вспомнил я ни разу,
Позабыв про наш сердечный уговор?
Нет, пускай я и казнюсь своей виной,
Дни и ночи ты была всегда со мной,
О тебе грустят глаза мои и руки,
Ты не зря мне стала другом и женой.
А сейчас у нас загружен каждый час,
В лагерях стоим, готовясь и учась,
Мы пока еще в боях не побывали,
И учения проходит наша часть.
За окном сейчас кружит летучий снег,
Но в землянке тих и тепел наш ночлег.
Я пишу тебе... Друзья мои заснули,
И к концу приходит свечки краткий век.
Скоро, скоро вновь расстанусь я с тобой,
Утро к нам спешит заснеженной тропой,
И того гляди друзья мои проснутся,
С ними вскоре я пойду в свой первый бой.
Никогда перед врагом не отступлю...
Нынче в бой... Прощай... Пиши... Тебе дарю
Эту карточку... Храни мой скромный дар...
До свиданья.

Обнимаю.

Шахрияр».

Много раз она прочла письмо подряд,
Даже точки ей о многом говорят,
На раздумье вызывают запятые,
На словах она задерживает взгляд.
В нем любовью дышит каждая строка,
Шахрияра страсть чиста и глубока...

... Ну а спросит мать, о чем в письме писал он?
Что ответить ей? Задача нелегка.
Надо полностью сейчас владеть собой.
Умолчать, что он пошел на смертный бой,
Чтобы горя сердце матери не знало
И сыновней не тревожилось судьбой.
Да не скажет слова лишнего язык! ..
Пусть не мчатся злые ветры напрямик,
А пути ее минуют стороною. . .
Так решила Гаранфиль.

И в этот миг
Мать с веранды перешла через порог
И спросила: «Что же пишет мой сынок?»
Гаранфиль стояла, словно изваянье,
Не сказав ни слова. . .

«Право, невдомек,
Почему ты как воды набрала в рот?
Был он в битве?»
— «Завтра в схватку он пойдет».
— «Так не бойся! Обойдется, слава богу. . .»
— «Нет, нет, нет! Он уж сейчас фашистов бьет!»
Перед боем он письмо нам написал,
А теперь уже в сражение побывал. . .» —
Гаранфиль, волнуясь, спутала все сроки,
Всё язык ее нелживый рассказал.

За стихами я не вел минутам счет. . .
Незаметно время плавное течет. . .
Ночь давно. . . Но Гаранфиль заснуть не может,
То по комнате шагает взад-вперед,
То, как призрак, молча встанет у окна.
За окном блестит огромная луна,
Вдалеке мерцают звезды одиноко. . .
Бурей горьких чувств душа ее полна.

У дороги — величава и стройна —
При луне чинара старая видна,
Гаранфиль взглянула с грустью на чинару,
Та ведь также одинока, как она.
Каждый куст и каждый камень одинок,
Друг от друга каждый горестно далек,
Только ветер, что невесть откуда взялся,
Заставляет дрогнуть высохший сучок.

Всё сильнее разгорался в ней недуг,
Всё сильнее становился сердца стук,
Гаранфиль писать решила Шахрияру,
Но перо внезапно выпало из рук.
Вдруг под сердцем, словно острая игла,
Боль мучительная медленно прошла.
«Наш ребенок! — Гаранфиль шепнула тихо,
И глаза ее на миг застлала мгла. —
Если мне придется мужа потерять,
Будет сын о нем всегда напоминать!..»

(1959)

С ЕВРЕЙСКОГО

Перец Маркиш

184. У РЕКИ

Бегут они стремглав, расплескивая воду,
Визжа, и хохоча, и путая шаги,
И, на берег взбежав, дробь отбивают с ходу,
От холода дрожа, прекрасны и наги.

На пляску их, смеясь, глядит волна речная,
Вбирает их следы податливый песок,
У каждой над косой блестит, не просыхая,
Кувшинок водяных русалочий венок.

Обсохнув в тот же миг под жгучими лучами,
На мокрую траву бросаются ничком,
И, медленно струясь, журча под их ступнями,
Щекочет их волна знобящим холодком!

Сейчас они совсем девчонки-невелички,
Подняв головки вверх, опустят их опять.
Девчонки дружно в такт взметнут свои косички,
Ногами брызги в такт им весело взбивать.

Иль реку вздумали попридержать ногами,
Чтоб не ушла она, была поближе к ним?..
Взрывается их смех, звенит над берегами,
Пугая сонных птиц по заводям речным.

Девичий звонкий смех куда реки свежее...
Тонуть в его волнах, вновь обновляясь в них...
На целом свете нет мне их роднее —
Смешливых, загорелых, молодых!

(1956)

185. ГОРНАЯ МАДОННА

Женщина утром с ребенком в горах, —
Несет на руках его, словно Мадонна,
И горный рассвет, зажигаясь впотьмах,
Их путь осветил вдоль кремнистого склона.

Женщина утром с ребенком в горах, —
Мерцает над ними рассвет, зеленея,
А верба их путь осеняет в веках...
И вспомнилась мне в этот миг Галилея.

Женщина утром с ребенком в горах, —
Вокруг нее ткань голубая струится,
Трепещет косынка на узких плечах...
Мне вспомнились ясли, и хлев, и ослица.

Женщина утром с ребенком в горах, —
Над ними сияющих радуг свечение.
Как хорошо, что в безгрешных глазах
Не светится будущих мук отраженье!

Певучей походкой идет на восход,
Легкая, нежная, в воздухе тая...
Нет, не Мадонна ребенка несет —
Казачка идет по тропе молодая.

Казак ее муж? А быть может, еврей?
Крестьянин? Не плотник ли старый, скорее?
Я счастлив, колени склонив перед ней,
Что миру не ведать второй Галилеи!

(1956)

186. ВИНОГРАД

Тянет плечи виноград,
Он вплетен в извивы кос,
Виснут гроздья из корзин,
Словно плети кос густых.
Дикой песни сходен лад
С шумом листьев, с треском лоз,

Очутился я один
Среди девушек босых.

Хватит сыпать через край,
Сок багровый наземь лить...
Ну-ка, мне в лицо швырни
Виноград босой ногой!
Выше платье поднимай —
Легче ягоды давить...
Ай да девушки! Взгляни:
Пьяный сок течет рекой.

Парень, зноем истомлен,
Лег, из тени не встает,
Мир хмельной над ним кружит,
Мысли вольные кружат.
Вслед лукаво взглянет он,
Если девушка пройдет...
И по-девичьи пищит
В чанах спелый виноград.

Бочки налиты вином,
А корзины всё несут,
К черным-исчерна кудрям
Черный никнет виноград.
Рвется ветер напролом,
Завивает юбки в жгут,
И девчонки вслед парням,
Ошалелые, глядят.

Сок выходит из чанов,
Хлещет буйная река...
Крикнет девушка: «Горим!» —
Все, смеясь, несутся к ней.
Все сбегаются на зов —
Изблизни, издалека,
Кружит хмелем огненным
Тех, кто тянет из горстей.

Соком вымазаны все,
И румянец так расцвел!
Гомон, смех... А сок течет
По рукам и по ногам.
И к раскрашенной красе

Парни липнут роем пчел,
Вмиг ко рту прилипнет рот,
Руки тянутся к рукам.

Ветвь от тяжести трещит.
Все орут, поют, кричат.
Парень с плеч корзину снял
У подносицы своей.
Та от радости пищит,
Как под жомом, виноград.
Парень девку крепко сжал,
И бока он щиплет ей.

Рвется девушка из рук,
Может, помощь ей нужна?
И подруги мчатся к ней,
Только парня след простыл.
И любая из подруг
Вся дрожит, возбуждена
Жадным бешенством парней,
От избытка жарких сил.

Никнет сумрак голубой
К влажной зелени кустов,
И во тьме девичий рой
Весь как спелый виноград.
Обдает их ночь росой,
Валит с ног любовный зов,
Бродит в жилах сок густой,
Бродит кровь, и бродит взгляд.

Всюду спелый виноград,
Гроздья мнутся среди кос,
Из больших корзин ползут, —
Всё полно и всё пьяно.
Дикой песни сходен лад
С песней листьев, с треском лоз.
Девушек, как лозы, гнут,
Жмут всю ночь из них вино!

{1956}

Холодная далекая звезда
 Спокойным взглядом снежный край
 Под снегом дремлют старь и новизна —
 И древний лес, и новый город дремлют.

Седые брови сдвинул лес во сне,
 В морщинах лет ветвистое надбровье,
 Но юный город в вечной тишине
 Огни зажег у леса в изголовье.

Один брожу я... Где он, ветхий кров
 Стоявшей здесь лишь год назад избушки?
 Шеренги вновь построенных домов
 Вплотную подошли к лесной опушке.

С сияньем звезд сияние земли
 Встречается в серебряном тумане.
 Как залитые светом корабли,
 Встают дома в таежном океане.

Бессильны перед нами лес и снег,
 Борьбой с природой каждый час отмечен.
 Да славится советский человек,
 Которым этот край очеловечен!

(1957)

Ночь к тайге прижалась черной тенью,
 Изморозью звездной блещет высь,
 Там огни, погасшие в селенье,
 Светочами яркими зажглись.

Сопка, свой хребет над речкой выгнув,
 Пьет у водопоя на мели,
 По-тигриному на сопку прыгнув,
 Волны по-кошачьи вниз сползли.

Ночь, оставив лес, идет всё выше
И редееет на сквозном ветру...
Вот в поселке засветтели крыши
Изморозью белой поутру.

(1957)

189. Sta viator! ¹

Я вижу надпись на мысу горбатом...
Не смытая волнами и дождем,
Как молния блеснув над Иртышом,
Она грохочет громовым раскатом:
— Остановись, прохожий!
Sta viator!

Мой дед, качаясь в челноке дощатом,
Здесь выбивал над вспененной рекой
Завет для внуков каторжной киркой
И гнев свой буквам передал щербатым:
— Остановись, прохожий!
Sta viator!

Мне слышится в послании крылатом
Звон кандалов, глухих проклятий гнев
И «Варшавянки» яростный напев,
Стук сердца под халатом полосатым:
— Остановись, прохожий!
Sta viator!

У надписи над бурным перекатом
Гляжу в глаза я завтрашнему дню,
Заветы деда в сердце я храню,
Я горд его наследием богатым:
— Остановись, прохожий!
Sta viator!

(1957)

¹ Остановись, путник! (Лат.). — Ред.

С КАЗАХСКОГО

Сакен Сейфуллин

190. ЛЮБИМОЙ

В реку страсти я волью
Речи звонкую струю,
Ведь обязанность святая —
Славить милую свою.

Шея белая и грудь,
Хоть на миг бы к ним прильнуть,
Губы раз поцеловать бы,
А потом навек заснуть!

В красоте слились твоей
Чернобархатность бровей
С белым жемчугом улыбки,
С ясной звездностью очей.

Весь горю я, как в огне,
Весь живу я, как во сне, —
Если веришь этой правде,
Подари хоть слово мне.

Обойди весь белый свет —
В целом мире краше нет,
Лучше нет тебя, родная,
Светишь ты, как самоцвет.

Ты слилась красой земной
С неземною красотой,
Даже гурии из рая —
Где сравниться им с тобой?

Лучезарный взгляд и вид
Пусть меня развеселит,
А певец тебя тотчас же
Песней отблагодарит.

Сердца сладостную дрожь
Все услышат... Ну и что ж!
Про любовь мою большую
Пусть узнает молодежь.

Как светла твоя краса,
Как ясны твои глаза,
Щеки яблокам подобны,
Стан — как гибкая лоза.

Среди розовых ветвей
Я твой вечный соловей, —
Хоть пять тысяч лет минует,
Нет конца любви моей.

В реку страсти я волью
Речи звонкую струю,
Соловей, влюбляясь в розу,
Славит милую свою.

(1958)

191. В СТЕПИ

В стороне степной, с рожденья мне родной,
Ожидал я ветра раннею весной,
И поднялся ветер-непоседа,
И оделась мигом степь в наряд цветной.

Плыли ветры из-за гор в сиянье дня,
Над ковыльными просторами звеня,
И дарили мне неслыханные вести,
Обнимая с братской радостью меня:

«Те, кто к равенству стремился с давних пор,
Кто к свободе устремился с давних пор,
Против злых угнетателей восстали,
Ниспровергнув рабства тяжкого позор».

И от счастья грудь расширилась моя,
Встрепенулся, словно смелый сокол, я.
Звонким криком ширь степную оглашая,
Я приветствовал родимые края.

Мне в ответ склонились чашечки цветов,
И свершеньем самых лучших в жизни снов,
Бурной радостью мне сердце охватило
Дуновение стремительных ветров!

(1958)

192. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Костным жиром напою,
Тихо песенку спою,
Крепко спи, мой ненаглядный,
Баю, баюшки-баю.

Своему богатырю
Я подарок присмотрю,
Мягкий хвост собачки пестрой
Вместо плети подарю.

С ним в седло садись со мной,
Рядом с матерью родной,
Твоего отца разыщем
Мы в метели ледяной.

Он слывет в краю степном
Самым лучшим пастухом.
И сейчас он, в зимний вечер,
Зорко смотрит за скотом.

Ты, мой маленький джигит,
Чем ты будешь знаменит?
Правда ль, что твоя отвага
Нашу старость сохранит?

Может быть, далеким днем
Смелым станешь ты вождем
Обойденных мирным счастьем
Бедняков, как мы с отцом?

Или станешь мудрецом
Ты с крутым — в семь пядей — лбом,
Достославным речетворцем
С метким, острым языком?

А быть может, мой сынок,
Будешь славен, как пророк,
Чистой истины глашатай,
Обличающий порок?

Или ты в расцвете лет
Удивишь весь белый свет,
Станешь доблестным батыром
Не живущим без побед?

Или, славя отчий дом,
Подружишься с кетменем
И примером трудолюбья
Станешь ты в краю родном?

С кузнецами, может быть,
Будешь людям ты служить
И железо, словно тесто,
Тяжким молотом месить?

Или ты на целый мир
Прогремишь как ювелир,
Огранивающий искусно
Изумруд, рубин, сапфир?

Или, как Камбар, с конем,
С буйным, быстрым скакуном,
Станешь храбрым зверобоем,
Метким опытным стрелком?

Ты, когда войдешь в года,
Благонравным будь всегда,
На седьмом, птенец мой, небе
Мать окажется тогда.

Если ж вдруг молва пройдет,
Что любимый сын растет
Своевольным и злонравным,
Мать слезами изойдет.

Баю-баю, светик мой,
Жеребеночек родной,
Оправдай мои надежды,
Мой сыночек дорогой!

(1958)

193. ДЕВУШКЕ ИЗ СОВПАРТШКОЛЫ

Ты в город ушла на учебу,
Но там, вдалеке от степей,
Смотри не забудь об ауле,
О родине милой своей.

Невежество в нем угнездилось,
Все мысли живые губя...
Здесь ждут твоего возвращенья
И помощи ждут от тебя.

Штурмуй же твердыню науки,
Основы основ изучай,
Не вздумай томиться бездельем,
Лентяйкой не стань невзначай.

Для девушек в дальних аулах
Должна ты примером служить
И светочем ясного знания
Извечную мглу осветить.

В нужде, в темноте, в глухомани
Пока что живет твой народ...
Пусть город тебя не приманит
Соблазном фальшивых красот.

Пускай городские девицы
И в пух разодеты и в прах,
Дешевой блестя мишурою,
Дымят папироской в зубах.

Ни в чем не бери с них примера.
Не то попадешься впросак —
Ни знаний, ни сил, ни здоровья
Тебе не прибавит табак.

Любители внешнего лоска
Наводят лишь тень на плетень...
А много ли нужно искусства —
Прически менять каждый день?

Немало у нас шалопаев,
Которым учеба чужда.
Страшись, им во всем подражая,
Невеждой прослыть навсегда.

Ведь если ты, кончив учебу,
Лишь внешность изменишь свою,
Мишенью для едких насмешек
Ты станешь в родимом краю.

Не будут ли одноаульцы
В глаза тебя зло укорять:
Чему же, мол, ты научилась —
Одни только платья менять?!

Подруги, друзья и родные
Смеяться начнут над тобой,
И будут тебя по аулам
Бездушною звать и пустой.

Я вовсе не против обновок,
Но жаль, если б ты из-за мод
В развитие своем отставала,
Не двигалась дальше вперед.

Всё делай как знаешь... Но люди
Пусть про тебя говорят,
Что внутренний мир твой богаче,
Чем самый богатый наряд!

Нет проку в пустом человеке,
Ведь в блеске своем показном
Он схож пестротой наружной
С красивым, но горьким плодом.

Все эти тревожные мысли
В свою заключаю я речь,
Желая от грубых ошибок
По-братски тебя уберечь.

Ведь всё же ты мне не чужая,
И лишних не трачу я слов...
Должна оправдать ты надежды
Далеких своих земляков.

Да, вот что! Не трогай ты косы,
Ведь, право, их жаль остригать,
А длинные косы учебе,
Ей-богу, не будут мешать!

Природа красавице цапле
Дала белоснежный наряд,
Фазану — цветистые перья,
Которые радуют взгляд.

Тебя же всегда украшает
Краса шелковистых волос,
И люди любят блеском
Тугих, замечательных кос.

Ты выслушай, не обижаясь,
Мою откровенную речь,
Обязанность старшего брата —
Сестру от ошибок беречь.

Старайся же из совпартшколы
Вернуться с большим багажом,
Чтоб светоч ученья и знаний
В ауле зажегся твоим.

Ведь раз ты в познаниях сумела
Седых стариков превзойти,
Твой долг перед родиной нашей —
В народ эти знания нести.

Стремись же все тайны науки
В упорной учебе познать,
Чтоб после в практической жизни
На благо людей применять.

Теорию с практикой смело
В работе своей сочетай,
И сможешь плодами ученья
Родной ты порадовать край.

Советом тебе из аула
Помочь не сумеет родня.
И мне помогать тебе трудно —
Ведь ты далеко от меня.

Поэтому в письмах советы
Любимице шлю я своей
В тот город огромный, который
Лежит вдалеке от степей!

(1958)

194. ИЗ ОКНА ВАГОНА

Саре Есовой

Курьерский стремительный поезд
Без усталы мчится вперед,
Из окон глядят пассажиры
На мир неоглядных широт.

Я тоже гляжу с упоеньем
На бледную степь из окна.
Окутана снегом глубоким,
Как море, безбрежна она.

Насупился редкий кустарник,
Застыл, коченея, ковыль.
Покрыла сухие верхушки
Морозная жгучая пыль.

Со снегом соседствует иней,
Суровый, безрадостный вид...
Зима, как седая старуха,
Угрюмо на землю глядит.

Лицо ее заиндевело...
И, глядя на старческий лик,
Припомнил я прошлое лето,
Исчезнувший солнечный блик.

Покойником в саване белом
Простерт охладелый простор,
Косулей, бродящей в пустыне,
Блуждает мой мысленный взор.

Я скорбную вспомнил беседу,
Припомнил я горечь речей;
Ты с болью тогда говорила
О вечной печали своей.

Ты с грустью меня уверяла —
И верила в это сама, —
Что юность промчится, как лето,
И старость придет, как зима.

«К нам смерть подойдет постепенно,
Считаться не станет с тобой. . . —
Вздохнув, ты глаза опустила,
Охвачена острой тоской, —

Могилу свою обнимая,
Навечно мы в землю войдем. . .
Так сколько ж нам жить остается,
Тужить перед смертным концом?»

Я эти печальные речи
Запомнил тогда наизусть. . .
Зачем же ты так тосковала,
Откуда взялась эта грусть?

Далече до зимних морозов,
Ведь осень еще не пришла
И жарко горящее сердце
Покрыть не посмела зола!

Но хоть и зима подберется,
И тут не пеняй на судьбу.
Пусть волосы снегом осыплет,
Пусть лягут морщины на лбу —

К чему сокрушаться напрасно?
Идет всё своим чередом. . .
Не мучайся скорбным раздумьем,
Свой век мы не зря проживем!

Идет караван поколенья,
С тропы ему горько сойти...
Из тысяч таких караванов
Не первые мы на пути.

Никем не был мир этот создан,
Не будет разрушен никем,
А жизнь — словно яркая искра...
Сверкнет и погаснет совсем.

Здесь много прошло караванов,
Исчезнув один за другим,
И мы, проходя вслед за ними,
На давней стоянке гостим.

От многих следа не осталось,
В забвенье исчезли навек,
И всем им, наверно, хотелось
Вернуться на старый ночлег.

И мы не вернемся обратно,
Но наши потомки не раз
У памятника на стоянке
По-доброму вспомнят о нас.

Фундамент мы здесь заложили,
Возводим стену за стеной,
Не раз еще тяжкие камни
Поднимем мы вместе с тобой.

И память о нас сохранится
До самой далекой поры —
О подвиге старшего брата,
О подвиге старшей сестры.

Надежный заложен фундамент,
Мы стены построим теперь,
В дворец, воздвигаемый нами,
Потомкам откроем мы дверь.

Мы справимся с большей работой,
Нам больший размах по плечу,
Всё выше мы прочную кладку
Возводим — кирпич к кирпичу.

Один за другим караваны
Исчезли в беспамятстве лет,
О нас же останется память,
В веках нестираемый след.

Еще не прошло наше лето,
Ведь осень еще не пришла
И жарко горящее сердце
Покрыть не посмела зола.

А если зима подберется,
Не будем пенять на судьбу,
Пусть волосы снегом осыплет,
Пусть лягут морщины на лбу —

И здесь горевать мы не станем:
Идет всё своим чередом...
Не мучайся в горьких раздумьях,
Свой век мы не зря проживем.

{1958}

С УКРАИНСКОГО

И л а т о н В о р о н ь к о

195

Сквозь пекло то прошел и я,
Когда в горячем автомате
Пустует диск, а немцы в хате,
И миг на грани бытия,
И взведены курки к стрельбе,
А ты живой, и сердце бьется,
Хоть рядом с сердцем пуля рвется,
Что в сердце метила тебе.

1947

196. КАРПАТСКАЯ ПЕСНЯ

Ты встаешь бессонными ночами
И идешь к знакомой крутизне,
Где неопаленными крылами
Наша песня плещет в вышине.

С ней на кручу всадники взлетели
Из пыли горячей и степной,
И ее припевом прошумели
Ветры над безвестной крутизной.

И сказал один из нас: «До века
Не забыть ни губ твоих, ни кос,
Твоего русалочьего смеха...» —
И коня погнал он под откос.

Бой потом гремел над Верховиной...
Ты его нашла среди травы:
Те же руки, взгляд такой же синий,
Только чуб в запекшейся крови.

Потому бессонными ночами
Ты идешь к знакомой крутизне,
Где неопаленными крылами
Наша песня плещет в вышине.

1947.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Костер. ВП
9—12

Но сразу станет ночь светлей,
Ветров затихнет перебранка,
Лишь постучишь ты у дверей,
Лишь в дом войдешь мой, северянка.

Костер
Вместо 25—32

Друг друга накрепко обняв,
Поверив накрепко друг другу,
Увидим завтрашнюю явь
Мы в эту нынешнюю вьюгу.

Мы разглядим за сотни верст,
Через двенадцать зим слепящих,
Как перед целым миром в рост
Поднимется всё тот же мальчик.

Он крикнет хриплое «ура!»,
Он с ломким голосом не сладит,
Но все вселенские ветра
На взлет его «ура» подхватят

Затем, что в этот час ночной
В полсотне метров от рейхстага,
Заканчивая смертный бой,
Идет бессмертная атака.

Знакомый мальчик... И сейчас
Он сам герой своей же сказки.
Пусть мрачен взгляд усталых глаз
Из-под его солдатской каски,

Пусть чернота и худоба
К нему прижились спозаранку.
Но эта ночь — сама судьба
Всей веры нашей, северянка!

Мы до конца досмотрим сон,
Он неразлучен с жизнью нашей,
Его конец перенесен
В сиянье краснорозовых башен.

Отсюда, взрослые, с тобой
В метельных видим мы бурунах

И на юру наш дом пустой,
И нас самих, простых и юных.

И мальчик вновь прижмет к губам
Твои замерзшие ресницы,
Чтоб наяву мечтам и снам
Еще неснившимся присниться.

МК, 1968, 22 июня
«Подвиг»
Вместо 29—32 За неподвластное уму
За всё, что мило нам издревле,
За золотую Колыму,
За наши северные земли.

За всех, кто, словно Север, прост
И, словно Север, нестигаем,
Мы нынче капитанский тост,
Высокий тост свой поднимаем.

Горит поверженный Штеттин,
И, боевые капитаны,
Мы собрались среди руин,
Подъемля звонкие стаканы.

Мы пьем за мудрость простоты,
За верность песням и подругам,
За эти чувства, что чисты,
Как звезды над Полярным кругом.

6

Октябрь, 1941, № 3
Вместо 17—28 С Ермака Тимофеича ширилась Русь.
За песнями голяков
Ляжет путь от Руси на студеном ветру
До чукотских крутых берегов.
И проложим мы путь через голод и стынь.
А если поклонимся им,
Пускай безымянные наши кресты
Покажут дорогу другим!
...А казаков бросает под высвист и вой
Буря у горбатой гряды,
Но, как дедовский Китеж,
Встает снеговой
Над ушкойной волной
Анадыры!

12

ЛП, 1943, 3 сентября
Костер, С 60
Неавторизованная
машинопись
(ИМЛИ)
14—16 И, ширясь, до тех дорастали полей,
Где потом и кровью мы славу добыли,
За месяц ни разу не вспомнив о ней.

*Через войну,
Полдень
5—8*

Всё на двухверстке выглядело просто,
Ну а на деле влезли мы в беду:
Обзор хорош с высокого погоста,
Зато и мы здесь слишком на виду.

*ЛП, 1943,
13 августа,
ММ
9—12*

И был разор. И все бесчинства метил
Паучий, извивающийся знак.
И виселицы высились. И дети
Повешенных старели на глазах.

*ЛП
Между 12 и 13*

Старухи застывали на порогах
И вглядывались, темны и строги;
Российские исконные дороги
Немецкие топтали сапоги.

*Костер, С 60,
Избр. 68
Дальний путь,
БМ
Между 4 и 5*

Я бился, как бьются за города
Не предатели и не трусы,
Не как голландцы за Амстердам,
Не как за Париж французы.

С ПАКЕТОМ

*С 62, ЧВ,
Через войну*

Мы с усталостью зняться не знаем,
Нам с каурой она не под стать,
До рассвета мы с ней не устанем,
Потому что нельзя уставать.

Раз в планшете застыл полуночный —
Головой за него ответ! —
В. секретный, В. спешный, В. срочный,
Засургученный наспех пакет.

Вскачь по полю, где с неба встречного
Чередой разномастных пуль
Протянулся почище Млечного,
Покрасивше Млечного путь.

Вдоль машин и повозок разбитых...
Поглядел на карманные — в срок!..
И залившимся лаем зениток
В 2.15 встречает нас Брок.

Успеваю взглянуть, как над нами,
Разноцветной трассой прошит,
Перечеркнутый прожекторами,
Полыхая, ревет «мессершмитт».

А каурая — вихрем к штадиву,
Брок проносится мимо меня...
Что за город! Не город, а диво! —
Трехминутный аллюр для коня,

Да трехдневный хозяину отдых,
Да полночный хмельной разговор,
За который четырехста золотых
С нас заломит любой живодер.

Да убогие «склепы», да лавки,
Где по полкам мети хоть метлой.
Да сосед — подпоручик в отставке
С подпоручицей молодой.

Так два дня проживу. А на третий
Заскучаю, озлюсь, истомлюсь,
И опять на каурую — плетью!
И за час до позиций домчусь.

Это после... А времени мало,
Но еще не забрезжит рассвет,
Как усталому генералу
Я вручу свой бессонный пакет.

60

*Зв., 1944, № 4
1—4*

Под сапогами щебень и осколки,
Зола, кирпич, толченное стекло,
Опять зола!.. Ищи-свищи поселка —
И след простыл, и ветром замело.

*Зв., ММ
Между 4 и 5*

И час как год. Слова опять излишни...
Но в этот час, рассудку вопреки,
Скорее угадал я, чем услышал,
На слух не различимые шаги.

63

*С 62, С 65,
Полдень
23—24*

*Через войну,
С 62, С 65,
Полдень
После 24*

Без оглядки дарят вдогонку
Задыхающиеся слова.

Но о близком томя просторе,
Запах соли несут ветра...
Привечай же нас, древнее море,
Море Новгорода и Петра!

С 60, БМ
49—54

Уходя в неоглядные дали,
Мы под небом враждебных чужбин
О степях голубых вспоминали
Среди выжженных, черных равнин.

Нет, не возле зеленого крина —
На снегу, у ночного костра,

Костер, СЗ
21—24

Скажи спасибо светлым дням
Счастливейшей страны,
Где люди песням и друзьям
Из рода в род верны...

29—32

Но женщины, чей путь лежит
Лишь мимо черных глаз,
Приподнимали паранджи,
Чтоб посмотреть на нас.

Костер
49—52

Большой канал! Где труд живой
Входил, как праздник в жизнь,
Где я узнал прообраз твой,
Высокий коммунизм!

НМ, 1948,
№ 3,
Перед 1

В те дни, когда клочки вчерашних клятв
Швыряют, словно мусор, на растопку,
Когда полчеловечества сулят
Купить за чечевичную похлебку,

Когда, дотошно вычислив приход,
Людское неразмыканное горе
Под доллары пускают в оборот
В заморской ростовщической конторе,

Я вижу путь бессмертного полка.
Глядите — вот он! — праведный и
славный...

Простой солдат, я с ним вхожу в века,
В недавний день распахивая ставни.

СЗ
Перед 1

Я вижу путь бессмертного полка...
Смотрите — вот он, праведный и
славный!

Простой солдат, я с ним вхожу в века,
В недавний день распахивая ставни.

НМ, Костер Враги бежали. Ну а где же братья?
6—8 Боятся нас? Как вдруг из-за угла
Большим пятном взметнулось чье-то платье.

НМ, СЗ И разрослось невиданным цветком,
9—10 И расцвело полупонятной речью:

Костер И разрослось невиданным цветком...
9—12 Ко мне бежала девушка навстречу
По мартовскому снегу босиком,
С сердечной и полупонятной речью.

91

Юн, 1958, № 2 И нам победы светит свет
После 48 И свет кремлевских звезд,
И уж сейчас причины нет
Не изменить свой тост:

«Пусть век живет моя страна,
Пусть нас минуют беды:
За свет без тьмы, за жизнь без дна,
За полную победу!»

92

Костер Эти песни, как звук ее славы,
После 24 Как ее высокое имя,
Я до Одры пронес и до Лабы,
Кровных рек с берегами чужими.

СЗ Где у скатертей самобранных
Между 16 и 17 С лешим бражничали водяницы.
Но восход разогнал туманы,
Возвещая приход денницы.

94

С 60, С 62 Неужто ты накликала метель,
Вместо 5—8 Чтоб закружить меня, чтоб обезножить
И, бросив в ночь, ничком под эту ель,
Себя потом вовеки не тревожить?

Обереглась? Закончен горький спор,
В котором от меня ты отказалась...
Я отвергал, идя наперекор,
Твою насквозь расчетливую жалость

К моей то светлой, то глухой судьбе,
Где срывы, взлеты... В надоевшем споре
С тобой мы жили сами по себе,
Делили счастье — не делили горе.

Тебе, наверно, по сердцу была
Моей гордыни ранняя ошибка,
Недаром беспощадна и бела
Сейчас твоя последняя улыбка.

Правы ли ты? Споткнулся невзначай,
Так распрощайся с многолетней целью.
Ошибся? По заслугам получай,
Один борись с душевною метелью.

*Вместо
21—40*

Не вызвала, но выждала метель!
Ты торжествуешь издали сегодня...
Чуть видный месяц освещает ель,
Как белый знак над белой преисподней.

Но, милая! Не век метет метель!
Как глупо, что за нашей канителью
Я позабыл, что на носу апрель,
Умытый и дождями и капелью.

Что песен будет требовать весна,
Что время не потерпит проволочки,
Что цель ясна и эта цель видна,
Но только не на тропах одиночки!

98

*Смена, 1947,
№ 13,
Молодая
гвардия
Между 4 и 5*

В нем светит Киев и блистает Суздаль,
В нем Ермака вздымает стяги стан,
В нем через край расплескивает удаль
Мятежный понизовский атаман.

*Костер,
Солдаты
свободы
Между 4 и 5*

В нем светит Киев и блистает Суздаль,
В нем Ермака вздымает стяги стан,
В нем через край расплескивает удаль
Вольнолюбивый волжский атаман.

99

*МК, 1947,
30 января
5—8*

Нам партия дороги намечала,
Путем самой истории вела
И светом путеводным освещала
Все помыслы, поступки и дела.

*С 62.
С 65,*

Ну что ж, нам эта формула знакома!
И мы живем, не уходя с поста,

Через войну
Между 24—25

Во власти предписания райкома
И свежего газетного листа.

Октябрь, 1947,
№ 1.

Ну что ж! Нам эта формула знакома,
И мы живем уже недель полста
Во власти предписания райкома
И свежего газетного листа.

101

Автограф (ИМЛИ)
49—54

[Но где ты был и чем ты жил,
Эльбинский герой,
Когда английские войска
По Яве шли войной,
Когда в Афины королю
Был путь открыт резней?]

61—66

[Мы скажем это, Джонни Смит,
Товарищ давний мой,
Всем тем, кто смеет угрожать
Призрачной войной,
Кто занят за твоей спиной
Нечистою игрой.]

Автограф (ИМЛИ)
Без отнесения к
определенному
месту

Чтоб не посмели ссорить нас
Ни Бевин и ни Бирнс.
Не ради них и не для них
Мы скинули мундир.
И мы сумеем отстоять
Добытый кровью мир.

104

ИМ, 1947,
№ 8,
Костер
34—36

Я спрашиваю: — Где ты, совесть мира,
Раз на виду полста земель и стран
Казнят свободу в деревнях Эпира?!

Между
36 и 37

Где совесть мира? Память грозных дней! . .
Ведь это ты, ведь это ты в ответе,
Что с каждым днем становятся сложнее
И жизнь, и смерть на нашем белом свете.

Автограф
(ИМЛИ)
Перед 1

Похож на брагу крепкий чай
Но полночь идет беседа,
Гостей полуночных встречай,
Ночная песня-непоседа.

Встречай романтику путей,
Встречай густую пыль похода,
И запах щей, и грязь траншей,
И хриплый клекот пулемета.

112

СЗ
Между 8 и 9

Шли мы годами
Грозными в рост,
Множество нами
Пройдено верст.
И многократно
Нас повстречали
Очи утраты,
Очи печали.

114

МК, 1948,
30 октября
Между 8 и 9

С этой клятвой перед строем роты
Александр Матросов в рост вставал,
Вел Покрышкин в битву самолеты,
Кожедуб в сраженьях побеждал.

После 16

Не сочтешь рядов их миллионных,
И, как знаки доблести, в борьбе
Ордена сияют на знаменах
Верных сыновей ВКП(б).

Нынче осень не заметят села,
В города придет гостить весна —
День тридцатилетия комсомола
Празднует советская страна!

116

Автограф (ИМЛИ) Швыряет сверху в синеву
Между 13 и 14 Свои щедроты солнце:
Не тонут — вижу наяву —
Желтые червонцы.

29—31

Подплыла туча хмурая
И солнечный закрыла свет
Тенью макартуровой.

60—63

Припомнив это среди дня,
Что стал неожиданно хмурым,
Тождественность упрочил я
Той тучи с Макартуром.

Автограф (ИМЛИ)
Перед 1

[Который раз глазаю я
Из окон нашего жилья
На тот же самый вид,
Ничем он взгляд не веселит,
Я им уже по горло сыт,
Хоть к горизонту лишь три дня
В трех километрах от меня
Он накрепко прибит.]

4—9

[Про эти самые места
Стихи взахлеб писали, брат,
И с толком привирали, брат.
Но мы — не этой темы.
И, видно, мне не суждено
Грустить о желтых кимоно,
Писать про хризантемы.]

Солдаты свободы
С 60, С 62, С 65,
76—79

Тот встер, что врагам на страх,
Всё больше нарастая,
Победный развевает флаг
От Эльбы до Китая.

117

Солдаты
свободы
Между 28 и 29

И доверенный двум автоматам,
Чтобы был невозможен побег,
По тропинкам и тропам шербатым
На заставу бредет человек.

Человек ли? Прицельным и метким
Здесь расспросам подвергнется он . .
В службе двум иностранным разведкам
Признается угрюмо шпион.

119

НМ, 1950, № 8, Немолчный, он летит из края в край.
Солдаты И, как бы тучи ни смотрели хмуро,
свободы, Встает коммунистический Китай
С 60 В трех сотнях миль от ставки Макатура
Между 8 и 9

412

Солдаты свободы, Там выются такие же флаги,
Знамя, 1955, № 6, Такие же, как над Москвой,
ГЛ, СЗ От бурь их хранит по присяге
С 62, Мой папа, отец мой родной!
Через войну
Между 36 и 37

124

Труд, 1953, В этот день на просторы родные
6 ноября Вместе с утром приходит весна,
1—8 Приоткрой же глаза голубые,
 Посмотри, как чудесна она!
 Скажешь ты: «Да ведь мокрая осень
 Загостилась давно на дворе,
 Не увидишь весеннюю просинь
 В этот поздний рассвет в ноябре».

127

СЗ Снежные заоблачные горы
Между 24 и 25 Скажут: «Но ведь мы, тебя любя,
 Мелочные бросили бы споры,
 До небес бы подняли тебя».

134

СЗ Будут трясины и кочки,
После 16 И на душе ледолом...
 Вместе с тобою мы, дочка,
 К радости близкой придем!

138

«За Родину», Снова выйти на берег морской,
1961, Где с вечерней звездой он повенчан
12 октября И где гордой сквозит красотой
Вместо Облик женщин.
33—44 Пусть начало сроднится с концом.
 Вера в счастье все души объемлет,
 Золотым обручая кольцом
 Все земли.

46 Слово песенки-незатейки

МП, 1959,
14 июня
С 62, С 65
8—13

Из персти праха прашур мой родился.
Тысячелетья юношей он был,
В тысячелетях повстречал он зрелость,
Он сызмальства покорность не взлюбил
И полюбил расчётливую смелость.

Об этом я подумал в терпкий час,

МП
15—20

Пусть счастье не приманивает нас
Ни чаркой водки и ни чашкой чая.

Над чем порой мы бьемся день-деньской,
Порой судьбе сдаемся мы на милость? ..
Ах, музыка! .. Она, порвав с тоской,
Живительной грозой разразилась.

МП,
С 62, С 65
21—24

Ах, музыка! .. Как мы к тебе глухи!
Упали стены. Общая квартира —
Лишь часть вселенной. .. И мои стихи
Присутствуют при сотворенье мира.

161

Известия, 1966,
4 января; ЗД,
Через войну,
Полдень
После 36

Зачем вы сюда пришагали,
Неужто меня вам не жаль? ..
Не нужно, не нужно морали.
Вы совесть, а не мораль.

170

ИМ, 1967, № 10,
ЗД, Избр. 68,
Полдень, УНК,
Избр. 72, ЗнВ,
БМ, Избр. 75,
SV
Между 20 и 21

Закинулась мать. Закричала:
«Ведь я же его родила! ..»
С концами смешались начала,
Свершались большие дела.

171

Автограф
(ИМЛИ)
Перед 1

Куда до нас герою Сервантеса,
Мы и взаправду спятили с ума,
Всё подавай нам — прямо до разреза! —
Тома и книжки, книжки и тома.

В родне, Грааль, с твоими небесами,
Вполне сродни, Мерлин, твоим громам,
Научно-фантастические саги
Нам заменили рыцарский роман.

А коли в печь и мне подбросить жару,
Ведь — грех какой! — среди земных мает,
Забыв пути к отчаянному жанру,
Поэзия от прозы отстаёт.

Минуту отдадим тому вопросу,
Взять для стиха какую фору лет.
Чем дальше век, тем будет меньше спросу,
Поди узнай — свершится или нет.

Прикинем, наудачу, тридцать пятый.
Нет возражений? Значит, решено.
Проблем и тем — ну, хоть гребни лопатой,
Отличный век, серебряное дно.

Теперь по Лему, Брэдбери и Кларку
Представьте облик будущих людей
Достаточно объёмно, четко, ярко,
Чтоб обойтись без помощи моей.

А я, минуя то, что вам знакомо,
Перескажу обычным языком,
О чем в прозрачном кубе космодрома
Учитель говорит с учеником.

141

Над космодромом рассветало утро,

Вместо
143—144

«А он, мятежный, просит бури,
Как будто...»
Мы ждем тебя, последняя строка!

После 144

Ну вот и всё. Для Брэдбери и Лема
Здесь только бы и начался разгон,
А для меня исчерпана проблема,
Едва я карты выложил на кон!

Рассудят: «Мера есть и для пристрастий,
Мол, я тревожу дальние века,
Дабы сказать, что выше звездных странствий
Поэта беспокойная строка».

С улыбкой зыбкой и неуследимой
Гафиз Тимуру клясться был готов,
Что крохотная родинка любимой
Дороже славы тысяч городов.

И мог бы я сослаться на Гафиза,
Но мысль моя Гафизовой скромней,
Хотя всё та же цеховая виза
Эвтерпой припечатана на ней.

Ни в космосе, ни по земному шару,
В былые и грядущие года,
Не сделать без поэзии ни шагу
Ни нам ни вам нигде и никогда!

*Ширь,
После 144*

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто...

174

*Автограф
(ИМЛИ)
Перед 1*

Так это было? С Усачевки ночью
Плющихой и пешком через Арбат,
Потом домой на Сретенку... Воочью,
Во осязанье плещет снегопад.

175

*Автограф
(ИМЛИ)
Перед 1*

Во взгляде яростная властность —
Ах, как мы юны и горды! —
Ее раскосость и смугласть
Наследье Золотой Орды.

А от российского запечья,
Которым правит домовой,
Даны ей руки, грудь и плечи,
Сиянье силы ведьмовской.

Смеялась и сердилась громко,
Вся второпях и вгорячах...
Небось начало было робко
И боязлив был первый шаг.

Между 24 и 25

Где перед всем великим светом
На откровенном языке
«Я новым занята предметом»
Гласила мушка на щеке.

Между 28 и 29

Не упасть бы от напасти,
Но выслан вон ее предмет
И в память о безгрешной страсти
Везет в Версаль ее портрет.

[И шпаги острые стучали,
И голубая кровь лилась,
Но ей гляделось без печали
И ей спалось, как прежде, всласть.

Пора бы с волей распрощаться,
А то недолго до греха...
И, наконец, сама царица
Ей стала сватать жениха.

И в перерыве между танцев
Считали годы, род и чин,

Петруша — подойдет Румянцев,
Но подойдет и князь Репнин.]

Между 32 и 33 [Последний раз гульнув на свадьбе,
Подняв в округе дым столбом,
Он заперся с женой в усадьбе,
В ее поместье родовом.]

44—52 До Павла... Нет, до Александра
Она, наверно б, дожила,
Когда бы каменные ядра
Не просвистели вдоль села.

Когда б, не вставши на ночёвку,
Осьмериковый выпив штоф,
Не вздернул старую хрычовку
На старой лице Пугачев.

176

Автограф Пусть будет хуже, но тошнее
(ИМЛИ) Не будет в жизни — нет и нет! —

1—2
17—20

Тогда слетит ко мне жар-птица,
Тогда большому выйдет срок,
Тогда-то главное случится...
И мне, мальчишке, невдомек

Авторизованная И наконец-то жизнь помчится
машинопись Среди открывшихся дорог.
(ИМЛИ) Тогда-то главное случится!..
17—20 И мне, мальчишке, невдомек

181

С 60, С 62, ЧВ,
Василий Буслав и
Семен Дежнев. Поэмы,
Избр. 68, Полдень,
Избр. 72

Часть первая (отсутствует)

Вместо 832 «Для кого ты и для чего ты?
Не хватает тебе работы?
Что за счета у нас и расчеты?»

Отвечает ему девушка-черनावушка:

Вместо «Ох ты, девушка-портомойница,
848—879 Человек ты или разбойница?..
Говоришь ты мне только новости,
Не спросила ты меня сейчас по совести,

Как приветит тебя моя вольница,
Как родная тебя моя встретит мать?
Вот тогда-то нам о судьбе рассуждать».

Кланяется девушка у святых божниц,
Господу в пояс, перед Ваською ниц.

«Неужто, Василий, и впрямь ты мой?
Уж не верится мне и себе самой!
Ведь судьба моя как на скатерти
Чарка горькая зелена вина...
Твоей вольнице, родной матери,
Бедной нищенкою на паперти
Я наклонялась от света дотемна.
Одиншенька? Нет! Совсем одна!
Приняла меня твоя вольница,
Где родным лицом не неволятся,
Где нет у людей ни хлыста, ни креста,
Где ни дьявола нету и нет Христа!
Мне сказали: «Вот твое место,
Ты буслаевская невеста».

Так-то, Василий, Буслаев сын,
Сам себе холоп, сам себе господин.
Ну, а твоя-то, Вася, родимая мать
Не хотела меня на порог принимать.
Видно, вражья мешала сила,
Но покланялась я, умолила.
И сказала она мне: «Ксения!
Скоро светлое воскресение,
Я же Васю больше тебя люблю,
После пасхи вас я благословлю!»
Вот и всё, чего я добилась.
Что же скажет в ответ твоя милость?»

Но чем дальше у Васи, тем лише,
Поднимается Вася повыше.

«Ты невеста моя, ты обручница,
С моей вольной волей разлучница,
Не спросила ты моего совета.
Что ушкуйники? Что родная мать?
Хоть кого я сживу со света,
А теперь моя власть тебе приказать.
Ни привета не жди, ни ответа,
Не хочу я, Ксения, твоей любви,
Без любви мы с тобой богаты.
Ты мне лучше друзей моих позови,
Я набата слышу раскаты.
Слышишь? Вон среди белого дня
Медь гремит и грохочет,
Каждый сегодня хвалит меня,
Каждый хулит как хочет.

Кто кого? Чья взяла?
Чей почин? Чьи дела?

Господин Великий Новгород
Бьет во все колокола.

Вместо
896—999

Пришли, точно званные гости,
Разбойник отпетый Костя
По прозвищу Новоторжанин,
По званию княжий крестьянин.

С ним дьяконов сын Потанюшка,
На левую ногу хроменький,
Не платье у Потани, а платишко,
Он не скромненький, а скоромненький.

А рядом стоит с ним Хомушка,
Хомушка по прозвищу Горбатый...
Говорит он: «Давай мне домушко,
И его б я поднял лопатой.

А не домушко, так домище.
Я и тот бы поднял на руки,
Подавай мне домов хоть тыщи,
Все могу разломать от скуки».

Рядом с Хомушкой стоит его тезка,
Толстый Фома благоуродливый,
Говорит он ему: «Ну-ка брось-ка.
Больно стал ты Васе угодливый.

Я не хвастаю, что мне всё нипочем,
Но затронут меня, так толкну плечом,
Что весь Новгород закачается,
Волхов с Ильменем повстречается,

Только знаю, умом обделил меня бог,
А у Васи ума — на всех нас четырех.
Я за ум его, честность смелую,
Что захочет он, нынче сделаю».

Тут Буслаев взглянул на широкий двор:
«Что за вздор вы несете? Как затеяли спор?
Свои вздорные споры кончайте
И меня, атамана, встречайте.

И встречайте меня в этот светлый день
Не хулою и похвалою.
У кого из вас нож и кистень,
Становитесь рядом со мною.

Я богатства свои отдал задарма,
Как на тризне отдал их заживо,
Видно, Новгород не нажил ума,
А охвостье его вволю зажило.

Вон смотрите! Дерутся во всех концах
За подарки мои грошовые...

Я-то знаю — неведом вам смертный страх.
Вы, ушкуйники, братья крестовые.

Разве так уж душа у меня плоха,
Так уж плох я со дня рождения!
Лучше вам я отдам дорогие меха,
Драгоценные брошу каменья.

Как хочу,
Так плачу,
И всё мне, Василию, по плечу!»

Бродит в Ваське горькая брага,
Примолкла его ватага.
Лишь Фома выходит, спокоен и строг:
«Нам не страшен, Василий, ни бой, ни острог,
Но опричь войны, но опричь тюрьмы
Без тебя-то как очутимся мы?

Не держится даже доска без гвоздя,
Как же быть без водителя, как жить без вождя?»

Разговора такого не чаяв,
Рассмеялся в ответ Буслаев:
«Ну с вами-то я в расчете,
Без меня как-нибудь проживете,
А вот с Новгородом у меня особый счет,
Подходи ко мне, мой вольный народ,
Отнимите мои подарки,
Кулаки покажутся жарки
Тем, кто руки на них нагреет,
От нас уйти не сумеет.

Волю даю вам вольную
В пасху первопрестольную,
Всё вам теперь разрешаю
И с вами пойти обещаю».

Первый раз с Васькой грех случился,
В ноги вольнице поклонился.

— Кто кого? Чья взяла?
Чей почин? Чьи дела?
Господин Великий Новгород
Бьет во все колокола!

*Вместо
1016—1073*

Я старался для вас из последних сил,
Все богатства свои раздал-раздарил,
Ну, а вы-то уже постарались,
Из-за этих грошей разодрались.

*Вместо
1099*

Но чего он никак не ждал-ожидал,
Не ждала его вся ватага:
С ным лицом к лицу не Новгород встал
И не взмет червленого стяга.

Против них он решил бы руку поднять,
Но стоит перед ним родимая мать,
Но стоит перед Ваською Ксения,
Его смерть и его воскресение.

Возле церкви ж его приходской

*Между
1170 и 1171*

Моя мать захотела меня проклинать,
Не хочу я знать родимую мать,
А с тобой-то разговор короткий:
Отвяжись-ка! Огрею плеткой!

*Вместо части
третьей*

ЭПИЛОГ

Ахи, охи! Ахи да охи!
Выходят на круг скоморохи.
«Загубил буйну голову Васенька,
Вот и вся наша побасенка!»

Скоморохи вы, скоморохи,
Ивашки, Петьки, Митрохи,
На какой же счет вам Ваську расчесть,
Васькину доблесть, Васькину честь?

В пояс кланяются скоморохи:
«Хороши мы или плохи,
Но просила нас ночью и дневно
Мамелфа свет Тимофевна.

Просила нас, наградила,
Чтобы в песнях жила его сила.
Мы вдове пречестной отдали поклон.
Своей честью не поступилися».

На святой Софии поднялся трезвон,
Врата царские расступилися.

Дин-дон! Дин-дин-дин!
«Сам себе холоп, сам себе господин!» —
Колокол бьется и мечется,
Медь о медь увечится.

В пояс кланяются скоморохи:
«Хороши мы или плохи,
Но пред матерью на прощание
Выполняем свое обещание.

Славим Ваську!
За Василя Буслаева положим живот,
Ведь Васькина слава нас переживет!

В скоморошьях наших дудках грусть-печаль.
Ох, как жалко Ваську! Очень Ваську жаль!
Он же наш верховодец, наш крестовый брат,

Но ведь он же сам во всем виноват.
Слишком многое ему было дано —
Два столба, а меж них перекладина.
Нет не виселица, а по смыслу около,
Вечевой новгородский колокол!

Нельзя через колокол перескакивать,
Отзвонит он тебе погребальный звон,
Не будем мы Ваську оплакивать,
Пожалеет Васькин посмертный сон.
Приказал ведь нам умница — сын посадничий:
«На тризне моей не войте,
Каждый радуйся, каждый праздничай,
Этим душу мою успокойте.

Беда моя, Васьки, что был я один,
Сам себе холоп, сам себе господин.
Одного лишь себя я принял в счет,
Да не принял меня за это народ!»

Перед матерью на прощание
Выполняем свое обещание.
Славим Василия!
Во славу его споем и спляшем!
Но что за беда головушкам нашим?!
Колокол! Колокол! Колокол!
Гремит новгородское вече,
В нем слово звенит чело́вече
Гордой совестью, горькой речью
На славянском нашем наречье».

Мамелфа Тимофевна скоморохам милость обещает,
Ваську перед смертью прощает,
Колокол целует.

ПРИМЕЧАНИЯ

Поэтическое наследие С. С. Наровчатова по объему сравнительно невелико.

По воспоминаниям поэта, стихи он «с двенадцати стал писать постоянно, в пятнадцать напечатал первое стихотворение в „Колымской правде“». (Точное название газеты в 1935—1937 гг. — «Советская Колыма».) В московской периодике имя Наровчатова впервые появилось в 1941 г. в третьем номере журнала «Октябрь». Поэтическая зрелость пришла к Наровчатову в годы Великой Отечественной войны. Первый его сборник — «Костер», в основном составленный из стихотворений военных лет, вышел в свет в 1948 г.

При жизни поэта издано 24 сборника его стихотворений и поэм. Неоднократно отдельным изданием выходила поэма «Василий Буслев» (М., 1976, 1978, 1980). В 1972 г. вышли в свет избранные произведения Наровчатова в двух томах. Большая часть первого тома отведена стихотворениям и поэмам; в том же томе помещены литературно-критические статьи. Главное место во втором томе отведено исследованию о Лермонтове. В трехтомном Собрании сочинений (М., 1977—1978) 164 стихотворения и три поэмы занимают первый том целиком. Последней прижизненной, во многом подытоживающей, книгой Наровчатова оказалось «Избранное», выпущенное в 1980 г. издательством «Художественная литература». В эту книгу включены 136 стихотворений и три поэмы из числа помещенных в Собрании сочинений, а также четыре стихотворения и поэма «Фронтальная радуга», написанные в 1978—1979 гг. и в Собрание сочинений не вошедшие.

В основу настоящего издания положен первый том Собрания сочинений (М., 1977). В этой книге со всей полнотой и определенностью выражен критерий отбора наиболее характерных и значимых для творчества поэта произведений. Дополнительно включаются: стихотворения «Болгарская поэзия» (из сборника «Ширь», 1979), «Короли», «Сидней» («Ширь», «Избранное», 1980), «Варнашчи из притч» (печатаются впервые), поэма «Фронтальная радуга» («Ширь», «Избранное»). Основные разделы — «Стихотворения» и «Поэмы» — традиционные для «Библиотеки поэта». Введен и небольшой раздел «Из переводов», раскрывающий ту грань поэтической деятельности Наровчатова, которая не представлена в его авторских сборниках и Собрании сочинений.

Тексты включенных в данный том произведений проверены по всем прижизненным сборникам и отдельным публикациям в пери-

одической печати. При подготовке текстов и комментировании использованы автографы некоторых произведений и другие материалы, переданные самим поэтом в Отдел рукописей Института мировой литературы им. М. Горького АН СССР (ИМЛИ). В каждом из разделов сборника произведения расположены в хронологической последовательности в соответствии с авторской датировкой. Авторские даты пересматриваются только на основании неоспоримых документальных данных (расхождение со временем первой публикации, датировка автографа и т. п.). В разделе «Другие редакции и варианты» помещена полностью другая редакция стихотворения «Ночью, верхом!». Варианты, свидетельствующие об авторской работе над содержанием и стилем других произведений, даются выборочно. В примечаниях дается указание на первую публикацию, называются все издания, в которых текст подвергся авторской правке, указывается источник публикации. Ссылка на первую публикацию без дальнейшего указания на источник текста означает, что произведение печатается по первой публикации, так как его текст более не перепечатывался или не подвергался при последующих перепечатках изменениям. Подробно прослеживается история формирования поэтических циклов, отмечены изменения, происходившие в их составе и структуре. В историко-литературном комментарии использованы статьи поэта и его письма. В отдельном списке оговорены условные сокращения, принятые в примечаниях и в разделе «Другие редакции и варианты». Звездочка в примечаниях обозначает отсылку к разделу «Другие редакции и варианты».

Условные сокращения

БМ — С. Наровчатов, Боевая молодость. Стихотворения. Поэма, М., 1975.

«Б-ка поэта». Б.с. — «Библиотека поэта». Большая серия.

ВГ — С. Наровчатов, В грозу, М., 1966.

ВП — С. Наровчатов, Взыскательный путник, Книга стихов, М., 1963.

ГЛ — С. Наровчатов, Горькая любовь. Стихи, М., 1957.

Дальний путь — С. Наровчатов, Дальний путь. Стихи и поэмы, М., 1973.

ДН — журнал «Дружба народов».

ДП — альманах «День поэзии», М.

др. ред. — другая редакция.

Зв. — журнал «Звезда».

ЗД — С. Наровчатов, Зеленые дворы. Стихи, М., 1968.

ЗнВ — С. Наровчатов, Знамя над высотой. Стихотворения и поэмы, М., 1974.

Избр. 68 — С. Наровчатов, Избранное. Стихотворения. Поэмы, М., 1968.

Избр. 72 — С. Наровчатов, Избранные произведения. Т. 1, Стихотворения. Поэмы. Статьи о поэзии, М., 1972.

Избр. 75 — С. Наровчатов, Избранное. Стихотворения и поэмы, М., 1975.

Избр. 80 — С. Наровчатов, Избранное. Стихотворения. Поэмы, М., 1980.

ИЛ — С. Наровчатов, Избранная лирика, М., 1964.

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. М. Горького АН СССР.

КО — газета «Книжное обозрение».

КД — сб. «Книга друзей», М., 1975.
 Костер — С. Наровчатов, Костер, М., 1948.
 ЛГ — «Литературная газета».
 ЛП — газета «Ленинградская правда».
 ЛР — газета «Литературная Россия».
 МВВЖ — С. Наровчатов, Мы входим в жизнь. Книга молодости. М., 1980.
 МК — газета «Московский комсомолец».
 ММ — альманах «Молодая Москва», М., 1947.
 МП — газета «Московская правда».
 НМ — журнал «Новый мир».
 НСД — альманах «На Севере дальнем», Магадан.
 Пес, девчонка и поэт — С. Наровчатов, Пес, девчонка и поэт. Стихи, М., 1965.
 Полдень — С. Наровчатов, Полдень. Избранные стихи, М., 1969.
 с. — страница.
 С 60 — С. Наровчатов, Стихи, М., 1960.
 С 62 — С. Наровчатов, Стихи, М., 1962.
 С 65 — С. Наровчатов, Стихи, М., 1965.
 СЗ — С. Наровчатов, Северные звезды. Стихи, Магадан, 1957.
 СМ — журнал «Сельская молодежь».
 Солдаты свободы — С. Наровчатов, Солдаты свободы, М., 1952.
 СР — газета «Советская Россия».
 СС — С. Наровчатов, Собрание сочинений в 3-х т., т. 1, М., 1977; тт. 2, 3, М., 1978.
 ст. — стих.
 стих. — стихотворение.
 УнК — С. Наровчатов, Узор на клинке, М., 1971.
 ЧВ — С. Наровчатов, Четверть века, Стихи, М., 1965.
 Через войну — С. Наровчатов, Через войну. Стихи, М., 1968.
 Ширь — С. Наровчатов, Ширь. Стихи и поэма, М., 1979.
 Юн. — журнал «Юность».
 SV — С. Наровчатов, Избранное, Selected Verse, М., 1979.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Избр. 72, с. 13. *ИФЛИ* — Институт истории, философии и литературы (см. также автобиографическую заметку Наровчатова «О себе», с. 46). *Альфа и омега* — первая и последняя буквы греческого алфавита. Выражение «от альфы до омеги» означает «от начала до конца» (восходит к тексту Апокалипсиса, гл. I, ст. 8).

* 2. Костер, с. 29, под загл. «Наяву», без ст. 13—16, с пометой: «Москва»; СЗ, без загл., без ст. 1—4, в составе цикла «Северная юность»; С 60, без загл., без ст. 1—4, 25—32, в составе цикла «Северная юность»; С 62, без загл., без ст. 1—4, 25—32; ВП, под загл. «Наяву», без ст. 9—16; МК, 1968, 22 июня, с пометой: «Штеттин»; Подвиг, вып. 1, М., 1968, под загл. «Тост за Север»; УнК, без загл., без ст. 1—4, в составе цикла «Северная юность»; Дальний путь, без загл., без ст. 1—4, 25—32, в составе цикла «Северная юность»; БМ, без загл., без ст. 1—4, 25—32, в составе цикла «Северная юность». Печ. с. 17. Датируется по С 62. *Уркаганский* — разбойничий, хулиганский.

3. СЗ, с. 4, без загл., без ст. 25—40, в составе цикла «Северная юность»; С 60, без загл., без ст. 25—40, в составе цикла «Северная юность»; ЧВ, без загл., без ст. 25—40, в составе цикла «Северная юность»; Через войну, без загл., без ст. 25—40, в составе цикла «Северная юность»; Избр. 72; Дальний путь, без загл., без ст. 25—40, в составе цикла «Северная юность»; БМ, без загл., без ст. 25—40, в составе цикла «Северная юность». Печ. по СС, т. 1, с. 21. *Арбат* — один из центральных районов Москвы, в планировке и архитектуре которого сохранился старомосковский колорит. *Сретенка* — Сретенский бульвар. Обыгрывается древнерусское слово «сретенье» — встреча.

4. Избр. 72, с. 19. *Роб-Рой* — герой шотландских преданий и одноименного романа Вальтера Скотта, вожак горцев, борющихся против шотландских феодалов и английских поработителей.

5. СС, т. 1, с. 24. *Куст неопалимый* (библ.) — неопалимая купина, горевший, но не сгоравший куст, из которого слышался голос бога. *Циклопы* (греч. миф.) — одноглазые великаны. Герой гомеровской поэмы Одиссей напоил циклопа Полифема вином и ослепил его. *Но и Руссо ей быстро надоест С наивным возвращением к природе.* По всей вероятности, имеется в виду Анри Руссо (прозвище Таможеник, 1844—1910), французский живописец, самоучка, представитель примитивизма (см. примеч. 157). Его фантастические пейзажи, жанровые сцены отличаются наивностью мировосприятия. *Чеховская чернильница.* Ср. в воспоминаниях В. Г. Короленко о Чехове: «Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал: „Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие — «Пепельница»» (А. П. Чехов в воспоминаниях современников, М., 1960, с. 139). *Прометей* (греч. миф.) — титан, богоборец и защитник людей — по некоторым мифам, создал человека из земли и вдохнул в него жизнь.

* 6. Октябрь, 1941, № 3, с. 114; СЗ. Печ. по С 60, с. 6. *Семен Дежнев* — см. примеч. 180. *Анадырская коса* — побережье Анадырского залива в северо-западной части Берингова моря. *Кочи* — см. примеч. 180. *Покров* — церковный праздник богородицы 1 октября ст. стиля. *Китеж* — легендарный город на нижегородской земле; скрылся под землю во время нашествия Батыя, на его месте образовалось озеро. *Анадырь* — поселок на берегу Анадырского залива при впадении в него реки Анадырь.

7. Москва, 1965, № 5, с. 31; ЧВ, с подзаг. «(Перед самой войной)»; Через войну, под загл. «Перед самой войной»; УНК, с подзаг. «(Перед самой войной)». Печ. по СС, т. 1, с. 28. «Теперь о том, что составляло содержание нашей повседневной жизни, — вспоминал Наровчатов о предвоенных годах. — Лекции и влюбленности, прыжки с самолета и стадион, ночные споры в усадебском общежитии и первые опыты в стихах и прозе. Парашютные прыжки вызвали к жизни стихи «Приземленный ангел». (...) Формулировки наивные, но ощущение истории верное. А ведь мы жили тогда в истории! В потоке подчас труднее судить о направлении стрелы, чем позже, с холмов времени. Мы судили и в общем были близки к истине» (МВВЖ, с. 88, 90). *Дюраль* — дюралюминий, легкий и прочный сплав, употребляющийся для постройки самолетов. *Рим и Берлин*,

Две яростные столицы. Намек на так называемую «ось Берлин — Рим», военно-политическое соглашение, заключенное в 1936 г. фашистскими Германией и Италией и направленное против СССР. *Будет еще и Большая война.* В публицистике тех лет определение «Большая война» закрепилось за грядущей мировой войной, предчувствие которой охватило народы.

8. Октябрь, 1965, № 5, с. 46. В ряде изданий с пометой: «Финский фронт». По свидетельству Наровчатова, написано в госпитале (см.: МВвЖ, с. 182).

9. ЧВ, с. 21. Указание на место написания стих. («Финский фронт») впервые появилось в Избр. 68. «На фронт попали в январе нового, 1940 года, — вспоминает Наровчатов. — Нас отправили в рейд по тылам противника. Попали в тяжелую обстановку. Повидали такое, что до сих пор мороз по коже, когда вспоминаешь. (...) Эти стихи я писал уже в госпитале» (МВвЖ, с. 92).

10. Октябрь, 1965, № 5, с. 46. В Избр. 68 с пометой: «Финский фронт». По поводу этого стих. Наровчатов заметил: «Мои собственные стихи я даже не показывал в редакциях. Знал, что не пройдут. Слишком мрачны они были. Для них тоже время не пришло. Нужна была откровенная тяжесть 1941 года, чтобы открыть им дорогу к читателю» (МВвЖ, с. 185). «Слово» — памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», отразивший борьбу русского народа против натиска степных кочевников — *половцев*. Во главе одного из походов *русичей* встал *Игорь* Святославич, князь Новгород-Северский.

11. Октябрь, 1965, № 5, с. 46; Через войну, под загл.: «О романтике». Печ. по Избр. 72, с. 26. В Избр. 68 — с пометой: «Финский фронт».

* 12. ЛП, 1943, 3 сентября, под загл. «В боях добытая...»; Костер, с пометой: «Финский фронт»; С 60. Печ. по С 62, с. 9. Неавторизованная машинопись без даты, загл. с разночтениями (ИМЛИ). «Я, потеряв счет своим лучшим друзьям и глядя на свои черные с «отливом в синь» гангренозные ноги, выговаривал свои первые настоящие строки», — впоследствии вспоминал Наровчатов (МВвЖ, с. 202). *Антонов огонь* — заражение крови, гангрена.

13. Октябрь, 1965, № 5, с. 47. Печ. по Избр. 68, с. 14. *Вящий* — наибольший (по силе, величине).

14. Избр. 75, с. 31. *Судак* — поселок в Крыму, на берегу Черного моря. С XIII в. до 1475 г. был торговой колонией генуэзцев. *Фелюга* (фелюга) — небольшое парусное судно на Средиземном и Черном морях.

15. Избр. 72, с. 30. В мае 1940 г. фашистские войска вторглись во Францию, 14 июня вступили в Париж. *Нормандские дюны.* Нормандия — область на северо-западе Франции, побережье проливов Ла-Манш и Па-де-Кале. *Коммуна* — Парижская коммуна, правительство восставших трудящихся масс в Париже (18 марта — 28 мая 1871 г.), первая попытка установить диктатуру пролетариата.

Демулен К. (1760—1794), Робеспьер М. (1758—1794) — вожди Великой французской революции. *Четырежды баррикадный Париж*. Имеются в виду Великая французская революция, революции 1830, 1848 гг. и Парижская коммуна. *Вандомская колонна* — памятник в честь побед Наполеона I, отлитый из переплавленных пушек, трофеев французских войск. *Коричневые батальоны* — фашистские штурмовики — коричневорубашечники. *Марианна* — символическое изображение Франции в виде девушки в классических одеждах и фригийском колпаке.

16. С 60, с. 8; С 62, без ст. 23; ЧВ. Печ. по Избр. 72, с. 31. Датируется по С 60. «Передовая быстро нас обработала, уже через неделю мы в своих новых мундирах перебежали и переползали через Негинское поле (...), — писал Наровчатов. — А тогда... (...) Написанные по свежим следам, стихи довольно четко воспроизводят те прощальные минуты» (МВВЖ, с. 146).

* 17. ЛГ, 1967, 21 июня; Через войну. Печ. по УНК, с. 25. Датируется по ЛГ.

18. ГЛ, с. 46.

19. С 60, с. 10; С 62; С 65; Через войну. Печ. по Полдень, с. 16. *Памятник сотням районных Мадридов*. В сознании советских людей Мадрид после национально-революционной войны 1936—1939 гг. в Испании стал символом мужества, героизма и стойкости. Надпись на стене перекликается с лозунгом испанских республиканцев: «No pasaran!» — «Не пройдут!».

20. Костер, с. 45, с пометой: «Брянск»; Полдень. Печ. по УНК, с. 26. Датируется по СС, т. 1. Через много лет после написания стих. Наровчатов вспоминал: «...Заснеженное поле под Негиним. Это 10 октября 1941 года. Первый мокрый снег упал на Брянщину, и на нем наши шинели выделяются как напоказ: бей, не хочу! И по нас бьют, не спеша, на выбор. Попытка прорыва не удалась, и мы, отстреливаясь, отходим от сожженной деревни к темнеющему впереди лесу. (...) Теперь мы окружены и нам предстоит пройти 600 верст, пока мы не минуем вражеские посты» (МВВЖ, с. 138—139).

21. С 62, с. 6; Избр. 68. Печ. по Через войну, с. 24. *Ярви* (финск. järvī) — небольшое озеро. *Карадаг* — горный массив в Крыму. У его восточного подножья расположен пос. Планерское (бывший Коктебель), где в 1913 г. поэт М. А. Волошин (1877—1932) построил себе дом, в котором в разное время гостили многие известные деятели русской науки и художественной культуры. Волошин считал, что восточная область Крыма и есть та легендарная Киммерия, которая упоминается в гомеровском эпосе «Одиссея». Наровчатов глубоко интересовался творчеством Волошина, ему принадлежит вступительная статья в сборнике: Максимилиан Волошин, Стихотворения, Л., 1977, «Б-ка поэта», М. с., с. 5—40. Комментарием к данному стих. могут служить воспоминания поэта: «Праздничный хмель, девичьи объятия и поцелуи кружили меня весь апрель, а в середине мая (1940 г. — *Ред.*) добровольцев Литинститута (...) отправили в Коктебель загорать, купаться и забывать далекие сугробы. Но они

не забывались. Потрясение было настолько сильным, что никакое вино, никакие объятия и поцелуи не могли вытеснить страшные впечатления» (МВВЖ, с. 183).

22. Октябрь, 1965, № 5, с. 47.

23. Избр. 68, с. 21. *Большая война* — см. примеч. 7. *Ливия* в 1941 г. была ареной ожесточенных боев между войсками фашистской Италии и армией Британского содружества наций (куда входила и Австралия).

24. ВП, с. 28. *Трубчевск* — город в Брянской области.

* 25. ЛП, 1943, 13 августа, под загл. «За родную землю»; ММ. Печ. по Костер, с. 39. В Костер с пометой: «Брянский фронт». *Ярославна* — жена князя Игоря (см. примеч. 10), в русской литературе символ женской верности и преданности. *Непрядва* — приток Дона, за Непрядвой лежало Куликово поле. *Россия, мати! Свете мой безмерный*. Не совсем точная цитата из стих. В. К. Тредиаковского «Стихи похвальные России» (1728).

26. С 60, с. 14, под загл. «Письмо». Печ. по СС, т. 1, с. 52, с исправлением смысловой опечатки в ст. 9 («в свете»). Датируется по С 60. Наровчатов процитировал ст. 13—16 данного стих., вспоминая суровые испытания октября 1941 г., когда он попал в окружение под Брянском (МВВЖ, с. 138). См. также стих. «В кольце» (№ 20) и примеч. *Ливны* — город в Орловской обл.

27. С 60, с. 31. В СМ, 1963, № 2 с пометой: «Фронт». Датируется по С 60.

28. С 60, с. 16. Датируется по С 60. *Водяницы* (слав. миф.) — водные девы, живущие в реках, почти все происходят от утопленниц, имеют вид полурыбы-полуженщины.

29. Избр. 68, с. 32.

30. НМ, 1947, № 2, с. 17; ММ. Печ. по Костер, с. 48. Датируется по НМ. В ряде изданий с пометой: «Ленинградский фронт». *Китеж-град* — см. примеч. 6. *Ойрот-Тура* — прежнее (до 1948 г.) название Горно-Алтайска. *Байрам* — мусульманский праздник. *Песня песней* — здесь: любовь («Песнь песней» — древнейший памятник любовной лирики, семнадцатая книга Библии).

31. Костер, с. 54, без подзаг., с пометой: «Шлиссельбург»; ГЛ, С 65; КО, 1973, 23 ноября, под загл. «Прорыв блокады», без ст. 29—44. Печ. по Дальний путь, с. 73. Датируется по Костер. Операция по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1943 г. 18 января 1943 г. на восточной окраине Рабочего поселка № 1 произошла историческая встреча передовых подразделений Волховского и Ленинградского фронтов, ознаменовавшая прорыв блокадного кольца. В тот же день был освобожден *Шлиссельбург* (современное название — Петрокрепость), город на Ладожском озере у истока Невы. *На стройке Большого канала*. Речь идет о Большом Ферганском канале, сооруженном в 1939—1940 гг. методом народной стройки.

* 32. Костер, с. 57, с пометой: «Синявино»; С 62, с пометой: «Синя-вино»; Избр. 68; Через войну; Дальний путь. Печ. по ЗнВ, с. 46. Датируется по С 62. Стих. перерабатывалось под влиянием замечания И. Г. Эренбурга: «У вас (...) несправедливо сказано о французах. Там было несколько по-иному. . .» (МВвЖ, с. 120). Автобиографическая основа этого и ряда других стих. (№ 34, 35, 42, 46, 47, 55), объединяемых темой «разрыва», подтверждается воспоминаниями поэта: «Война разбила, перевернула, искалечила столько судеб, что разрыв между двумя молодыми людьми вряд ли мог остановить внимание. А впрочем, черт его знает. . . Драма не перестает быть драмой, даже если она включена в трагедию. Так и в этом случае. Да еще разрыв на расстоянии, в письмах. Ждешь и ждешь ответа. . . Много стихов было написано в ту пору» (МВвЖ, с. 275). *Синявино* — поселок Ленинградской области, в районе которого в 1941—1943 гг. шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками.

33. С 62, с. 135. Печ. по С 65, с. 50. В С 62 подпись под эпиграфом: «Из рапорта». *Разрыв-трава* — сказочное растение, обладающее способностью разрывать замки и запоры.

34. ГЛ, с. 58. Датируется по С 60. В июне 1942 г. были введены нагрудные нашивки за ранения: золотые — за тяжелые, темно-красные — за легкие.

35. С 60, с. 30; Избр. 72. Печ. по Избр. 80, с. 78.

36. Отважный воин, 1943, 19 августа. Печ. по С 60, с. 28, В Избр. 80 с пометой: «Волховский фронт». Датируется по Избр. 80. *Крещенские ветры* — холодные, морозные (крещение — православный праздник 6 января ст. стиля).

37. Избр. 75, с. 75. Обращено к Лидии Яковлевне Наровчатовой (1894—1981). «Отец рос в семье высокопорядочных, наделенных большой внутренней культурой людей, — замечает дочь поэта О. С. Наровчатова, — людей целеустремленных, стремящихся к постоянному пополнению своих знаний, отличающихся редкой преданностью друг другу, свято относящихся к самой идее семьи» (НМ, 1984, № 10, с. 202). *Ни азартов своих, ни абречеств*. Абрек — горец-разбойник.

38. С 62, с. 29, под загл. «На машине под обстрелом»; С 65; Через войну, под загл. «На машине под обстрелом»; Полдень; ЗнВ; Избр. 75; СС, т. 1. Печ. по Избр. 80, с. 66, с исправлением смысловых опечаток в ст. 25 («взрывом») и ст. 35 («риском»). *Рыск* — рысканье, незначительные отклонения судна, автомобиля, самолета от основного курса. *Шлиссельбург* — см. примеч. 31.

39. СР, 1972, 13 октября. Печ. по Избр. 72, с. 52. Это стих. считалось утерянным, пока через много лет после его написания не было обнаружено в полевой сумке поэта Г. Суворова (см. примеч. 52), хранившейся в краеведческом музее г. Нарва. «История этих стихов печальна и, если угодно, романтична, — писал Наровчатов. — (...) Георгий Суворов был моим близким другом, я послал ему стихотворение с одного участка фронта на другой. Он получил его незадолго перед своей гибелью на нарвском льду зимой 1944 года.

(...) Здесь можно бы вывести приличествующее случаю умозаключение, но не стоит этого делать. Бывают факты, поражающие именно своей пронзительностью» (МВвЖ, с. 105). Д. Д. *Шостаковичу* (1906—1975) принадлежит Седьмая (Ленинградская) симфония, написанная в 1941 г. и в осажденном городе впервые исполненная 9 августа 1942 г.

40. Избр. 72, с. 54, с исправлением смысловой опечатки в ст. 3 («вокруг»). *Арсенал* — старинное здание в начале Литейного проспекта в Ленинграде.

* 41. С 60, с. 36; С 62, под загл. «С пакетом» (др. ред.). Печ. по Избр. 68, с. 41. Датируется по С 60. *В. секретный, В. спешный, В. срочный* — сокращение слова «весьма», принятое в военных документах.

42. Октябрь, 1965, № 5, с. 47. Печ. по *Через войну*, с. 44. Датируется по Избр. 68.

43. Избр. 72, с. 60. Авторизованная машинописная копия, под загл. «Смелая», без даты (ИМЛИ).

44. С 62, с. 139. Авторизованная машинописная копия (ИМЛИ) под загл. «Хорошие письма», без даты.

45. С 60, с. 34; *Через войну*, под загл. «На знакомой дороге». Печ. по УНК, с. 45. Датируется по СС, т. 1.

46. С 62, с. 137; СС, т. 1. Печ. по Избр. 80, с. 82. Датируется по С 62.

47. ВП, с. 57. *Иудино серебро* — плата за предательство. Иуда (еванг.) предал Христа за 30 сребреников.

48—50. С 62, с. 140 (впервые в качестве цикла).

1. С 60, под загл. «Прощанье», с датой: май 1943; Полдень без ст. 13—16. *Ты руку, иконоборкой, На счастье мое подняла*. По-видимому, навеяно картиной В. И. Сурикова «Боярыня Морозова».

2. С 60, под загл. «Ревность», с датой: 1943. *Времен очаковских и покоренья Крыма* — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5, монолог Чацкого).

3. С 62. Образный строй восходит к повести Н. В. Гоголя «Вий».

51. ВП, с. 54, без ст. 21—24. Печ. по Избр. 68, с. 59. *Рассудку вопреки* — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 22, монолог Чацкого).

52. Октябрь, 1973, № 2, с. 78. Датируется по журн. «Октябрь». *Георгий Кузьмич Суворов* (1919—1944) — советский поэт, погиб на фронте. Наровчатов познакомился с Суворовым зимой 1944 г. Впоследствии посвятил характеристике личности Суворова и разбору его поэзии статью «Поэт на фронте». «Вспыхнувшее чувство к Суворову, — пишет Наровчатов в этой статье, — носило у меня характер влюбленности, да и у него оно имело тот же отпечаток. (...) Мы ощущали себя поэтами, и это никак не присуждаемое заранее предполагало наш союз, дружбу, привязанность с первого взгляда»

(МВВЖ, с. 99). Для Наровчатова Суворов «навсегда остался (...) воплощением фронтовой молодости» (там же, с. 94). *Что ни слово, то Очаков, Что ни строка, то Измаил.* Речь идет о победах А. В. Суворова во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг.

53. С 60, с. 40.

54. ГЛ, с. 56. Датируется по С 60. *Кингисепп* — город в Ленинградской области, на реке Луге.

55. ЧВ, с. 76. Об этом стих. Наровчатов писал: «Я тогда очень остро переживал разрыв с любимой женщиной, и эти переживания, соединенные с какими-то фронтовыми реалиями, (...) вызвали к жизни стихи-исповедь» (ВЛ, 1970, № 11, с. 146). *Нарва* — город в Эстонской ССР, на левом берегу реки Нарвы (на правом берегу — Кингисеппский район).

56. Костер, с. 59, с пометой: «Под Нарвой»; Полдень, с пометой «Под Нарвой»; УНК. Печ. по Избр. 72, с. 81. Датируется по С 60. *Луга* — река в Ленинградской области. *Извозский сельсовет.* Извоз — деревня Кошкинского сельсовета Кингисеппского района Ленинградской области. *Нарва* — см. примеч. 55.

57. Отважный воин, 1944, 12 мая; Ленинград, 1944, № 10—11; Костер, с пометой: «Волховский фронт»; С 62. Печ. по УНК, с. 43. Датируется по С 60.

58. Литература и искусство, 1944, 19 августа; Фронтовая правда, 1945, 13 января; Костер, с пометой: «Нарвский плацдарм»; С 60, без ст. 25—32; СС, т. 1; SV, без ст. 25—32. Печ. по Избр. 80, с. 94. Датируется по Избр. 80. *Где-то на деголлевском корвете.* Де Голль Ш. (1890—1970) — французский государственный, политический и военный деятель, в период второй мировой войны возглавлял Французский комитет национального освобождения и Временное правительство Французской республики. Корвет — военное судно. *Кульчицкий* М. В. (1919—1943) — советский поэт, товарищ Наровчатова по Литературному институту им. М. Горького. Долгое время считался пропавшим без вести. Погиб под Сталинградом. Наровчатов — автор обстоятельной статьи «Михаил Кульчицкий» (МВВЖ, с. 38—49). *Тито* И. Б. (1892—1980) — в 1941—1945 гг. — верховный главнокомандующий Народно-освободительной армии Югославии. *Нарвский плацдарм* — территория на левом берегу реки Нарвы, освобожденная советскими войсками в январе 1944 г. С Нарвского плацдарма в июне того же года началась операция по освобождению г. Нарва.

59. ГЛ, с. 59, с пометой: «Под Нарвой». Датируется по С 60. *Нарва* — см. примеч. 55.

* 60. Зв., 1944, № 4, с. 77; ММ; Костер, с пометой: «Сланцы». Печ. по ГЛ, с. 49. Датируется по С 60 с уточнением года по помете в журнале «Костер».

61. С 62, с. 46, с пометой: «Усть-Нарва». Датируется по С 65.

62. С 60, с. 55. Датируется по С 60.

* 63. С 62, с. 49; С 65; Полдень. Печ. по УНК, с. 55. Датируется по содержанию. *Мыза* — загородный дом с хозяйством. *Кирка* (кирха) — лютеранская церковь.

64. Костер, с. 71, с пометой: «Польша». Печ. по ГЛ, с. 90. Датируется по С 60. *Калев* — один из героев эстонского эпоса «Калевипозг». *Земгалия* и *Латгалия* — исторические области на территории Латвийской ССР. *Мазуры* — жители исторической области Мазовия на территории ПНР. *Матка Бозка Ченстоховска* — изображение богоматери, особо почитаемое польской католической церковью; хранится в Ченстоховском монастыре.

65. ВП, с. 33. *Кингисепп* — см. примеч. 54.

66. Юн., 1958, № 2, с. 17, без ст. 17—20, с пометой: «Фронт»; ЛГ, 1961, 22 июня, под загл. «Фронтная молодость»; С 62, под загл. «Всадники», без ст. 1—4; С 65; СМ, 1963, № 2, под загл. «Всадники», с пометой: «Фронт». Печ. по Через войну, с. 93.

67. Костер, с. 86, с пометой: «Польша». Печ. по ГЛ, с. 85. *Мазур* — см. примеч. 64. *Торбаза* (торбаса, торбасы) — мягкие высокие сапоги из оленьих шкур.

68. СС, т. 1, с. 117. *Мазовецкий край* — Мазовия, историческая область на территории ПНР.

69—73. Костер, с. 106, с пометой: «Польша» (в полном составе); СЗ, без стих. 3, 4; С 60 (в полном составе); УНК, без стих. 3, 4; Избр. 72 (в полном составе); КД, без стих. 4. Печ. по Избр. 75, с. 99. В ГЛ — с пометой: «Остров Мазовецкий».

1. Костер; СЗ, без ст. 9—12; С 60.

2. Костер, без ст. 9—12; ГЛ; СЗ, без ст. 9—12; С 60; КД, без ст. 17—20.

3—5. Костер.

Характеризуя свои «польские» стихи, Наровчатов писал: «Чувство, владевшее мною, иначе как влюбленностью не назовешь, а влюблен ли ты в женщину или в страну, сопутствующие обстоятельства одинаковы. Идеализация и романтизация здесь не только возможны, но прямо-таки обязательны» (МВвЖ, с. 151). «Пишу стихи, — сообщал Наровчатов Н. Н. Асееву в письме от 4 декабря 1944 г., — меня увлекает сейчас столкновение польских и русских слов в одном славянском русле» (ВЛ, 1982, № 7, с. 178). И позже в очерке «Михаил Кульчицкий»: «Я в своих «Польских стихах», где языки близких народов соединяются в общем славянском русле, все время мысленно оглядывался на Кульчицкого» (МВвЖ, с. 40). Наровчатов имеет в виду поэму Кульчицкого «Самое такое», в которой шестая глава «Губы в губы» строится на использовании русской и украинской лексики (Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне, Л., 1965, с. 374—375. «Б-ка поэта». Б. с.). О М. К. Кульчицком см. примеч. 58. *Одра*, *Лаба*, или *Одер*, *Эльба*, — реки в Европе.

74. Костер, с. 76, с пометой: «Остров Мазовецкий»; ГЛ; С 62. Печ. по СС, т. 1, с. 118. Датируется по ГЛ. *Лукоморье* — здесь: балтийское побережье Польши. *Мангазья* — старинное поселение в Западной Сибири (1601—1672).

* 75. СЗ, с. 59; С 60; Через войну, без ст. 49—52; БМ, Печ. по СС, т. 1, с. 149. *Щит половецкий*. Половцы — см. примеч. 10. *Коханая маты* (укр.) — дорогая мать. *Аскания-Нова* — заповедник на юге Украины, в Херсонской области. *Запорожская давняя статья*. Намек на Запорожскую Сечь (XVI—XVIII вв.).

76. Костер, с. 79, с пометой: «Под Варшавой»; С 62; С 65; Через войну. Печ. по сб. *Строки, добытые в боях*, М., 1969, с. 233. Датируется по С 60. *Варшавское гетто* — резервация, в которую немецко-фашистские захватчики согнали еврейское население Варшавы. 19 апреля 1943 г. в гетто вспыхнуло вооруженное восстание, борьба шла на улицах, укрытием служили подземные канализационные ходы. Чтобы подавить восстание, оккупанты разрушили и сожгли гетто. *Пултуск* — город в Польше, на реке Нарев.

77. Октябрь, 1955, № 6, с. 47, под загл. «Из фронтовой тетради». Печ. по УнК, с. 64. Датируется по С 60. *Безмерный свете мой*. См. примеч. 25.

78. ВГ; Через войну; БМ, с. 28. Печ. по СС, т. 1, с. 130. Датируется по ВГ. *Эльбинг* — ныне город Эльблонг в ПНР. *Древний стих о верной Дареджан*. Имеется в виду поэма Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

* 79. Костер, с. 67, с пометой: «Пултуск»; ГЛ; СЗ, под загл. «Полоходный тост»; С 60, с пометой: «Польша». Печ. по Избр. 80, с. 113. Датируется по ГЛ. В 1939 г., после окончания работы на Большом Ферганском канале, Наровчатов побывал в Шахимардане: «тянуло к „узбекскому Маяковскому“» (МВвЖ, с. 88). *Шахимардан* — пос. в Узбекской ССР, недалеко от Ферганы. Здесь религиозными фанатиками был убит узбекский поэт, драматург и общественный деятель *Хамза Хакимзаде* (1889—1929). Ныне поселку присвоено его имя. *Чинара* — платан. *Навои А.* (1441—1501) — поэт, основоположник узбекской национальной литературы. *Кетмень* — мотыга. *Пултуск* — см. примеч. 76.

80. Костер, с. 82, с пометой: «Млава»; С 62; С 65. Печ. по ВГ, с. 24. Датируется по С 60. *Млава* — город на северо-востоке ПНР. *Ягеллоны* — династия польских королей (1386—1572) и великих князей литовских (1377—1572). *Придел* — боковой алтарь в церкви.

81. Костер, с. 88, с пометой: «Мариенбург»; С 60; С 62; ВГ; ЧВ; Через войну; Полдень. Печ. по УнК, с. 69. Датируется по С 60. *Мариенбург* (ныне г. Мальборк в ПНР) — древний город с крепостью и замком магистров Тевтонского ордена. Комментируя данное стих., Наровчатов говорил: «То, что сейчас стало привычным (...) погоны, знаки различия, звания и т. д. — для нас было внове и окруженным романтикой. Это была как бы обращенность к поэтической традиции 1812 года. (...) Моя влюбленность в историю всегда рождала желание воплотить в стихах словно бы увиденные наяву картины. И у

меня, глядя на башни и зубцы замка в Мариенбурге, (...) появилось желание рассказать, что наша старина лучше, человечнее, именно — *человечнее*. (...) Я смотрю на эти стихи из большого далека — будто их написал другой человек. (...) Это камням тевтонского града противопоставлено человеческое сердце» (ВЛ, 1970, № 11, с. 146—147).

* 82. НМ, 1948, № 3, с. 98; Костер, под загл. «Встреча», без ст. 21—24, с пометой: «Данциг»; Солдаты свободы; Присягаем победой, М., 1955; СЗ; За Родину, 1961, 12 октября; С 62. Печ. по ВП, с. 37. Датируется по С 60.

83. Костер, с. 102, под загл. «Славянский поход», с пометой: «Остров Мазовецкий»; ГЛ; СЗ, под загл. «Славянский поход»; С 65; Через войну, под загл. «Славянский поход». Печ. по Избр. 80, с. 125. «Боже, сколько стихов я тогда написал! — вспоминал Наровчатов, цитируя «Где сердца единого сплава...». — Чуть не каждый день появлялось новое стихотворение. Бумага и карандаш не всегда были под рукой, я сочинял стихи вслух, затверживая наизусть, чтобы не забыть. Сейчас, перечитывая их, с каким-то щемящим чувством я вспоминаю обстановку, в которой они сочинялись. Вот эти строки пришли ко мне, когда я лежал в воронке от авиабомбы, переживая огневой налет немецкой артиллерии. Трудно поверить, что они могли сложиться именно тогда, — снаряды рвутся, раненые кричат, а молодой человек стихи сочиняет» (МВВЖ, с. 151). *Табориты* — участники революционного движения в Чехии (XIV в.), направленного против католической церкви, феодальной эксплуатации, немецкого засилья. *Моравы* — население Моравии, исторической области на территории ЧССР. *Детва* — город в Словакии (ЧССР). *Кульчицкий* — см. примеч. 58. *Юнаки* — здесь: югославские партизаны во время второй мировой войны.

84. СС, т. 1, с. 152.

85. Костер, с. 116, с пометой: «Виттенбург». Датируется по С 60. *Эльба, Лаба* — см. примеч. 69—73. *Мекленбург* — историческая область на территории ГДР.

86. СЗ, с. 26. *Камчатная* — из узорчатой ткани.

87. ЧВ, с. 103. *Громадьство* (от польск. *gromada*) — масса, народ.

88. СЗ, с. 37; ГЛ; С 60, с пометой: «Польша»; С 62; Через войну; БМ, с пометой: «Польша». Печ. по СС, т. 1, с. 137. Датируется по С 60. *Цеханов* — город на севере ПНР. *Речь Посполитая* (польск. *Rzeczpospolita*) — традиционное наименование польского государства в конце XV—XVIII в.; позднее это выражение стало означать «республика». *Сходбище* — здесь: место сходов, собраний. *Оржел* (польск. *orzel*) — орел. *Ягеллоновские* — времен Ягеллонов (см. примеч. 80).

89. СС, т. 1, с. 145. *Кульм* (ныне Хлумец) — селение в ЧССР.

90. Костер, с. 91; ГЛ; СЗ; С 62. Печ. по Пес, девчонка и поэт, с. 5. *Тчев* — город в Польше, на реке Висле. *Фура* — большая по-

возка, длинная телега. *Гражданский* — штатский, гражданский. *Вавилон* — Вавилонское царство (XIX—VI вв. до н. э.); в Вавилонии широко использовался рабский труд поработенных народов.

* 91. Юн., 1958, № 2, с. 17. Печ. по СС, т. 1, с. 120. *Пулковские ворота* — Пулковские высоты к югу от Ленинграда. *Нарев* — река в ПНР.

* 92. Костер, с. 112, с. пометой: «Германия»; СЗ. Печ. по С 60, с. 95. *Волглый* — влажный. *Волхов* — река в Новгородской и Ленинградской областях. *Дивьи* — лесные.

93. СЗ, с. 20; С 62; С 65; Через войну; Полдень. Печ. по УнК, с. 85. Датируется по УнК. *Ярославна* — см. примеч. 10.

* 94. С 60, с. 98, под загл. «Метель» (др. ред.), с пометой: «Архангельск»; С 65, под загл. «Метель» (др. ред.); ЧВ, под загл. «Письмо из Оливь». Печ. по Избр. 72, с. 123. Датируется по С 60.

95. Смена, 1947, № 13, под загл. «Тетрадь»; ММ, с. 51, под загл. «Тетрадь»; Костер, под загл. «Тетрадь», с пометой: «Германия»; СВ, под загл. «Тетрадь». Печ. по Избр. 72, с. 126. Датируется по Избр. 68. «Одно из самых прочных ощущений, вынесенных нами из войны, была теснота фронтовой дружбы, — писал Наровчатов. — Вскоре у меня появилось стихотворение «Костер», где такая дружба персходит в интернациональную, а она, в свою очередь, перерастает в единый отпор поджигателям новой войны. «Костер», по сути, стало первым стихотворением вновь открываемой темы. Борьбы за мир во всем мире. (...) Своеобразным дубликатом «Костра», тоже написанное в форме баллады, стало другое стихотворение — «Друзья», посвященное уже просто дружбе, правда тоже с выходом на международный простор» (МВВЖ, с. 193). *Штадив* — штаб дивизии. *Данцигский сенат*. Данциг — бывшее немецкое название польского г. Гданьска. С 1919 по 1939 г. имел статус «вольного города», управлялся сенатом. *Пешт* — историческая часть Будапешта, расположенная на левом берегу Дуная. *В Лондоне идет конгресс*. Имеется в виду Всемирная конференция демократической молодежи (1945). *Воронько П. Н.* (р. 1913) — украинский советский поэт. О длительной и тесной дружбе с Воронько Наровчатов рассказал в своем очерке под знаменательным заглавием «Названный мой брат», являющимся цитатой из комментируемого стих. (МВВЖ, с. 177—198).

96. СЗ, с. 21, с пометой: «г. Архангельск»; С 62, с пометой: «Архангельск»; С 65, с пометой: «Архангельск»; Избр. 68; БМ. Печ. по Избр. 75, с. 138. Датируется по С 60. *Кузнецкий мост* — улица в Москве.

97. Избр. 72, с. 128. *Соломбала* — район г. Архангельска, расположенный на острове, образуемом протоками Северной Двины.

* 98. Московский большевик, 1947, 9 февраля; Смена, 1947, № 13; Молодая гвардия. Альманах молодых писателей, М., 1947; Костер, с пометой: «Москва»; На страже Родины, 1951, 6 ноября; Солдаты свободы; СЗ; С 60; ВП; УнК. Печ. по БМ, с. 106. Датируется по С 60. *В нем посвист стрел над полем Куликовым*. Речь идет о Куликовской битве 8 сентября 1380 г. *В нем стук мечей на озере*

Чудском. Подразумевается Ледовое побоище 1242 г. *Сенатская* — площадь в Петербурге, куда 14 декабря 1825 г. были выведены восставшие войска. *Красная Пресня* — промышленный район Москвы, главный центр вооруженного восстания 1905 г.

* 99. МК, 1947, 30 января, без ст. 13—20; Октябрь, 1947, № 1, без ст. 17—20; Сверстники. Альманах молодых писателей, М., 1947, без ст. 17—20; ММ, под загл. «Сверстники», без ст. 17—20; Костер, с пометой: «Москва»; Магаданская правда, 1959, 19 июня, под загл. «Мы — коммунисты», без ст. 1—4, 25—28; СЗ, без ст. 25—28; С 62, без ст. 9—20; Избр. 68, без ст. 25—27; Через войну; Строки, добытые в боях, М., 1969, без ст. 25—28. Печ. по СС, т. 1, с. 166. Датируется по С 60.

100. Альманах молодых писателей, М., 1947, с. 216; Костер, с пометой: «Архангельск». Печ. по ГЛ, с. 94. Датируется по С 60. Стих. дало название одному из сборников Наровчатова (М., 1966). *Синявинские высоты* — возвышенность близ Синявино (см. примеч. 32).

* 101. НМ, 1946, № 10—11, с. 44, без ст. 67—72; ММ; Костер, с пометой: «Москва»; Солдаты свободы; С 62; ИЛ, без ст. 67—72; С 65; ЧВ; Через войну; ДП, 1974, без ст. 61—66; НМ, 1975, № 1, без ст. 67—72; SV. Печ. по СС, т. 1, с. 169. Датируется по С 60 с уточнением по времени первой публикации. Два черновых автографа без загл., без даты (ИМЛИ). *Когда мы встретились с тобой* и т. д. Историческая встреча союзников произошла на *Элбе*, близ города Торгау, 25 апреля 1945 г. *Что ни в одной из двух палат* и т. д. Речь идет о парламенте Англии.

102. Костер, с. 118, под загл. «Через сердце»; ГЛ; С 60; С 62, под загл. «Через сердце»; С 65, под загл. «Через сердце»; ВГ, под загл. «Через сердце»; УНК; СС, т. 1; SV. Печ. по Избр. 80, с. 143. Датируется по С 62. *Разрыв-трава* — см. примеч. 33.

103. ЗнВ, с. 116 «...*За шеломенем еси*» — цитата из «Слова о полку Игореве» (см. примеч. 10): «О Русская землѣ! Уже за шеломянемъ еси!» — «О Русская земля! Уже ты за холмом!» *Ярославна* — см. примеч. 10.

* 104. НМ, 1947, № 8, с. 283, под загл. «Память грозных дней»; Костер, с пометой: «Москва»; Солдаты свободы; С 62. Печ. по БМ, с. 113. Датируется по С 60. *Эпир* — область на западе Греции, где в 1946 г. с особенной силой развернулся правительственный террор, направленный против демократов и патриотов.

105. МК, 1947, 30 января, под загл. «Мы веруем в свой путь через века»; НМ, 1948, № 10, под загл. «На партию равняйся, комсомол!»; МК, 1953, 1 мая, под тем же загл.; Смена, 1953, 30 июля, под тем же загл.; БМ, под тем же загл. Печ. по СС, т. 1, с. 191.

* 106. Октябрь, 1947, № 1, с. 101, без ст. 21—24; ММ, без ст. 21—24, 29—32; Костер, с пометой: «Москва»; СЗ, без ст. 25—28, 37—40; С 62, без ст. 33—36; ВГ, без ст. 33—36. Печ. по Через войну, с. 143. Черновой автограф, без загл., без даты (ИМЛИ). *Гвадалахара* —

город в Испании, оказавший героическое сопротивление испанскому фашизму. *Лукач* — боевое имя Мате Залки (1896—1937), венгерского писателя, генерала испанских республиканских войск. «*No pasaran!*» — лозунг испанских республиканцев.

107. Юн., 1956, № 1, с. 75. Печ. по ГЛ, с. 98. Датируется по С 60.

108. СЗ, с. 31. Датируется по С 60.

109. Костер, с. 12, с пометой: «Москва»; Солдаты свободы, под загл. «Стальное поколение»; С 62. Печ. по Через войну, с. 137.

110. Огонек, 1949, № 9, с. 19. Печ. по ГЛ, с. 97 с исправлением смысловой опечатки («белужим»). Датируется по ГЛ. *Белуший жир* — сало белухи, полярного дельфина.

111. НМ, 1948, № 1, с. 3; Костер, с пометой: «Москва»; Солдаты свободы, под загл. «Врагам. (К столетию «Коммунистического манифеста»)», с эпиграфом: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. „Манифест Коммунистической партии“»; С 62, без ст. 9—12. Печ. по Избр. 68, с. 137. В 1948 г. широко отмечалось столетие со времени выхода в свет «Манифеста Коммунистической партии». *Херстовская грязь*. Херст — американский газетный магнат, на страницах контролируемых им газет систематически печатались клеветнические статьи, направленные против СССР. *Пирей* — город в Греции, где реакционное правительство широко применяло террористические акции против демократов и патриотов. *Страх в стадном послушанье Ассамблеи*. Речь идет о Генеральной Ассамблее ООН, в которой США, прибегая к шантажу и угрозам, заставляли ряд государств поддерживать угодные им решения. «Манифест Коммунистической партии» заканчивается словами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

* 112. ГЛ, с. 92, под загл. «Песня»; СЗ, под загл. «Песня»; Физкультура и спорт, 1966, № 6, под загл. «Воспоминание». Печ. по Избр. 68, с. 139.

113. Октябрь, 1973, № 2, с. 77; ЗнВ. Печ. по СС, т. 1, с. 187. Датируется по СС, т. 1. Из студентов Литературного института в первые дни войны был образован взвод 22-го истребительного батальона Советского района Москвы. Взвод нес дежурство на улице *Станкевича*, около Центрального телеграфа (см.: МВВЖ, с. 187). Поэт был командиром отделения. «И, конечно же, не случайно Наровчатов стал и комсоргом всего батальона, — вспоминает А. Медников, — он более других подходил к роли комсомольского вожака, и в нем рано начала проявляться комиссарская жилка. (...) Он держался спокойно, не терял самообладания — чувствовалась закалка на финской войне, смело кидался на шипящие зажигательные бомбы, подавая личный пример мужества всем своим солдатам» (ВЛ, 1984, № 5, с. 180, 182).

* 114. МК, 1948, 30 октября, без ст. 9—12; КО, 1975, 21 марта, с. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 190.

115. Октябрь, 1950, № 8, с. 3; Солдаты свободы. Печ. по СС, т. 1, с. 194. *Аскер* — турецкий солдат.

* 116. Солдаты свободы, с. 16; Октябрь, 1950, № 8; С 60. Печ. по ЧВ, с. 158. Беловой автограф, с пометой: «Курильск — 16. X—49» (ИМЛИ). Датируется по автографу. *Хоккайдо* — остров на севере Японии, отделенный от советских Курильских островов узким Кунаширским проливом. *ПК* — патрульный катер пограничной охраны.

* 117. Солдаты свободы, с. 37. Печ. по СС, т. 1, с. 199.

118. Солдаты свободы, с. 21, под загл. «Сенатор»; С 60; ЧВ, без ст. 33—36; БМ. Печ. по СС, т. 1, с. 205. Датируется по С 60.

* 119. НМ, 1950, № 8, с. 8; Солдаты свободы; Магаданская правда, 1959, 19 июня, без ст. 9—16; С 60; С 62, без ст. 9—16. Печ. по СС, т. 1, с. 202. *Клокочет нестихающий Вьетнам, Девятым валом поднялась Корея*. Имеются в виду события начала 1950-х годов: борьба вьетнамского народа против французского колониального владычества и освободительная война корейского народа против агрессии США.

* 120. Октябрь, 1950, № 8; Солдаты свободы; С 62. Печ. по СС, т. 1, с. 203. Датируется по С 62 и публ. в журн. «Октябрь». Ритмическая основа стих. восходит к стих. М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль».

* 121. Солдаты свободы, с. 40; С 60; С 62; С 65; Через войну. Печ. по УНК, с. 113. Датируется по УНК. Стих., как и ряд других (№ 123—127, 131—133), обращено к дочери поэта Ольге Сергеевне Наровчатовой.

122. СС, т. 1, с. 209.

123. МК, 1952, 24 декабря, без ст. 5—8, 93—96; Знамя, 1955, № 6, без ст. 5—8, 89—96; С 60; С 62; ЧВ; Избр. 72. Печ. по ЗнВ, с. 148. *Кузнецкий мост* — улица в Москве.

* 124. Труд, 1953, 6 ноября, под загл. «В этот день», с посвящ. «Дочери», без ст. 9—16; Знамя, 1955, № 6; С 62, без ст. 5—12. Печ. по Через войну, с. 181.

125. ЛГ, 1953, 10 сентября, без ст. 13—16; СЗ; С 62. Печ. по С 65, с. 157. «Тот не знает наслаждения, Кто картошки не едал» — из популярной в 1920-е годы пионерской песни «Картошка» (слова В. Попова).

126. ЛГ, 1953, 10 сентября, без ст. 33—44; ДП, 1956, под загл. «Из цикла „Разговор с дочкой“»; ГЛ; Дальний путь, без загл. Печ. по Избр. 75, с. 170. Датируется по ЧВ.

* 127. Октябрь, 1956, № 11, с. 95, под загл. «Из стихов о дочери», без ст. 9—12, 17—20; СЗ. Печ. по ГЛ, с. 31. Датируется по С 60.

128. Нева, 1955, № 5, с. 37; ВС; С 65; УнК. Печ. по Избр. 72, с. 155. Датируется по Избр. 72.

* 129. Знамя, 1955, № 6, с. 29, под загл. «Вдвоем с дочкой»; ГЛ; СЗ; С 60. Печ. по С 62, с. 179. В письме к А. А. Фадееву (25 сентября 1953 г.) Наровчатов назвал это стих. «В день рождения» (Октябрь, 1966, № 12, с. 206).

130. Знамя, 1955, № 6, с. 30; СЗ. Печ. по СС, т. 1, с. 221.

131. Знамя, 1955, № 6, с. 30, под загл. «Осень». Печ. по СЗ, с. 70.

* 132. Знамя, 1955, № 6, с. 27; СЗ; С 65. Печ. по Через войну, с. 172. *Алые паруса* — название феерии А. С. Грина (1880—1932). *Ассоль* — главная героиня этого произведения.

133. ДП, 1956, с. 64; СЗ; Полдень. Печ. по УнК, с. 137. *И мой земляк Валерий Чкалов*. Как и Наровчатов, В. П. Чкалов (1904—1938) — волжанин, родился в г. Василево Горьковской обл.

* 134. СЗ, с. 86. Печ. по С 62, с. 205.

135. Пограничник, 1956, № 13, с. 60; СЗ. Печ. по СС, т. 1, с. 246.

* 136. ГЛ, с. 108. Датируется по СС, т. 1.

137. Печ. впервые по беловому автографу (ИМЛИ). Датируется по положению в тетради газетных и журнальных вырезок. *Мало дал я Дьяволу и Богу, Слишком много Кесарю отдал*. Восходит к тексту Евангелия от Матфея (XX, 21): «Отдавайте кесарево кесарю, а божие богу». *Иоанн Богослов*, по преданию, апостол Христа и евангелист, а также автор одной из частей Нового завета — Апокалипсиса, заключающей в себе пророчества о грядущих судьбах мира и человечества, о Страшном суде, на котором все люди, живые и мертвые, должны будут держать ответ за свои помыслы и поступки. *Фома* — один из апостолов Иисуса Христа, ему не приписывают создание какого-либо повествования. В народе он известен как Фома Неверный, то есть Недоверчивый. Он до тех пор не поверил в воскресение Христа, пока своими руками не ошупал его раны (Евангелие от Иоанна, гл. XX, ст. 24—29). *Кампанелла Т.* (1568—1639) — итальянский мыслитель, создатель коммунистической утопии «Город Солнца». *Взыскующие града* — ищущие лучших форм жизни, социальной справедливости. Восходит к Посланию апостола Павла к евреям (XIII, ст. 14).

138. ГЛ, с. 105; СЗ; За Родину, 1961, 12 октября, без ст. 5—8; С 62; Полдень; МК, 1972, 30 декабря, без ст. 37—48. Печ. по Избр. 72, с. 181. Датируется по ГЛ. *Свейки* (латышск. sveiki) — здравствуй, до свидания, прощай.

139—143. Без стих. 1 — НСД, 1956, № 5. Без стих. 1, 3—4 — Солдаты свободы, под загл. «Тажная молодость». В составе семи стих. (с включением стих. «Северянка» и «Вечер» — оба без загл.) — СЗ. В том же составе — С 60, ЧВ, Избр. 68, Через войну, УнК, Дальний путь, БМ. СС, т. 1, с. 172 (впервые в окончательном составе). Печ.

по СС, т. 1, с. 172. Датируется по СС, т. 1. Цикл имеет автобиографический характер.

1. СЗ, с. 3; С 62, без ст. 5—8; БМ. *Я лишь взыскательный путник*. Один из сборников Наровчатова называется «Взыскательный путник» (М., 1963).

2. НСД, с. 70; Солдаты свободы; СЗ.

3. НСД, с. 70. *Торбаза* — см. примеч. 67. *Расцветкой юкагирской*. Юкагиры — народность, проживающая в Якутской АССР.

4. НСД, с. 70; Магаданская правда, 1959, 19 июня, под загл. «За двенадцать тысяч верст»; СЗ.

5. НСД, с. 70; Магаданская правда, 1959, 19 июня, под загл. «Сын Колымы»; Солдаты свободы; ГЛ. *Неистовый труд разведчика недр* и т. д. Ср. в стих. В. В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии»: «Поэзия — та же добыча радия...»

144. Труд, 1958, 1 мая; День русской поэзии, М., 1958; Неделя, 1960, 30 октября; С 60; Вожатый, 1969, № 11, без ст. 9—12, 17—20. Печ. по Полдень, с. 116.

* 145. МП, 1959, 14 июня; С 60; С 62; С 65. Печ. по Избр. 68, с. 186. Датируется по С 62. *Сотворение мира*. Легенда о сотворении мира богом в течение семи дней повествуется в Библии (Бытие, I, 11). *Владимир Владимирович Софроницкий* (1901—1961) — советский пианист, был связан с Наровчатовым дружескими отношениями. По свидетельству дочери поэта, стих. было написано после вечера, проведенного у Софроницкого, когда музыкант несколько часов играл для одного Наровчатова (см.: НМ, 1984, № 10, с. 205).

146. С 60, с. 195; С 62; ИЛ; Пес, девочка и поэт; С 65; ЧВ; Полдень. Печ. по Избр. 72, с. 183.

147. Магаданская правда, 1959, 19 июня. Печ. по С 62, с. 231. Датируется по ЧВ.

148. ЛГ, 1959, 19 сентября, с. 1, под загл. «Над материками», без ст. 13—36, 45—48. Печ. по Избр. 72, с. 187. *Диомиды* — острова Диомиды в Беринговом проливе. *Уэльс* — мыс Принца Уэльского (США) в Беринговом проливе. *Ном* — город на Аляске. *Питер Пен* — герой одноименной пьесы английского писателя Д. Барри (1860—1937), увел с собой девочку Уэнди и ее братьев в сказочный мир Никогда-Никогда. *Алиса* — героиня повести английского писателя Л. Кэролла (1832—1898) «Алиса в стране чудес».

149. ЛГ, 1962, 21 апреля, под загл. «Революционная улица»; ДП, 1962, под загл. «Революционная улица», без ст. 37—40. Печ. по ВП, с. 12. *Камилл Демюлен* — см. примеч. 15. *Деникинские части*. Деникин А. И. (1872—1947) — генерал, один из главных организаторов контрреволюции в период гражданской войны. *Уком* — уездный комитет партии большевиков. *Марат Ж.-П.* (1743—1793) — один из вождей якобинцев во время Великой французской революции.

150. ЛГ, 1963, 9 февраля, с подзаг. «Из Чукотской тетради». Печ. по ВП, с. 72.

151. С 62, с. 216, без ст. 9—60, 73—76, 97—124; С 65, без ст. 9—60, 73—76, 97—124; ЧВ, без ст. 97—100, 105—108. Печ. по Полдень, с. 71, с исправлением типографской небрежности (перспутан порядок четверостиший: ст. 97—100 напечатаны после ст. 132). Датируется по Избр. 68. *Ментик* — гусарская короткая куртка с меховой опушкой. *Он альпийский герой*. Имеется в виду переход войск А. В. Суворова через Швейцарские Альпы в 1799 г. *Герой Аустерлица*. Аустерлиц (ныне г. Славков, ЧССР) — место решающего сражения (20 ноября 1805 г.) русско-австрийских войск с армией французского императора Наполеона I Бонапарта (1769—1821), завершившегося победой Наполеона. *Корнет* — первый офицерский чин в кавалерии дореволюционной России. *Шверин* — город в ГДР, в прошлом центр княжества Мекленбург-Шверин.

152. ДП, 1963, с. 44. Об обстоятельствах создания стих. см. очерк Наровчатова «Ганец Атыка» (СС, т. 2, с. 7—15). *Сага* — древнескандинавское народное сказание; здесь: сказание, эпос. *Уэлен* — поселок на побережье Чукотского моря. *Праздник кита* — традиционное празднество чукчей, которым отмечается удачная охота на кита.

153. ДП, 1962, с. 270, без ст. 4—8, 25—60. Печ. по ЧВ, с. 90. *Атлантида* (по Платону) — огромный остров в Атлантическом океане с высокоразвитой материальной и духовной культурой. Остров опустился на дно вследствие страшного землетрясения. *Дофараоновский Египет*. Речь идет о глубокой древности: первый фараон в Египте появился около 3300 г. до н. э. *Доминойский Крит*. Имеется в виду Минойская культура — высокоразвитая культура бронзового века на острове Крит (3—2 тысячелетие до н. э.).

154. Известия, 1962, 1 апреля, под загл. «Солдаты революции», без посвящ.; ВП, без посвящ. Печ. по УНК, с. 159. О биографической основе стих., о своих встречах с Анталом Гидашем Наровчатов написал в очерке «Песни Коминтерна» (МВВЖ, с. 9—29). *Коминтерн* — Коммунистический интернационал, 3-й Интернационал (1919—1943), международная организация революционного рабочего движения. *Антал Гидаш* (1899—1980) — венгерский поэт, в 1925—1959 гг. жил в СССР. «Песней Коминтерна, — вспоминал впоследствии Наровчатов, — вошел в мою жизнь юный Гидаш, соединивший в моем раннем сознании поэзию и революцию» (МВВЖ, с. 29). «*Бандера росса*», «*Рот фронт*» — революционные песни итальянских и немецких рабочих.

155. С 62, с. 233; ВП, без ст. 9—10. Печ. по С 65, с. 201. *Жерлистая рубаха*. Жерло — отверстие. *Чресла* — поясница, бедра. *Из навозной кучи грома ждали*. Ср. пословицу: «Гром гремит не из тучи, а из навозной кучи». *Зажоры* — затор льда при ледоходе.

156. ЧВ, с. 118.

157. ЛР, 1963, 8 февраля; ВП; ЧВ; Полдень. Печ. по Избр. 72, с. 210. По древнегреческому мифу, скульптор Пигмалион влюбился в изваянную им статую девушки, которую он назвал *Галатеей*. Боги оживили статую, и Пигмалион женился на Галатее. *Гоген П.* (1848—1903) — французский живописец. *Изысканный примитив*. При-

митивизм XIX—XX вв. — намеренное опрошение изобразительных средств, обращение к формам так называемого примитивного искусства — первобытного, средневекового, непрофессионального и т. п. *Парень влип, как пушкинский князь*. Намек на «Русалку» А. С. Пушкина. *Сирена* (греч. миф.) — полуптица-полуженщина, увлекающая своим пением мореходов на подводные рифы и приводящая их к гибели.

158. ЛГ, 1963, 24 декабря.

159. ЛГ, 1963, 5 декабря.

160. Известия, 1965, 22 июля. *Луга* — река в Ленинградской обл.

* 161. Известия, 1966, 4 января; ЗД, под загл. «Воспоминание»; Через войну, под тем же загл.; Полдень, под тем же загл. Печ. по УНК, с. 163. *Васильевский остров* — крупнейший остров в дельте Невы.

162. ДП, 1966, с. 13. Печ. по ЗД, с. 21. *Командоры* — Командорские острова на границе Тихого океана и Берингова моря. *Саванна* — здесь: тундра. *Остров Беринга* — принадлежит к группе Командорских островов.

163. ЛГ, 1976, 16 июня. Черновой автограф без даты (ИМЛИ). *Медный* — остров, принадлежащий к группе Командорских островов (см. предыдущее примеч.). *Секач* — взрослый самец котика.

164. ДП, 1966, с. 11. Печ. с исправлением смысловой опечатки в ст. 12 («оставил»). *Орда* — Золотая Орда. *Аматёр* — поклонник. *Таврида* — Крым. *Вежды* — веки.

165. НМ, 1968, № 3, с. 134, без ст. 41—44. Печ. по Избр. 68, с. 233.

166. НМ, 1968, № 3, с. 135, с. подзаг. «XV век». Печ. по Избр. 80, с. 301. В Полдень с пометой «Флоренция — Коктебель». Стих, создано после поездки Наровчатова во Флоренцию. «Можно было «впрямую» написать о том, что видел и чувствовал, — заметил поэт. — Но мне захотелось представить Италию предренессансную, Италию XV века, и посмотреть на нее глазами русского человека» (ВЛ, 1970, № 11, с. 147). *По-бесерменски*. Бесермен (др.-русс.) — басурманин, иноверец. *Горлатная шапка* — сшитая из кусочков меха, приходившегося под горлом зверя. *Толмач* — официальный переводчик. *Дук* — герцог. *Москва да будет третий Рим*. Ср. «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина (т. 2, СПб, 1889, с. 198—199), где приводится легенда об основании Москвы («третьего Рима»). *Латины* — итальянцы. *Полкан* — чудовище из русской сказки о Бове-королевиче, полуконь-получеловек. *Прелестна* — здесь: соблазнительна. *Мармор* (устар.) — мрамор. *Лаврентий прозвищем Медичис* — Лоренцо Медичи (1449—1492), правитель Флоренции, покровитель искусств.

167. НМ, 1967, № 7, с. 110; Полдень, под загл. «Наследье». Печ. по УНК, с. 170.

168. НМ, 1968, № 3, с. 133. *Застыл в сугробах городок уездный*. Имеется в виду, вероятно, «родной Хвалынский», небольшой город на

Волге, который для Наровчатова на всю жизнь остался «заветным». «Здесь, в этом городе, — вспоминает поэт, — я прошел свое первое крещение, описанное потом в стихах...» (ЛР, 1979, 2 ноября, с. 16). См. стих. «Рождение» (№ 170).

169. НМ, 1967, № 7, с. 110; ЗД; Полдень, под загл. «Цельность». Печ. по УнК, с. 171. *Нейтрон, протон, нейтрино, позитрон* — названия элементарных частиц, физические термины, которые из специальных изданий в 1960—1970 гг. перешли на страницы журналов и газет.

* 170. НМ, 1967, № 10, с. 9, с подзаг. «1919 г.»; ЗД, с тем же подзаг.; Избр. 68; Полдень, с подзаг. «1919 г.»; УнК, с тем же подзаг.; Избр. 72. Печ. по Избр. 80, с. 317. *Придел* — см. примеч. 80.

* 171. ДП, 1968, с. 77, без эпиграфа; Избр. 72, без эпиграфа; Дальний путь, без эпиграфа; Ширь. Печ. по Избр. 80, с. 304. Черновой автограф, с датой: 1968, апрель, и белой автограф, без даты, без эпиграфа (ИМЛИ). Эпиграф — первая строка стих. М. Ю. Лермонтова «Парус». Наровчатов — автор большого эссе «Литература Лермонтова» (СС, т. 3, с. 7—83). Стих. «Парус», писал он в этом исследовании, «прошло через всю мою жизнь (...) слитое с судьбами всего поколения» (с. 55). *Гоминиды* (гуманоиды) — в произведениях фантастов человекообразные существа.

172. ДП, 1977, с. 34. *И нельзя, нагнувшись над рекой*, и т. д. Намек на афоризмы древнегреческого философа Гераклита (V в. до н. э.): «На того, кто входит в ту же реку, каждый раз текут новые воды» и «В одну и ту же реку невозможно войти дважды».

173. Ширь, с. 39. *Преслав* — древний город, столица первого болгарского царства в IX—X вв. Из Преслава происходят славянские надписи X в. глаголическими и кирилловскими буквами. В это время город был центром книжной и художественной школы, известной и за пределами Болгарии. *Под турецким игом*. С XIV в. по 1878 г. Болгария находилась под владычеством Турции. *Весь* — деревня, село.

* 174. Книжное обозрение, 1974, 27 декабря. Беловой автограф, без даты; черновой автограф и наброски, неавторизованная машинописная копия с разночтениями (ИМЛИ). Комментируя свое стихотворение-воспоминание, Наровчатов писал: «Когда наугад я пробую вспомнить тот или иной предвоенный день, память все время сталкивает меня с милыми тенями. (...) Призрачный вечер, призрачная Москва. И все-таки все во мне протестует против собственного определения! Ведь этой призрачностью наделили живых людей только годы. А их можно снять, как покрывало с зеркала, и, раздвинув стеклянную поверхность, войти в зазеркальный мир. Войти, наскоро пожать горячие руки друзей, с полуслова продолжить прерванный разговор. (...) Путешествие в зазеркалье — не такова ли встреча с молодостью в моей памяти? Тоже печально, но печаль словно вечернее облако, темное посредине, светлое по краям» (МВВЖ, с. 46—47). *Арбат* — см. примеч. 3.

* 175. УнК, с. 174. Черновые автографы без даты, под загл. «Русский портрет в Версале. (XVIII век)», с разночтениями (ИМЛИ).

Императрикс Елисавет — русская императрица (с 1741 г.) Елизавета Петровна (1709—1762), вела праздную и веселую жизнь среди балов и театральных представлений. *Саша Сумароков* — Сумароков А. П. (1717—1777), русский поэт и драматург-классицист. *Хромой маркиз де Шетарди*. Жак-Июхим Тротти маркиз де ла Шетарди с 1739 г. был послом Франции в России, имел влияние на императрицу Елизавету. В 1744 г. выслан из России за политические интриги. *Лейб-кампанец*. Лейб-компания — звание, которое указом 31 декабря 1747 г. было присвоено гренадерской роте лейб-гвардии Преображенского полка за содействие вступлению на престол Елизаветы Петровны. *Стикс, Лета* (греч. миф.) — реки подземного царства.

* 176. НМ, 1970, № 9, с. 6. Черновой автограф без даты, без загл., с разночтениями; авторизованная машинопись, без даты, без загл., с разночтениями (ИМЛИ).

177. Ширь, с. 7. *Сижу с Тупо Четвертым, Тонганским королем*. Королевство Тонга — государство в юго-западной части Тихого океана, на островах Тонга. *Гаргантюа* — герой романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (изд. 1532—1564), великан, добрый и мудрый король. *Оксфорд* — город в Англии, центр университетского образования. *К последним могиканам*. Выражение восходит к названию романа Ф. Купера «Последний из могикан» (1826), обозначает последних представителей уходящей в прошлое социальной или национальной группы.

178. Ширь, с. 16.

ПОЭМЫ

179. О т р ы в к и: гл. 1, ст. 34—49, под загл. «Суббота» — Труд, 1956, 16 ноября. «Вступление», без ст. 53—56, под загл. «Вступление». Гл. 1, ст. 1—28, под загл. «Тебе». Гл. 2, ст. 1—75, под загл. «Охота на кита». Гл. 5, без ст. 13—16, под загл. «Раздумье». Гл. 7, ст. 1—33, под загл. «На Курилах». Гл. 8, ст. 1—68, под загл. «Люблю простые имена...» — Знамя, 1956, № 12, под общим загл. «Пролив Екатерины. Из поэмы». Гл. 1, ст. 13—28, под загл. «Переход на Курилы» — Солдаты свободы. «Вступление», без* ст. 53—56, под загл. «Вступление». Гл. 1, ст. 1—28, под загл. «Тебе». Гл. 2, ст. 1—75, под загл. «Охота на кита». Гл. 5, ст. 1—56, без ст. 13—16, под загл. «Раздумье». Гл. 7, ст. 1—33, под загл. «На Курилах». Гл. 10, ст. 1—18, под загл. «Ушла». Гл. 8, ст. 1—68, под загл. «Люблю простые имена...» — ГЛ, под общим загл. «Пролив Екатерины. (Из поэмы)», с датой: 1956. Гл. 13, под загл. «Что я сделал нынче дурного?..» — там же, вне подборки отрывков из поэмы. «Вступление», без ст. 53—56, под загл. «Пролив Екатерины», с датой: 1956. Гл. 1, ст. 1—28, под загл. «Тебе», с датой: 1956. Гл. 2, ст. 1—75, под загл. «Охота на кита», с датой: 1956. Гл. 5, ст. 1—56, без ст. 13—16, под загл. «Раздумье», с датой: 1956. Гл. 7, ст. 1—33, под загл. «На Курилах», с датой: 1956. Гл. 8, ст. 1—68, под загл. «Люблю простые имена...», с датой: 1956. Гл. 10, ст. 1—28, под загл. «Ушла», с датой: 1956. Гл. 13, ст. 92—110, под загл. «Что я сделал нынче дурного?..», с пометой: «апрель 1943. Синявино» — С 60, как отдельные стих. «Вступление», без ст. 53—56, под загл. «Вступление», с датой: 1953. Гл. 1, ст. 1—28, под загл. «Тебе», с датой: 1956. Гл. 2,

ст. 1—75, под загл. «Охота на кита», с датой: 1956. Гл. 5, ст. 1—56, без ст. 13—16, под загл. «Раздумье», с датой: 1956. Гл. 8, ст. 1—64, под загл. «Люблю простые имена...», с датой: 1956. Гл. 10, ст. 1—18, под загл. «Ушла», с датой: 1956 — С 62, под общим загл. «Пролив Екатерины». Гл. 13, ст. 84—102, без загл., с датой: 1943 — там же, вне подборки отрывков из поэмы. Гл. 10, ст. 1—18, под загл. «Ушла» — Пес, девчонка и поэт. Гл. 13, ст. 84—102, без загл., с датой: 1943 — С 65. Гл. 1, ст. 1—28, под загл. «Тебе», с датой: 1956. Гл. 2, ст. 1—75, под загл. «Охота на кита», с датой: 1956. Гл. 5, ст. 1—56, без ст. 13—16, под загл. «Раздумье», с датой: 1956. Гл. 8, ст. 1—68, под загл. «На Курилах», с датой: 1956. Гл. 10, ст. 1—18, под загл. «Ушла», с датой: 1956. Гл. 12, ст. 32—39, 44—47, без загл., с датой: 1954 — ЧВ, как отдельные стих. Гл. 7, ст. 1—33, под загл. «Люблю простые имена...», с датой: 1956. Гл. 10, ст. 1—18, под загл. «Ушла» с датой: 1956 — Полдень. Гл. 10, ст. 1—18, под загл. «Ушла», с датой: 1956 — Унк.

Полностью: без ст. 80—81 в гл. 4 — ВП; без ст. 80—81 в гл. 4, ст. 140—142 в гл. 9 — Избр. 72; без ст. 80—81 в гл. 4, ст. 40—132 в гл. 9 — Дальний путь. Печ. по СС, т. 1, с. 315. *Пролив Екатерины* — пролив между островами *Итуруп* и *Кунашир* в группе Курильских островов. 2. *Финвал*, или сельдяной кит, встречается главным образом в морях Дальнего Востока, обычная длина 19—20 м. 7. *Флейшеровиц* — рабочий, занимающийся разделкой туши с помощью специального ножа — *флейшера*. 11. *Кашалот* — зубатый кит. *Заходя в кильватер* — т. е. один за другим по прямой линии. *Бойлер* — устройство для подогрева воды паром. *Автоклав* — котел для нагревания, работающий под повышенным давлением. 13. *Волглое* — отсыревшее.

180. Огонек, 1964, № 15, с. 21; Василий Буслаев и Семен Дежнев. Поэмы, Магадан, 1967, под загл. «Семен Дежнев»; Избр. 68; Через войну. Печ. по Полдень, с. 171. Семен Иванов Дежнев (ок. 1605—1672 или 1673) — русский мореход и землепроходец, совершил выдающееся географическое открытие, пройдя морем из Ледовитого в Тихий океан и обнаружив таким образом пролив между Азией и Америкой. Родом предположительно из города *Великий Устюг* на реке Сухоне при впадении в нее реки Юг (ныне — Вологодская область). В 1664 г. прибыл в Москву в составе отряда, сопровождавшего «государеву казну». Тогда же подал челобитную, прося выдать ему жалованье за 1643—1661 гг.: громадную по тем временам сумму в 126 рублей, 6 алтын и 5 денег. Получив деньги, в 1665 г. выехал к месту службы. (См.: М. И. Белов, Семен Дежнев, М., 1955). 1. *Подъячий* — приказный служитель, писец в судах. *Приказ* — старинное учреждение. *Ярыжник* — пьяница, беспутный человек. *Сиделец* — приказчик в лавке. *Урядник* — унтер-офицер в казачьих войсках. *Гривна* — украшение на шею. *Чагравая* — темно-пепельная. *Кочи* — старинные морские однопалубные и одномачтовые суда, употреблявшиеся на русском Севере. *Струг* — ладья, лодка. *Всех взыскавших вышнего града* — см. примеч. 137. *Риза* — верхнее облачение священника во время богослужения. *Оклад* — металлическое покрытие, украшающее икону. *Гребовать* — брезговать. *Покров* — см. примеч. 6. 2. *Острог* — город, селение, являющиеся укрепленными пунктами. *Камень* — Уральский хребет. *Бешмет* — казачья одежда, полукафтан, носимый под верхней одеждой. *Сермяга* — крестьянская одежда из грубого некрашеного сукна домашней выделки. *Есаул* —

офицер в казачьих войсках. 3. *Ярый воск* — светлый. *Фряжское* — итальянское. *Унесло пропащие кочи?* Речь идет о судах соратника Дежнева Ф. Алексеева, которые буря унесла в неизвестном направлении в конце сентября 1648 г. По преданиям, суда пристали к берегам Аляски, положив начало русским поселениям на полуострове. Эту территорию называли *Заморскою Русью*. Тут *Слово и Дело*. Выражение «Слово и Дело» в Московской Руси и Российской империи до 1762 г. означало, что произнесший его готов донести властям о каком-нибудь государственном преступлении, и служило поводом к аресту оговоренного. *За Великие, Малые, Белые*. Русский царь официально именовался государем «Великия, Малыя и Белыя Руси», т. е. Великороссии, Малороссии (Украины) и Белороссии. *Алексей Михайлыч* (1629—1676) — русский царь (с 1645 г.).

* 181. НСД, 1959, кн. 3, с. 79, с подзаг. «Из поэмы» (отрывки из ч. 2-й, гл. 1, 6); С 60 (др. ред.); С 62 (др. ред.); ЧВ (др. ред.); Василий Буслаев и Семен Дежнев. Поэмы. Магадан, 1967 (др. ред.); Избр. 68 (др. ред.); Полдень (др. ред.); Избр. 72 (др. ред.); ЛГ, 1973, 31 января; НМ, 1973, № 2; Дальний путь; ЗнВ; Василий Буслаев, М., 1976; СС, т. 1; Василий Буслаев, М., 1978; Василий Буслаев, М., 1980. Печ. по СС, т. 1, с. 365, с исправлением опечаток в ст. 373 («вечер»), ст. 391 («что ж»), ст. 884 («наша»). Поэма восходит к двум былинам буслаевского цикла. Первая о Василии Буслаеве и новгородцах, вторая — о смерти Василия Буслаева. Имеется более шестидесяти опубликованных записей этих произведений русского героического эпоса. (Подробно в кн.: В. Я. Пропп. Русский героический эпос, изд. 2-е, М. — Л., 1958, с. 442—447). Создавая свою версию, Наровчатов не стремится буквально следовать былинному источнику, своеобразно трансформирует материал. Так, например, в былинах Буслаев отправляется в Иерусалим замаливать грехи после борьбы с новгородцами (в поэме Наровчатова — до побоища). Он погибает на обратном пути в Новгород, перепрыгнув через камень, а не через колокол. Колокол фигурирует в былине, но там его носит на голове крестный отец Василия Буслаева. Поэма известна в двух редакциях. Первая, законченная в 1960 г., была отклонена А. Т. Твардовским, в то время главным редактором журнала «Новый мир». «Суть проблемы — столкновение личности и общества — заинтересовала его остро, — вспоминал Наровчатов, — но возникли замечания по характеру героя. В Буслаеве не принимались Твардовским жесткие черты, которые в начальном варианте были прочерчены с излишней резкостью» (НМ, 1973, № 2, с. 59). Твардовский советовал дать конфликту Буслаева с новгородцами более простое обоснование — как в былинном источнике. Вторая редакция возникла после изучения памятников XII в., которые, по мнению Наровчатова, дают основание считать Василия Буслаева реальным лицом, посадником новгородским. «Толчок для переосмысления образа, — замечает Наровчатов, — был получен» (там же). «Работая над «Василием Буслаевым» многие годы, — вспоминал Наровчатов, — многие годы я был в плену былинной и песенной стихии, намагниченной торжественной прямой древней русской речи» (ЛР, 1979, 2 ноября, с. 16).

Часть первая. *Посадничий дом*. Посадник — высшая государственная власть в Новгороде до присоединения к Русскому государству. *Тмутаракань* — древнерусский город на месте современной Тамани. *Корчев* — древнерусское название Керчи. *Югра* — название земель между Печорой и Северным Уралом в русских источниках

XII—XVII вв. *Сирин* и *Алконост* — сказочные птицы, символизирующие радость и печаль. *Падишах* — титул монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока. *Софийский крест*. Собор св. Софии — главный храм средневекового Новгорода. *Весь* — деревня, село. *Барбаросса* — император Священной Римской империи Фридрих I (1125—1190) Барбаросса (Краснобородый). *Ганзейский купец*. Ганза — торговый союз северонемецких городов во главе с Любеком (XIV—XVI вв.). *Винланд* — название одной из земель, которые открыл около 1000 г. исландский викинг *Лейф* Эрикссон по прозвищу *Счастливиый*. Винланд отождествляется с побережьем залива Мэн (Северная Америка). *Скандия* — Скандинавия. *Небесные горы* — Тибетские. *Синский* — китайский. *Великий шелковый путь* — в древности и средние века караванная дорога в Китай из Средней и Передней Азии. *Василий Великий* (329—378) — византийский богослов, причисленный к святым. *Аристотель* (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ. *Омир* — Гомер. *Пиит* — поэт. *Что будем делать с ненужным князем?* С начала XII в. Новгород приглашает себе князей, устанавливая с ними договор — «ряд». *Немцы роятся в Двинском устье*. В 1201 г. в устье Западной Двины основан г. Рига и там учрежден немецкий духовно-рыцарский Орден меченосцев. *Ливы* — народность, жившая по берегу Балтийского моря и по Западной Двине. *Латинский поп* — католический священник. *Храм Уверенья Фомы*. Фома — см. примеч. 137. *Камень* — см. примеч. 180. *Ушкуйным ветром*. Ушкуйник — речной пират. *Конец* — административно-территориальная единица древнерусского города. Новгород (вне Кремля) делился на пять концов. *Калики перехожие* — паломники, странники. *Хорсова ладья*. Хорс (слав. миф.) — бог Солнца. *Разымчивая* — сильно действующая, пьянящая. *Ночь купальная* — ночь на 24 июня. По народным поверьям, в ночь на Ивана Купалу открываются клады, совершаются разные чудеса. *Вертоград* — сад, виноградики.

Часть вторая. 1. *Орясина* — жердь, дубина. *Пятина* — один из концов Новгорода. *Заволочье* — одна из территорий Новгородской республики (близ Опочки). *Рухлядь мягкая* — меха, пушной товар. *Градские старцы* — в средневековом Новгороде представители горожан в княжеском совете. *Старцы честные* — монахи. *Гость* — купец, преимущественно иноземный. *В день сентябрьский, в день новгородный*. На Руси с конца XV в. до 1699 г. первым днем Нового года считалось 1 сентября. *Гридница* — помещение для дружины. 2. *Червленые* — красные. *Письма... на бересте*. Письма и документы новгородцев XI—XV вв., писанные на березовой коре, впервые обнаружены в 1951 г. при археологических исследованиях. *Андрей Первозванный* — один из апостолов Иисуса Христа, покровитель Руси. *Ходжа* — почетное звание у мусульман, давалось придворным, духовенству, богатому купечеству. *Афонский поп* — из Афонского монастыря в Греции, издревле почитаемого православным миром. *Альбион* — Англия. *Путь из варяг во греки*, с IX в. связывающий Северную Русь с Южной, Скандинавию с Византией, проходил по землям Новгорода. *Камень из Каабы* — священный «черный камень» из главного храма мусульман — Кааба в Мекке. *Соломон* (X в. до н. э.) — царь израильского-иудейского царства, обладал несметным богатством. *Фражский* — итальянский. *Кордова* — город в Испании. *Аксамит* — бархат. *Кистень* — старинное оружие, короткая палка, к которой прикреплен металлический шар на цепи. 3. *Скатный* —

крупный, ровный. *Аггел* — злой дух, дьявол. 4. *«Иду на вы»* («Хочю на вы ити»). Так великий Киевский князь Святослав объявлял неприятелям о начале войны (Повесть временных лет, ч. I, М.—Л., 1950, с. 46). *Борис и Глеб* — юные княжичи, убитые старшим братом Святославоком (ок. 980—1019), стремившимся устранить претендентов на престол великого князя Киевского; православную церковь причислены к лику святых. *Равноапостольный Владимир* — Владимир Святославич (ум. 1015), князь Киевский, ввел христианство на Руси. *Брашна* — еда, трапеза. *Схимник* — монах, живущий по особому строгим аскетическим правилам. *«Слово о полку»* — см. примеч. 10. *Вежды* — веки. 5. *Страшный суд* (еванг.) — суд, на котором бог через Иисуса Христа будет судить всех живых и мертвых, их слова и дела. 6. *Камка* — узорчатая ткань. *Бирюч* — глашатай в допетровской Руси. *Светлое воскресенье* — пасха.

Часть третья. *Разрыв-трава* — см. примеч. 33.

182. Октябрь, 1979, № 4, с. 3, с подзаг. «Поэма», эпиграф из стихотворения Георгия Суворова (см. примеч. 52) «Еще утрами черный дым клубится...». «Толчок к ее («Фронтowej радуги». — Р. П.) написанию дало мое старое, военных лет стихотворение о девушке — секретаре сельского совета одного из освобожденных из-под фашистского ига районов. А затем эта давняя история приобрела новые черты, пополнилась новыми деталями. А в образе героя поэмы, лейтенанта Николая Бородина, есть много автобиографического» (Советская культура, 1979, 7 сентября, с. 6). Стих., которое упоминает поэт, — «Ночь в сельсовете» (№ 56). 1. *По два, по три кубаря*. Речь идет о воинских знаках отличия: два «кубика» — лейтенант, три — старший лейтенант. Эти знаки существовали до введения в Советской Армии погон (в январе — феврале 1943 г.). *«Рама»* — самолет-разведчик. *Майоров Н. П.* (1919—1942) — советский поэт, товарищ Наровчатова по Литературному институту им. М. Горького, погиб на фронте. Имеется в виду его стих. «Мы» (1940), в котором есть следующие строки: «О людях, что ушли не долбив, Не докулив последней папиросы...» Наровчатов посвятил анализу короткого пути Майорова статью «Улица Николая Майорова» (МВВЖ, с. 122—136). 2. *Большая война* — см. примеч. 7. 4. *Партбойцы* (точнее: политбойцы) — коммунисты и комсомольцы, в начальный период Великой Отечественной войны направленные в действующую армию по специальной партийной мобилизации для усиления партийно-политического влияния в войсках. *Мавзолей, Тогда еще деревянный*. Первоначально Мавзолей В. И. Ленина был деревянным. К 7 ноября 1930 г. было закончено строительство каменного Мавзолея. 5. *Большой Ферганский канал* — см. примеч. 79. *Дехканин* — узбекский крестьянин. *Молочко М., Стружко Г.* — молодые советские литераторы, товарищи Наровчатова, погибли на финском фронте. Наровчатов рассказывал о боевых друзьях в очерке «На той войне неизвестной...» (МВВЖ, с. 81—93). 6. *Непрядва* — см. примеч. 25. 7. *Шульженко К. И.* (1906—1984), *Козин В. А., Утесов Л. О.* (1895—1982) — известные советские артисты эстрады. *Коган П. Д.* (1918—1942) — советский поэт, товарищ Наровчатова по Литературному институту им. М. Горького, погиб на фронте. 8. *Природу метлой гони за порог — Влезет в окно природы*. Восходит к басне французского писателя Лафонтена «Кошка, превращенная в женщину». Строки из этой басни, ставшие поговоркой, впервые приводит на русском языке

Н. М. Карамзин в своем очерке «Чувствительный и холодный. Два характера». 10. «Ничего существенного...». Цитируется формулировка, принятая в официальных сообщениях о положении на фронте.

ИЗ ПЕРЕВОДОВ

С азербайджанского

ЗЕЙНАЛ ХАЛИЛ

Зейнал Халил (1914—1973) — азербайджанский советский поэт.

183. Литературный Азербайджан, 1959, № 4, с. 45—48; З. Халил, Избранное, Баку, 1959. Печ. по З. Халил, Звезды, М., 1962, с. 19—26.

С еврейского

ПЕРЕЦ МАРКИШ

Перец Маркиш (1895—1952) — еврейский советский поэт и общественный деятель. Наровчатovu принадлежит вступительная статья в сб.: Перец Маркиш, Стихотворения и поэмы, Л., 1969, с. 5—35. «Б-ка поэта» (Б. с.).

184. ЛГ, 1956, 19 июля.

185. НМ, 1956, № 10, с. 101. В этом стих. автор, по словам Наровчатова, «достигает истинных высот духа». *Миру не ведать второй Галилеи!* Намек на евангельскую легенду об «избиении младенцев» по приказу царя Ирода. Однако это произошло не в Галилее, а в г. Вифлееме, расположенном в другой области Палестины — Иудее.

186. Перец Маркиш, Стихотворения и поэмы, Л., 1969, с. 59. «Б-ка поэта» (Б. с.).

АРОН ВЕРГЕЛИС

Арон Вергелис (р. 1918) — еврейский советский поэт и общественный деятель, главный редактор журнала «Советиш Геймланд». Наровчатovu принадлежит вступительная статья к «Избранному» Вергелиса (М., 1978).

187. А. Вергелис, Жажда. Стихи и поэмы, М., 1956, с. 29.

188. А. Вергелис, Жажда. Стихи и поэмы, М., 1956, с. 29.

189. А. Вергелис, Жажда. Стихи и поэмы, М., 1956, с. 12. Загл. — мотив римской надгробной надписи: «*Sta viator! Herois sepulcrum...*» («Остановись, путник! Могила героя...»).

САКЕН СЕЙФУЛЛИН

Сакен Сейфуллин (1894—1938) — казахский советский поэт, прозаик, драматург и общественный деятель.

190. С. Сейфуллин, Избранные стихи и поэмы, Алма-Ата, 1958, с. 60, под загл. «Газель», с подзаг. «(Подражание Абаю)»; С. Сейфуллин, Стихотворения и поэмы, М., 1958, Печ. по Ильяс Джансугуров. Сакен Сейфуллин, Стихотворения и поэмы, Л., 1973, с. 344. «Б-ка поэта» (Б. с.).

191. С. Сейфуллин, Избранные стихи и поэмы, Алма-Ата, 1958, с. 25; С. Сейфуллин, Стихотворения и поэмы, М., 1958, Печ. по Ильяс Джансугуров. Сакен Сейфуллин, Стихотворения и поэмы, Л., 1973, с. 358. «Б-ка поэта» (Б. с.).

192. С. Сейфуллин, Избранные стихи и поэмы, Алма-Ата, 1958, с. 101; С. Сейфуллин, Стихотворения и поэмы, М., 1958. Печ. по Ильяс Джансугуров. Сакен Сейфуллин, Стихотворения и поэмы, Л., 1973, с. 460. «Б-ка поэта» (Б. с.).

193. ДН, 1958, № 11, с. 230, под загл. «Моей сестре — студентке Совпартшколы»; С. Сейфуллин, Стихотворения и поэмы, М., 1958. Печ. по Ильяс Джансугуров. Сакен Сейфуллин, Стихотворения и поэмы, Л., 1973, с. 465. «Б-ка поэта» (Б. с.). Героиня стих. — Гулба-рам Батырбекова, впоследствии жена поэта.

194. С. Сейфуллин, Избранные стихи и поэмы, Алма-Ата, 1958, с. 113, с подзаг. «(Сестре Сара)». Письмо написано в вагоне как поздравление с новым 1927 годом». Печ. по Ильяс Джансугуров. Сакен Сейфуллин. Стихотворения и поэмы, Л., 1973, с. 468. «Б-ка поэта» (Б. с.). *Сара Есова* (р. 1903) — видная революционная и общественная деятельница Казахстана.

С украинского

ПЛАТОН ВОРОНЬКО

Платон Воронько (р. 1913) — украинский советский поэт и общественный деятель. См. примеч. 95.

195. Знамя, 1947, № 4, с. 101. Печ. по Песня ветерана. Стихотворения и поэмы, М., 1974, с. 26.

196. Знамя, 1947, № 4, с. 103. «Мне случилось перевести несколько партизанских стихов моего товарища, — заметил Наровчатов. — Кажется, самый удачный из них — перевод „Карпатской песни“» (МВВЖ, с. 190).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. С. Наровчатов. 1970-е гг.
2. *Между с. 208 и 209*. С. Наровчатов в годы учения в Литинституте.
3. *На обороте*. С. Наровчатов. 1943 г. Рис. М. Гордона.
4. *Между с. 240 и 241*. С. Наровчатов в редакции фронтовой газеты, 1945 г.
5. *На обороте*. С. Наровчатов. 1970-е гг.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алые паруса 188
«Аминь, рассыпьте, горести и
грусть!..» 242
Анфиса 102
Аскер 165
Атлантида 216

Бабы рязанские 64
Базарная Галатея 222
«Беломостье нам платом ма-
шет!..» 112
«Билась о камень жирная ке-
та!..» 198
Болгарская поэзия 249
Большая война 72

В грозу 146
В кольцо 68
В Сокольниках 53
В степи. *Сейфуллин* 389
В те годы 73
«В траншеях боевого охра-
нения!..» 148
Вариации из притч 195
Василий Буслаев 307
Вдвоем 186
Вечер 55
Вечер в Эльбинге 120
Вечерний телефон 237
«Вечером у омута!..» 77
Взводный праздник 94
Взрослые речи 192
Виноград. *Маркиш* 383
Вначале 248
Волчонок 117
«Вот он, под крышей тесо-
вой!..» 197
Времена года 229
Встреча 230
Вурдалак 100

Горная мадонна. *Маркиш* 383
«Где сердца единого спла-
ва!..» 126

Дальнобойные письма 81
«Две тыщи!.. Новой только
эры!..» 240
«Двух морей сливается ро-
пот!..» 113
Девушке из совпартшколы. *Сей-
фуллин* 392

«Десять суток нам дают на от-
дых!..» 109
Дорога в Тчев 136
«Дорога по старому горю зна-
кома!..» 90
Друзья 141

Женский портрет 250

За Советскую власть! 201
Звезды. Роман в стихах. *Ха-
лил* 375
«Здесь мертвецы стеною за жи-
вых!..» 62
Зеленые дворы 234

Из окна вагона. *Сейфуллин* 395

Кавалер и барышня 187
«Как прошла ты сюда, сме-
лая!..» 88
Капитанский тост 121
Карпатская песня. *Воронько* 399
«Когда б за сердечные раны
судьбой!..» 81
«Когда я добрался до Арсена-
ла!..» 86
Колыбельная песня. *Сейфул-
лин* 390
Короли 253
Костер 146
Кукла 175
Кульмский скрипач 135
Курильские есть острова 173

«Лгушая красивыми строка-
ми!..» 63
Ленинграду 96
Лесная любовь 75
Любимой. *Сейфуллин* 388

Маме 83
«Манифест Коммунистической
партии» 160
Мертвец 170
«Мне камень, и трава, и
зверь!..» 82
Мое поколение 158
Молодежь 152
Молодые коммунисты 145
Моя память 156

Мы дни раздали вокзалам...»

93

«Мы сухари угрюмо дожевали...» 61

На грузовике под обстрелом 84

На Кузнечихе 143

На полуставке 193

На пути 130

На рубеже 63

«На торбаза мои взгляды...» 198

«На церкви древней вязью: „Люди — братья“...» 66

На чужбине 111

На Эльбе 128

Над океанами 205

Налог с холостяков 232

Начальник заставы 168

Не отрывая глаз 153

«Не устоишь! Сшибает наземь вихрь...» 140

Неизвестный солдат 172

Немцы во Франции 65

«Ни у кого и ни за что не спросим...» 62

Новогоднее письмо 114

Ночь в сельсовете 99

«Ночь к тайге прижалась черной тенью...» *Вергелис* 386

Ночью, верхом! 86

О главном 252

О голубом цветке 118

О песне 104

Облака кричат 71

Осень 67

Отказ от выстрела 91

Отступление 73

Отъезд 66

Охота на коршуна 83

Парень и девушка 186

Пепельница 57

Первый поезд 108

«Перед вислинскими мостами...» 111

Пес, девчонка и поэт 202

Песни Коминтерна 218

Песня про атамана Семена Дежнева... 295

Пехотинец в Соломбале 143

Письмо Георгию Суворову 95

Письмо из Мариенбурга 124

Письмо из Млавы 123

Письмо о письме 74

Плотник 150

Победа! 128

Пожар 155

Полковники 228

Польские стихи (1—5) 111

Последнее письмо 150

Последняя строка 244

Праздник 178

Праздник в Цеханове 130

Праздничный тост 137

Предпоследнее письмо 80

Привет издалека 110

Приземленный ангел 59

Присяга партии 164

Пролив Екатерины 259

Пропавшие без вести 101

Прощальные стихи (1—3) 93

«Пусть в словах не видать ни зги...» 112

Разговор в блиндаже 78

Разговор о грехах 175

Разговор с дочкой 181

Рассказ о восьми землях 106

Регулировщица 96

Рождение стиха 209

Рождение 243

Романтика 192

Россия 144

Русский посол во Флоренции 238

Свадьба 129

Свейки, Латвия! 196

«Свою икону взять и опозорить...» 93

Северная юность (1—5) 197

Северные Ярославны 139

Северянка 54

Село 104

Семен Дежнев 58

Сидней 254

«Сияют звезды Колымы...» 199

Сказка 138

«Сквозь пекло то прошел и я...» *Воронько* 399

Скучное лето 179

Слепая девушка 185

Снегопад 250

«Снова кличет в поход Россия...» 113

Собаки на Командорах 231

Сокол 105

Солдаты свободы 125

Сотворение мира 201

Старая песенка 190
Старый альбом 210
Судак 65
Стена 67
«Сыну, бывало, скажет мать...»
200

Так жил я... 76
«Так снова ревность? Письма —
в ругань...» 93
Танец кита 214
Твое имя 88
Тень 227
Тихий океан 171
Тост за Украину 115
Трехминутный праздник 79
Ты не русская 91
1920 240
1940—1941 70

У берегов Японии 166
У контор Аэрофлота 205

У реки. *Маркиш* 382
Улица Камилла Демулена 207
Улица Станкевича 162
Утверждение 220
Утро над Невой 85

Фронтная ночь 97
Фронтная почта 89
Фронтная радуга 343

«Холодная далекая звезда...»
Вергелис 386

Четвертый сентябрь 106
Чудо 183

Шотландская песня 56
Шуны на рейде 159

Элегия 222

«Юностью ранней...» 161

Sta viator! Вергелис 387

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия Сергея Наровчатова. Вступительная статья А. Урбана	5
С. Наровчатов. О себе	46

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. В Сокольниках	53
2. Северянка	54
3. Вечер	55
4. Шотландская песня	56
5. Пепельница	57
6. Семен Дежнев	58
7. Приземленный ангел	59
8. «Мы сухари угрюмо дожевали...»	61
9. «Здесь мертвецы стеною за живых!..»	62
10. «Ни у кого и ни за что не спросим...»	62
11. «Лгущая красивыми строками!..»	63
12. На рубеже	63
13. Бабы рязанские	64
14. Судак	65
15. Немцы во Франции	65
16. Отъезд	66
17. «На церкви древней вязью: „Люди — братья“...»	66
18. Осень	67
19. Стена	67
20. В кольцо	68
21. 1940—1941	70
22. Облака кричат	71
23. Большая война	72
24. Отступление	73
25. В те годы	73
26. Письмо о письме	74
27. Лесная любовь	75
28. Так жил я...	76
29. «Вечером у омута...»	77
30. Разговор в блиндаже	78
31. Трехминутный праздник (Прорыв блокады)	79
32. Предпоследнее письмо	80
33. Дальнобойные письма	81
34. «Когда б за сердечные раны судьбой...»	81
35. «Мне камень, и трава, и зверь...»	82
36. Охота на коршуна	83

37. Маме	83
38. На грузовике под обстрелом	84
39. Утро над Невой	85
40. «Когда я добрался до Арсенала...»	86
41. Ночью, верхом!	86
42. Твое имя	88
43. «Как прошла ты сюда, смелая...»	88
44. Фронтовая почта	89
45. «Дорога по старому горю знакома...»	90
46. Отказ от выстрела	91
47. Ты не русская	91
48—50. Прощальные стихи	
1. «Мы дни раздали вокзалам!..»	93
2. «Свою икону взять и опозорить...»	93
3. «Так снова ревность? Письма — в ругань...»	93
51. Вздвонный праздник	94
52. Письмо Георгию Суворову	95
53. Ленинграду	96
54. Регулировщица	96
55. Фронтовая ночь	97
56. Ночь в сельсовете	99
57. Вурдалак	100
58. Пропавшие без вести	101
59. Анфиса	102
60. Село	104
61. О песне	104
62. Сокол	105
63. Четвертый сентябрь	106
64. Рассказ о восьми землях	106
65. Первый поезд	108
66. «Десять суток нам дают на отдых!..»	109
67. Привет издалека	110
68. На чужбине	111
69—73. Польские стихи	
1. «Перед вислинскими мостами...»	111
2. «Беломостье нам платом машет...»	112
3. «Пусть в словах не видать ни зги...»	112
4. «Снова кличет в поход Россия...»	113
5. «Двух морей сливается ропот...»	113
74. Новогоднее письмо	114
75. Тост за Украину	115
76. Волчонок	117
77. О голубом цветке	118
78. Вечер в Эльбинге	120

79. Капитанский тост	121
80. Письмо из Млавы	123
81. Письмо из Мариенбурга	124
82. Солдаты свободы	125
83. «Где сердца единого сплава...»	126
84. Победа!	128
85. На Эльбе	128
86. Свадьба	129
87. На пути	130
88. Праздник в Цеханове	130
89. Кульмский скрипач	135
90. Дорога в Тчев	136
91. Праздничный тост	137
92. Сказка	138
93. Северные Ярославны	139
94. «Не устоишь! Сшибает наземь вихрь...»	140
95. Друзья	141
96. На Кузнечихе	143
97. Пехотинец в Соломбале	143
98. Россия	144
99. Молодые коммунисты	145
100. В грозу	146
101. Костер	146
102. «В траншеях боевого охраненья...»	148
103. Последнее письмо	150
104. Плотник	150
105. Молодежь	152
106. Не отрывая глаз	153
107. Пожар	155
108. Моя память	156
109. Мое поколение	158
110. Шхуны на рейде	159
111. «Манифест Коммунистической партии»	160
112. «Юностью ранней...»	161
113. Улица Станкевича	162
114. Присяга партии	164
115. Аскер	165
116. У берегов Японии	166
117. Начальник заставы	168
118. Мертвец	170
119. Тихий океан	171
120. Незвестный солдат	172
121. Курильские есть острова	173
122. Разговор о грехах	175

123. Кукла	175
124. Праздник	178
125. Скучное лето	179
126. Разговор с дочкой	181
127. Чудо	183
128. Слепая девушка	185
129. Вдвоем	186
130. Парень и девушка	186
131. Кавалер и барышня	187
132. Алые паруса	188
133. Старая песенка	190
134. Взрослые речи	192
135. Романтика	192
136. На полустанке	193
137. Вариации из притч	195
138. Свейки, Латвия!	196
139—143. Северная юность	
1. «Вот он, под крышей тесовой...»	197
2. «Билась о камень жирная кета...»	198
3. «На торбаза мои взгляни...»	198
4. «Сияют звезды Колымы...»	199
5. «Сыну, бывало, скажет мать...»	200
144. За Советскую власть!	201
145. Сотворение мира	201
146. Пес, девчонка и поэт	202
147. У контор Аэрофлота	205
148. Над океанами	205
149. Улица Камилла Демулена	207
150. Рождение стиха	209
151. Старый альбом	210
152. Танец кита	214
153. Атлантида	216
154. Песни Коминтерна	218
155. Утверждение	220
156. Элегия	222
157. Базарная Галатея	222
158. Тень	227
159. Полковники	228
160. Времена года	229
161. Встреча	230
162. Собаки на Командорах	231
163. Налог с холостяков	232
164. Зеленые дворы	234
165. Вечерний телефон	237

166. Русский посол во Флоренции	238
167. «Две тыщи... Новой только эры!..»	240
168. 1920	240
169. «Аминь, рассыпьте, горести и грусть!..»	242
170. Рождение	243
171. Последняя строка (Разговор в далеком веке)	244
172. Вначале	248
173. Болгарская поэзия	249
174. Снегопад	250
175. Женский портрет (XVIII век)	250
176. О главном	252
177. Короли	253
178. Сидней	254

ПОЭМЫ

179. Пролив Екатерины	259
180. Песня про атамана Семена Дежнева, славный город Вели- кий Устюг и Русь Заморскую	295
181. Василий Буслаев	307
182. Фронтальная радуга	343

ИЗ ПЕРЕВОДОВ

С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

Зейнал Халил

183. Звезды. Роман в стихах	375
---------------------------------------	-----

С ЕВРЕЙСКОГО

Перец Маркиш

184. У реки	382
185. Горная мадонна	383
186. Виноград	383

Арон Вергелис

187. «Холодная далекая звезда...»	386
188. «Ночь к тайге прижалась черной тенью...»	386
189. Sta viator!	387

С КАЗАХСКОГО

Сакен Сейфуллин

190. Любимой	388
191. В степи	389

192. Колыбельная песня	390
193. Девушке из совпартшколы	392
194. Из окна вагона	395

С УКРАИНСКОГО

Платон Воронько

195. «Сквозь пекло то прошел и я...»	399
196. Карпатская песня	399
Другие редакции и варианты	403
Примечания	423
К иллюстрациям	454
Алфавитный указатель	455

Наровчатов С.

Н 30 Стихотворения и поэмы / Вступ. статья А. Урбана, сост., подг. текста и примечания Р. Помирченко. — Л.: Сов. писатель, 1985. — 464 с., 8 ил., 1 л. портр. — (Б-ка поэта. Большая сер.).

В настоящее издание стихотворений и поэм С. С. Наровчатова (1919—1981) вошли лучшие, наиболее характерные его произведения, в том числе избранные переводы.

Н 4702010200—280 411—85
083(02)—85

ББК 84.Р7

Сергей Сергеевич Наровчатов
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1985 г. 464 стр.
План выпуска 1985 г. № 411

Редактор Д. М. Климова
Художник И. С. Серов
Худож. редактор А. С. Орлов
Техн. редактор С. Л. Шереметьева
Корректор Е. Я. Лапкин

ИБ № 4860

Сдано в набор 11.05.85. Подписано к печати 10.09.85. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 24,63. Уч.-изд. л. 23,75. Тираж 40 000 экз. Зак. № 1131. Цена 2 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3

